

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА

КАРА БРЮДЛОВ



Annotation

Карл Павлович Брюллов (1799–1852) родился 12 декабря по старому стилю в Санкт-Петербурге, в семье академика, резчика по дереву и гравёра французского происхождения Павла Ивановича Брюлло. С десяти лет Карл занимался живописью в Академии художеств в Петербурге, был учеником известного мастера исторического полотна Андрея Ивановича Иванова. Блестящий студент, Брюллов получил золотую медаль по классу исторической живописи. К 1820 году относится его первая известная работа «Нарцисс», удостоенная в разные годы нескольких серебряных и золотых медалей Академии художеств. А свое главное творение — картину «Последний день Помпеи» — Карл писал более шести лет. Картина была заказана художнику известнейшим меценатом того времени Анатолием Николаевичем Демидовым и впоследствии подарена им императору Николаю Павловичу.

Член Миланской и Пармской академий, Академии Святого Луки в Риме, профессор Петербургской и Флорентийской академий художеств, почетный вольный сообщник Парижской академии искусств, Карл Павлович Брюллов вошел в анналы отечественной и мировой культуры как яркий представитель исторической и портретной живописи.

Юлия Андреева

Карл Брюллов

*Долг всякого художника есть избирать сюжеты из
отечественной истории.*

Карл Брюллов

Часть первая

ЭДЕЛЬВЕЙС

Глава 1

Злобное ничтожество, стараясь унизить и почернить тех людей, которым публика приписывает талант, обыкновенно представляет их в Италии смертоубийцами, у нас в России — пьяницами...

К. Брюллов

Карл взлетел по парадной лестнице, чуть не сбив с ног лакея и напугав убирающую внизу девушку. Его черный, не по сезону легкий плащ был забрызган грязью, волосы всклокочены, в руках — черная помятая шляпа.

— Все кончено. Скандал! Позор! Как я покажусь на улице? На меня ведь пальцем станут показывать, как на злодея. Кто поверит в мою невинность? А это «волшебное создание» еще осмеливается требовать с меня пенсию... За что?!

Я обнял его за плечи и почти что силой дотащил до кабинета. От Карла разлило вином, так что поначалу я подумал, что Великий — пьян.

— Все плохо! Она... они... главное, какая подлость!

Я распахнул дверь и усадил Карла в удобное кресло, попросив показавшегося в дверях слугу подать стакан воды.

Впрочем, в тот день мне пришлось вливать в Карла Павловича не только воду. В ход пошли и Уленькины капли, и превосходный дядюшкин ром. Какое-то время Карл, молча пил, то и дело, пуская слезу и блуждая взглядом. Иногда его тяжелое дыхание обращалось в стон или всхлипывания и тогда он клял кого-то, грозя кулаком и обещая отмстить. Я старался быть спокойнее, силясь по отдельным вздохам и оборванным фразам выяснить, что же повергло моего друга в столь плачевное состояние.

А ведь все так славно начиналось! Месяц назад Карл сочетался браком с девушкой, в которую был страстно влюблен, в юную восемнадцатилетнюю пианистку, любимую и, пожалуй, самую талантливую и многообещающую ученицу Фредерика Шопена, такую невинную и нежную. Казалось, она почти затмила саму память о божественной Юлии, хотя многие до сих пор говорят, будто страсть Карла с годами нисколько не уменьшилась и в конце концов сведет его в могилу. Но... как знать?.. На венчании в лютеранской церкви Святой Анны, что на Кирочной^[1], Карл выглядел, мягко говоря, странно. Был бледен, подавлен и смущен. Его же юная невеста Эмилия Федеровна показалась мне печальной, отстраненной... или, лучше сказать, имела сходство с ходящей в состоянии сна или гипнотического транса сомнамбулой. Впрочем, что касается девушки — ничего удивительного, невесте положено горевать на свадьбе, вспоминая жизнь в девичестве и невольно страшась неизвестности грядущего, но что происходило с Карлом?

Народу в церкви было кот наплакал, что казалось странным хотя бы потому, что все прекрасно помнили брюлловские гуляния, званые обеды, катания, пикники... При этом Карл то и дело подгонял

пастора поскорее закончить церемонию, словно его ожидали, бог знает какие важные дела. Выходя из церкви, мы обменялись парой незначительных фраз с Тарасом Шевченко, который был в не меньшем недоумении[2].

В тот момент, признаюсь, я приписал подавленное состояние Карла какому-нибудь спешно доставленному из Италии посланию от его роковой музы, с которой художник давным-давно порвал, но не переставал заглядываться на девушек, хотя бы отдаленно напоминавших эту непостижимую красавицу.

Наконец, закончив плакать и сморкаться и, должно быть, почувствовав себя в относительной безопасности, Карл позволил снять с себя плащ, после чего сбивчиво и весьма отрывисто начал свой рассказ:

— Как тебе известно, мой дорогой друг, не так давно я женился на Эмилии Тимм, дочери рижского бургомистра Федера Тимма — человека, имя которого я не могу произносить без отвращения и содрогания и который теперь смеет обвинять меня в злодействах, к коим я не причастен ни делом, ни помышлением. Вы, должно быть, слышали, что господин Тимм и все его родственники обвиняют меня в том, что я якобы избивал ее, заставляя проделывать различные гнусности, к которым привык, живя за границей! И даже вырвал из ее ушей бриллиантовые сережки, затем выгнал Эмилию на улицу, пардон, в одной рубашке! Но, клянусь вам своею жизнью, честью, талантом, сколько у меня его ни осталось. Никогда в жизни я не поднимал руки на женщину! Никогда! Натурщицы, служанки в тавернах и гостиницах, шлюхи, дорогие и дешевые... я уже не говорю о знатных дамах, но никогда, ни при каких обстоятельствах я не забывал о приличиях, не позволял себе...

И вот теперь, по высочайшему повелению, мне предписано явиться к его сиятельству графу Александру Христофоровичу Бенкендорфу и подать письменное разъяснение случившегося на имя Священного синода и министра двора князя Петра Михайловича Волконского! Рассказать, что же на самом деле произошло между мною и моей... с позволения сказать, женою! Отчего ее семья спешно забрала к себе это исчадие ада и теперь возводит на меня возмутительную клевету, разрушая все, что я создал!

Я тотчас уверил Карла, что хоть и слышал что-то о размолвках в семье Брюлловых, но не придал тому ни малейшего значения. После чего Карл продолжил:

— Сейчас я расскажу вам все, как оно есть на самом деле, и после этого вы как человек военный, а значит, привыкший составлять рапорты, либо поможете мне сочинить сей документ, либо поедете во дворец вместе со мной или, если и то и другое невозможно, дадите дружеский совет, как мне теперь быть? Как жить после подобного позора и бесчестия? Как писать «Взятие Божьей Матери на небо», заказанный высочайшим повелением для Казанского собора? Да и зачем? Согласятся ли принять столь значительное произведение господина чиновника у человека без чести?

Я тотчас уверил Карла, что сделаю все, как он желает, так что он может, смело рассчитывать, если не на мой писательский талант, то на мое гостеприимство и состояние, коими он может смело распоряжаться по своему усмотрению. Кроме того, я обещал в случае крайней необходимости помочь ему во взаимоотношениях с судейскими, среди которых у меня имелись знакомства. После чего немного успокоившийся Карл начал свой рассказ:

— Итак, я повстречал Эмилию в ту пору, когда уже не чаял отыскать себе спутницу жизни. Ее красота, талант, чарующий голос... и самое главное — ее противоположность известной вам даме, богине, которой я служу столько лет и которой несмотря ни на что буду служить вечно. Юная и прекрасная Эмилия Федеровна была не похожа на властную львицу Юлию Павловну, и в то же время в них было нечто родственное. Те же черные волосы, та же ослепительная грация, но только если Юлия Павловна делает все напоказ, даря свет и жизнь, как поступает Солнце, то нежная, кроткая Эмилия напоминала скорее свет

Луны, ландыш, нежнейший эдельвейс. Если Юлия сияла жаркой южной красотой своих итальянских предков, Эмилия же — типичная северянка, строгая, рассудительная немка, блистала росой на свежем лепестке первоцвета.

Я пленился, очаровался ее юностью, написал ее портрет у рояля, а уже потом сделал предложение. Не скажу, что папенька Эмилии Федеровны принял его с большой радостью, но, должно быть, моя слава и известность сыграли роковую роль, так что, в конце концов, он был вынужден согласиться отдать за меня дочь. Я был на седьмом небе от счастья, занялся обустройством дома, готовил пышную свадьбу, когда... Надо сказать, что во время подготовки к таинству венчания и свадьбе я ни разу не оставался наедине со своей невестой. Это должно было показаться мне подозрительным... даже возмутительным...

И что же... буквально накануне венчания, когда я, повинувшись бог знает откуда взявшемуся порыву, заехал в дом к своей обожаемой суженой, она вдруг кинулась мне в ноги и со слезами на глазах поведала ужасающую тайну, тяготившую ее долгие годы. Увы, моя невеста не была девственницей. Но это еще не все. Ошибку юности я бы мог простить, поверив в то, что нас ожидает долгая, счастливейшая жизнь.

Но... видя ее стыд и раскаяние, я потребовал немедленно открыть имя любовника. Нет, я не собирался вызывать его на дуэль, просто не хотел подозревать каждого. И... — Карл замолк, порывисто закрыв лицо руками, так что я решил, что он снова плачет. — То, что сказала Эмилия, было настолько ужасно, что поначалу я отказался верить. Любовником, причем постоянным любовником Эмилии, был ее родной отец. Человек, из рук которого у святого алтаря я должен был получить свою будущую жену. Я не мог... не то что вызвать его на дуэль, но даже пощечина, и та немедленно отразилась бы на репутации Эмилии, а, следовательно, ударила бы и по мне.

Не зная, что делать, я хотел бежать куда глаза глядят, отменив венчание, но Эмилия зарыдала в голос, прося спасти ее от тирана, забрав в свой дом и оградив, таким образом, от дальнейшего поругания и насилия. Что я мог сделать? Признаться, мы, мужчины, никогда не считали чем-то зазорным иметь и дюжину возлюбленных, но это... как подумаю, мороз по коже... — Его передернуло. — Разумеется, я мог отказаться — и был бы прав! Но Эмилия, что стало бы с ней?

— В общем, вы приняли нелегкое решение и согласились на этот брак. Это благородно! — Я пожал его руку. — Полагаю, что именно желая выгородить себя, отец Эмилии Федеровны теперь и обвиняет вас в жестоком отношении к его дочери. Поэтому он и забрал ее вновь к себе. И вы? Вы не пытаетесь вернуть жену домой силой? Возможно, находясь в руках отца, она готова обвинять вас в любой гнусности, но вдали от него... — я посмотрел на Карла, лицо которого покраснело, а на лбу вздулись темные вены.

— Мы начали свою семейную жизнь. Я уходил в Академию или на строительство церкви Петра и Павла, ее ставит мой брат Александр, но алтарный образ заказан мне. Однажды, вернувшись в свой дом, я застал там... — он развел руками, звонко хлопнув по коленкам. — Эмилия сказала лишь часть правды. Ее отец не просто был ее любовником, он не переставал оставаться им даже после того, как Лотти стала моей законной супругой! Я застал их вместе, после чего они оставили мой дом и теперь поносят меня на каждом углу, требуя, чтобы я выплачивал ей ежемесячное содержание. Эмилия демонстрирует следы жестоких побоев, ее отец требует расплаты!

Вы должны собратья и изложить все это на бумаге, как требуют от вас.

На бумаге?.. Мне проще не холсте... — он виновато улыбнулся. — Я даже письма писать не люблю... а вот читать очень люблю и даже ученикам своим вменяю в обязанность читать мне во время работы книги. Разные, совсем разные... меня многое занимает, не подумай, что только стишки да романы... Чтобы создать картину на исторический сюжет, необходимо знать историю, летописи, быть в курсе работ археологических экспедиций... м-да... меня и науки многие занимают, в частности, астрономия, археология,

ботанику люблю послушать, по географии.... и вообще...

К тому же... тут ведь нельзя просто пересказать историю нашего знакомства, мол, господин X познакомился с девицей Y, ерунда какая-то получается. А ерунды и не должно быть. Тут нужно с самого начала поведать, кто я такой, откуда родом, о семье упомянуть, об Академии, о моих наградах, наверное... — он смущенно улыбнулся. — Даже не знаю... С одной стороны, получается, будто я хвастаю, но с другой... не на дороге же я их нашел. Пожалованы лично государем, Академией художеств, да и отправиться за границу на четыре года за счет Общества поощрения художников^[3] — немалое дело. Правда, пробыл я там не четыре, а все четырнадцать лет. За это время отца, мать и младших братьев утратил. Я — четырнадцать, а брат — восемь, если быть точным. Но это ведь тоже важно. Как считаете? Это ведь тоже меня характеризует?

Я тотчас согласился с доводами Брюллова, предложив занести награды в отдельный список, дабы затем можно было специально заглянуть и убедиться, какого заслуженного человека предстоит судить. Тут же я вооружился письменными принадлежностями и, устроившись за столом, попросил Карла рассказать о себе все, что тот считает нужным, но с тем, что я буду задавать вопросы, на которые он должен будет, по мере возможности, отвечать четко и правдиво.

— Итак, с чего же начнем? — спросил я, едва Карл развернул свое кресло таким образом, чтобы мне не пришлось всякий раз к нему оборачиваться. — Как я понимаю, вы получили медаль по окончании Академии?

— Именно так. — Брюллов просиял. — Но перед этим моего «Нарцисса» удостоили золотой медалью первого достоинства. Можете проверить, там так и написано: «Карл Брюлло...». Не Брюллов, а Брюлло, тогда так величали. В академическое собрание картину не взяли, но назначили к свободной продаже. Мой учитель, Андрей Иванович Иванов, мне через много лет рассказывал, что приобрел сей холст через подставное лицо. Учитель — картину ученика! А до этого «Великодушие государя» отмечалось и после «Явление Аврааму у дуба маврийского трех ангелов», но это уже выпускная программа. — Он поднял указательный палец. — Сам его сиятельство князь Голицын, обер-прокурор Священного синода, министр Алексей Николаевич Оленин награды вручали. Какие люди! Все медали, заслуженные во время обучения, выдавали в один день, в выпускной. «1821 года сентября 16-го дня... при игрании на трубах и литаврах»... Представь себе — получить пригоршню медалей! Вот отец-то радовался! Выпив, изрядно речи произносил, только что не плясал от счастья. Сестер расцеловал... младших братьев на руках носил и подбрасывал к потолку, вот только меня не обласкал даже за золото, честно добытое. Впрочем, я давно к тому привыкший. Отец меня за всю мою жизнь, должно быть, раз и поцеловал, когда мы с Александром за границу на четыре года собирались. В тот день я отца и мать в последний раз и видел.

— Ваш отец был строгим, как все немцы? Или, простите, он все-таки был французом? Брюлло?..

— Брюлло или Брыло... как уж новой родине угодно, — Карл поморщился. — На самом деле последняя буква «в» была официально пожалована как раз перед отъездом, причем нам обоим, чтобы за границу ехали не невесть чьи Брюлло и не Брыло, а вполне русские художники Александр и Карл Брюлловы.

На самом деле Брюлло были французами, гугенотами, которые после отмены Нантского эдикта^[4] сорвались с насиженных мест и отправились куда глаза глядят, лишь бы выжить. Так странствовали они, пока не удалось осесть в Люнебурге, на севере Германии, при гипсовом заводе которого можно было устроиться художниками. Единственное, что они более-менее умели и к чему стремились. Свыше восьмидесяти лет семья проживала в Германии. Умирали старые Брюлло, нарождались новые... художественное ремесло передавалось от отца к сыну, пока в 1773 году мой прадед Георг Брюлло не получил приглашение приехать работать в Петербург на только что отстроенный фарфоровый завод

скульптором, или, как тогда говорили, лепщиком. Сначала сам, а потом и сына своего Иоганна (Ивана Георгиевича) лепщиком поставил. А уж Павел Иванович, отец мой, на все руки мастер удался — и скульптор, и резчик. Трудно сказать, чего он не умел.

Напишите, что семья у нас хорошая, все дети к делу с малолетства приставлены, потому как еще до Академии обучались дома. Федор — сводный мой брат, сын отца от первого брака, как и папенька, решительно все умеет. Какое задание ни дай, все сделает, блоху подкует. Александр — зодчий, каких мало, художник-аквалерист... спокойный, рассудительный. Отец всегда говорил, что из Александра толк выйдет. Юлия, сестренка, замуж за Петра Соколова, модного акварелиста-портретиста, вышла. Из Ивана почище моего художник бы получился! И меня, и Александра за милую душу обскакал бы. Да на все воля Божья. Мария... вот она артельщика к нам в семью не привела. Что поделаешь, но не всем же кистью махать? Сенатский чиновник Теряев — вполне надежный, благопристойный человек и отличный муж. Все при семьях, при детях, да.

Про матушку еще напишите, что она — дочь придворного садовника Карла Шредера. В честь деда меня и назвали. Что еще? Впрочем, вычеркните, что я о французах и немцах говорил, укажите только, что отец всегда записывал нас не иначе, как «российские подданные». Этого довольно. Вероисповедание евангелическо-лютеранское. Так во всех бумагах значится, и про то, что «Брюлловъ» я по высочайшему повелению, наверное, тоже неплохо бы ввернуть, потому как это же честь высокая!

Глава 2

*Я так сильно чувствовал свое несчастье, свой позор,
разрушение всех надежд на домашнее счастье, что боялся
лишиться ума.*

К. Брюллов (из прошения на развод)

Желая выполнить просьбу Карла как можно лучше, я решил, что, пожалуй, буду записывать за ним, дабы в дальнейшем можно было использовать сказанное для составления объяснительной. Но не так, как это делал мой эмоциональный друг, выплескивая на меня свое горе, а размеренно и осмысленно, чтобы всякий, кто прочтет сей документ, понял, как чистая, трепетная душа может единым росчерком пера быть низвергнута в адовы бездны или выведена на свет божий подобно тени бедной Эвридики из царства мрачного Аида.

— Я родился 12 декабря 1799 года в семье наставника класса резного на дереве мастерства и академика Павла Ивановича Брюлло, — продолжил Карл, когда мы пообедали и вновь устроились в кабинете. — Впрочем, ты хотел, чтобы я рассказал об отце? Право, даже не знаю, что и писать о нем. С одной стороны, я обязан ему уже тем, что творю, с другой... Конечно, его методика преподавания дома была правильной. Это подтверждается тем, что мы — его сыновья — стали художниками и снискали славу, но... Говоря о нашей семейной мастерской, теперь, спустя столько лет, я не могу отделаться от мысли, что пусть разумной и правильной была его метода, но не единственно верной! И, по чести, даже если бы он не ставил мне руку, если бы не требовал, чтобы я рисовал и рисовал человечков и лошадок, неужели я сумел бы избрать иную стезю для применения талантов своих, нежели сделаться художником? В семье, где всегда пахло краской, клеем, струганым деревом или глиной, где каждый что-то делал, мастерил? Скорее я бы еще больше стремился к свету, если бы меня туда не гнали пинками, или... или спился. Вполне, кстати, предсказуемый финал для такого ненадежного человека, как я... — он развел руками, — вот и получается, что отец кругом прав, а я — неблагодарная свинья, да и только, в чем теперь же сам по чести и признаюсь.

Впрочем, что говорить о моем ученичестве, когда я не учился, а скорее развлекался? После многочасовых домашних занятий уроки в Академии давались мне с эфирной легкостью, я не корпел, не грыз гранит науки, а веселился и танцевал! Я, почти не глядя, делал беглый рисунок, а соученики и старшекурсники выли от восторга, качая меня на руках и угощая кренделями и сайками. За сладости я правил работы выпускников, а мои рисунки отбирались в образцы. Так что попробуй теперь, отдели, что во мне от палки отца, а что от моего собственного гения и счастливой судьбы?

Отец однажды залепил мне такую затрещину, что я оглох на одно ухо. Вот, что такое мой отец! И при этом он был отличнейшим семьянином, человеком, который никогда не сидел, сложа руки: если не лепил, то вырезал по дереву, если не вырезал, так рисовал по тканям... в доме в любое время, кроме ночных часов, все были заняты работой. Императорский указ строжайше запрещал ремесленным мастерам задерживать выполнение заказов к сроку. Отец ни разу не нарушил указа, так что от клиентов не было отбоя. И при этом всегда находил время посмотреть задания, данные детям, у всех, даже у самых маленьких... волевой, непостижимый человек...

Впрочем, это я неверно тебе сказал, что родился в доме академика. Незадолго до моего рождения он лишился места и поступил на службу в «Экспедицию при правлении Кронштадтского порта» мастером по кораблестроительной части, но в основном занимался оформлением корабельных помещений.

До пяти лет я не ходил и вообще производил довольно-таки плачевное впечатление. Маленький, рыхлый, скучный. Летом, в погожие дни, кто-нибудь из домашних выносил меня во двор, сажал на кучу

привезенного отцом песка, где я и торчал до обеда, а потом и после обеда, покуда светило солнышко. У меня не было ни друзей, ни няnek, и только собака приходила иногда полежать рядом. Чтобы я как-то развлекался, отец вырезал из дерева формочки, раскрасив их яркими красками, но я не любил печь пирожки из песка, больше увлекаясь рисованием. Иногда за целый день ко мне ни разу никто не подходил, все были заняты своими делами, а я... печальное время — детство, ни за что не хотел бы вернуться туда.

В одиннадцать лет я поступил в Академию художеств^[5], как мне и было предназначено свыше, за казенный счет. — Карл закрывает на несколько мгновений глаза, застывая в мечтательной позе, затем один его глаз озорно открывается, подмигивая мне. — А куда бы я еще подался, горемычный? Отец — академик, брат Федор академию закончил. Я всегда знал, что подрасту и стану учиться в Академии. Это было предсказуемо, и оттого не несло в себе праздника.

В пять утра подъем — коридоры Академии оглашаются пронзительным колокольчиком служителя, мы вскакиваем и, подобные стаду диких буйволов, несемся к умывальнику. Отставить подушечные бои, одеться, причесаться, хоть пятерней, но уложить патлы, и в шесть ровно извольте встать на молитву. Тут только понимаешь, что не выспался и замерз. Вообще холод донимал меня с самого детства, должно быть, поэтому я и полюбил знойную Италию, но да сейчас не об этом. Стояли в церкви долго, не отошедшие от сна ноги гудели. Стоишь, бывало, и вроде знаешь, о чем Бога просить, а слова не идут в пустую голову или вдруг разворчит живот и все время думаешь о завтраке. И кажется он тебе вдруг таким вкусным, словно не кусок хлеба с кружкой шалфея вместо чая получаешь, а в лавке у булочника или кондитера плюшками да пирожными угощаешься.

С семи до девяти — научные классы, два часа — рисование, потом ужин и в десять спать. Никаких привилегий, болен — скучай в лазарете, здоров — занимайся, как остальные. Будь ты новичок или выпускник — для всех одни и те же правила.

Я поступил в Академию художеств во время президентства графа Александра Сергеевича Строганова, но уже через год, на торжествах по случаю освящения Казанского собора, он простудился и умер. Если какая смерть и бывает к сроку, то эта оказалась совершенно некстати. Мало того, что покойник был меценат и собиратель и как царедворец знал многих и мог защищать Академию. Как птица, оберегал он свое гнездо с драгоценными птенцами, но тут еще началась война, и Александру I было не до художеств. Так что Академия осталась на целых шесть лет всеми оставленной сиротой. Так что лишь в 1817-м Алексей Николаевич Оленин принял бразды правления в этом нищем и убогом царстве, на котором к тому времени было долгов, что блох и болезней на бесприютной собаке.

Оленин принимал Академию с семнадцатью рублями двадцатью шестью копейками в кассе и огромным долгом в триста тысяч рублей! Мало того, спальни были непригодны для жилья, а классы почти не отапливались и выглядели весьма убого. Программы обучения устарели, и им практически не следовали. Так что, вспоминая некоторых наших учителей, невольно приходит на ум образ Вралёва из комедии Фонвизина «Недоросль», где бывший кучер выдавал себя за ученого, все представления которого о жизни были почерпаны из наблюдений, сделанных им с высоты извозчичьего места. Да уж, воистину, многие учителя преподавали так, словно продолжали восседать на козлах.

Алексей Николаевич распустил учащихся в четырехмесячный отпуск и за это время занялся ремонтом здания и переделкой учебной программы. А форму?.. Знаешь ли ты, кто придумал новую форму для учащихся? — Карл залился веселым смехом. — Твой покорный слуга и придумал! — он шутовски раскланялся. — Я измыслил, а Оленин-кудесник в три дня задуманное воплотил! Синие суконные штаны и куртки для младших и синие же фраки, короткие панталоны, белые чулки и башмаки с пряжками — для старших. Впрочем, к чему художнику что-то иное? Все равно изгваздается. А пряжки? Как раз вышел указ о разрешении ношения пряжек, молодежь желала перемен, вот я и... — он хихикает.

— Мы в Академии с тобой виделись? — Карл прищуривается, голова склоняется при этом к плечу. — Кюхельбекер, помню, частенько захаживал, можно сказать, жил в классах, ученика своего Мишу Глинку приводил на рисунки полюбоваться, а вот... когда же мы с тобой-то сдружились?.. Ах, ладно.

Отец говорил, что на строительство Академии было собрано пятьсот человек одних только каменщиков, государь давал пятнадцать лет на строительство, а денег... как у нас всегда на Руси случается, не было. Поначалу вроде как взялись рьяно, а после... с каждым годом средств выдавали все меньше и меньше. В результате рабочих пришлось отправить на другие объекты, из-за чего строительство непростительно затянулось — одни только каменные ступени рубили целых семь лет. В общем, со дня торжественной закладки здания прошло без малого 25 лет, но дом все еще оставался недоделанным. Но тянуть дальше было смерти подобно, еще немного — и оно начало бы разрушаться. Так что высочайшим повелением было решено считать недостроенное готовым и пригодным для обучения юношества.

Кстати, дубовые двери навесили только в первый год правления Оленина, до него руки не доходили сделать по проекту, так что вместо дубовых дверей были поставлены решетчатые ворота — проклятие дворников, которые всю зиму сгребали сугробы, надуваемые с Невы прямо на круглый двор. Решетки не могли остановить снежного и ветряного нашествия, в Академии стоял жуткий холод, а снег еженедельно вывозился мужичьими возами. Помню обледенелые колонны вестибюля и воющий, точно призрак, гуляющий по бесконечным коридорам Академии ветер. В классах учителя опасались держать распахнутыми двери или окна, так как сквозняки несли болезни; от вентиляционной трубы веяло лютым холодом. Поэтому в классах и спальнях было невероятно душно.

Глава 3

— ...Пальцы синели и застывали вроде куриной лапки, невозможно было держать кисть, размотать крест накрест стягивающий грудь пуховый платок, а ведь художник не должен сутулиться и крючиться перед мольбертом, — продолжает Карл начатую историю.

Я снова на своем боевом посту за письменным столом с пером в руках.

— Во все времена художники и скульпторы одевались в просторные кофты, подбирая волосы подберет, ермолку или повязку. Свобода в движениях и сила, чтобы долгие часы удерживать палитру и проводить четкие, единственно возможные линии, наносить верные мазки. Слабые руки тренируют длительным удерживанием тяжести, но невозможно писать, будучи закутанным в шубу и платки, точно уличная торговка пирожками!

Нет, решительно нет! После работы я могу облачиться в партикулярный сюртучок или гаррик^[6], могу надеть фрак, мундир или... но когда я пишу, ничто не должно давить на меня и мешать. Я просто не имею права отвлекаться от работы, думать о постороннем! Впрочем, чего это я раздухарился? — Карл виновато улыбнулся. — Должно быть, ребята были признательны мне за форму, особенно те, кто не имел лишней одежды, вроде Федьки Иордана. Представляешь, изгваздать единственный сюртук?... Помню, в Италии, бог весть в каком заплеванном городишке, я как-то проснулся совершенно без средств, да еще и запертым в жутком клоповнике, отчего-то носящем гордое название «гостиница». Я был голоден, зол, у меня было похмелье, а хозяин все твердил, что не выпустит меня без оплаты, даже если я испущу дух на его прогнивших кроватях. С неделю я переругивался с ним через окно, требуя, чтобы он принес мне поесть. Конечно, я мог выпрыгнуть во двор и только бы меня и видели, но чертов разбойник воспользовался моим состоянием, и пока я дрых, забрал все ценные вещи.

Дурацкая, в общем, история, если бы не ее финал. Вначале рядом со мной была некая черноволосая красавица, но затем... а впрочем, химеры обычно покидали меня одновременно с деньгами. Потом я сидел голодный и злой, не зная как подать весточку брату в Рим, как выбраться на волю. Живот подводило от голода, голова кружилась, горло саднило от бесполезных криков, когда дверь в мою темницу неожиданно открылась и я обрел свободу!

Поначалу я не понимал, что произошло, и по наивности предположил, будто бы хозяин вдруг изменил решение, но мог ли это сделать человек без сердца? Через некоторое время я все же навел справки и выяснил, что заплатил за меня совершенно незнакомый мне тогда русский путешественник в чине полковника. Ну? Догадался? Александр Николаевич Львов! Седьмая вода на киселе нашему Оленину и давний знакомец моего отца и старших братьев — Федора и Александра!

Впрочем, это я что-то далековато забрался. Как говаривала моя матушка: «Карл — не друг писания». Так это она в самую точку. Не писать я, а говорить пером обожаю. Не то что брат Александр — вот кто горазд словесные картины живописать — и про пожар базилики святого Павла, и о похоронах папы Пия VII, и о чем изволите, и главное, все так складно, точно не письмо, а книгу или статью в журнале научную читаешь. Сестра Маша первенца Сашкой назвала, в дядину честь, а я что... не горазд я в письмах виды описывать. И хоть Италия мне домом вторым показалась, а скучал я по ним. Сижу, бывало, один-одинешенек, гулять по жаре не тянет и делать особенно нечего, хоть волком вой. Одна радость, когда во двор детишки соседские поиграть прибегут. Все времена вспоминал, как маленькие Павел и Ванька, точно котят, резвились да мутузили друг дружку. Вот, думаю, хоть бы еще разик полюбоваться на их забавы да послушать, как они шумят да работать мешают старшим, дьяволята. Казалось бы, такая радость! И Кикину писал, точно говорил с ним, просто, по душам. Вот так же, как теперь с тобой. За бокальчиком молодого

вина сладкого, точно поцелуй прекрасной незнакомки, или кислого, что бодрит, словно поток горной реки... говорить с ними хотел все время, про себя постоянно говорил, спорил, даже обижался ненадолго. Но долго я дуться не умею, отходчив.

Но, может, про письма и не надо, впустую это. Может, ты лучше напишешь, что я не мог поднять руки на любимую женщину, тем более всякие гнусности... Про нас, художников, каких только притч ни слагают, и многие, надо отдать должное, верны. Но только юность и пылкость в карман не запрячешь, а коли запрячешь, то не они это и были. А итальянки — у-у-у, эти чертовки слабинку нашего брата нутром чуют, своего не упустят. Потому, как давно известно: коли приехали художники из России, то при деньгах, и все-то им интересно, все в новинку: и как виноград зреет, солнцем наливается, и как волынщики от дома к дому ходят, у изображений Девы Марии останавливаются, играют, поют, танцуют.

Приехал русский пенсионер — подай ему сыра и вина, горячую красотку, самую черную, самую веселую. Не нарисует, так амур закрутит. Дело-то молодое. Все итальянки лукавы, неверны и безбожно прекрасны. Чуть зазеваешься — червонцы тютю, а ее уж и след простыл.

Кипренский Орест Адамович убил как-то итальянку. Про то все знают, но судебного разбирательства не последовало, потому, как он сразу же отбыл в Петербург. Не один поехал. С кем? Покамест умолчу, и не записывай этого, бога ради, это же я так, по дружбе. Уехал Кипренский — и правильно сделал.

Сам я лично покойницу не видел, но народ говорит, а народ зря говорить не будет. Пил он сильно, должно быть, под этим делом и...

Брат Федор писал к нам с Александром, будто в столице Кипренского приняли холодно. Сразу же устроили выставку в Эрмитаже, но то ли ожидали от него большего, то ли... В общем, Федор сообщает, что теперь над Кипренским принято подшучивать и за его спиной распространять побасенки, так что даже Оленин, Крылов и Гнедич от него отошли и забавой всеобщей этой совершенно не гнушаются. А те, кто прежде с ним znalся и был накоротке, нынче отказали в общении за его нескромность. И Кикин меня еще предостерегал, чтобы со мной чего-нибудь подобного по природной горячности моей не произошло.

Так что совсем бы пропал Орест Адамович, если бы Шереметьев его у себя не пригрел^[7] да Дельвиг из альманаха «Северные цветы» в гости не заявился и не предложил ему Пушкина писать. Александр Сергеевич как раз возвратился из ссылки и был душевно рад знакомству.

Кипренский в Петербурге портрет Пушкина намалевал, и сделал сие более чем хорошо! Достоин всяческих похвал! «Себя, как в зеркале, я вижу»... м-да... И теперь уже все с восторгом смотрят на портрет поэта и давно позабыли про итальянку.

Моя картина «Итальянское утро» шла из Италии в Петербург два долгих года и была хорошо принята, отправлена на выставку и затем подарена от имени Общества поощрения художников государю, а уж тот, в свою очередь, подарил ее императрице. Мне же в качестве вознаграждения был пожалован бриллиантовый перстень и пожелание государыни непременно иметь еще одну в том же роде ей под пару. «Журнал изящных искусств» по поводу «Итальянского утра» писал: «Желаю от всей души г. Брюллову, чтобы ПОЛДЕНЬ его искусства был достоин своего прекрасного УТРА!»

Карл замолчал, и я, воспользовавшись паузой, задал интересующий меня вопрос:

— Ты говорил о президенте Академии Оленине, но промолчал об учителях, в то время как известные имена учителей добавляют доверия к особе учеников? — Мне вдруг сделалось стыдно: Карл — гений сам по себе, гений без всяких академий, семейных традиций, без учителей и школ. Более того, он всегда принадлежал к тем редким вольнодумцам, которые не пытались повторить античный идеал, а искали в живописи нечто новое, свое, то, что требовал их беспокойный норов. Но, вопреки ожиданию, Карл нисколько не обиделся и тут же поспешил сообщить мне, что его первыми учителями в Академии были

знаменитые Алексей Егорович Егоров и Андрей Иванович Иванов, иконы которого составили убранство таких храмов Петербурга, как Казанский и Преображенский соборы, а также Конюшенной церкви, церкви Почтамта и Михайловского замка.

Впрочем, перечитывая собранный материал, я понял, что был невнимателен к Карлу с самого начала, особенно когда он рассказывал о том, как его наставник Андрей Иванович Иванов купил через знакомого удостоенную медалью картину Карла «Нарцисс».

— Перед поездкой я лелеял мечту жениться на дочери Андрея Ивановича, Марье Андреевне, и просил ее руки, но... увы... Многим позже мне передавали, будто дочка моего профессора в салоне N будто бы говорила о том, что коли согласится и свяжет меня узами Гименея, то после горько пожалеет об этом. Ибо, сделавшись семейным человеком, я буду больше думать о хлебе насущном и ни за что уже не создам всего того, что милостью Божьей создал. Будто была ей явлена во время гадания вся жизнь моя без нее и с ней, и все — в преражайших подробностях. Долго плакала, перебирала «за» и «против», пытаюсь саму себя или богиню судьбы обмануть. Ночь прошла в бесполезных торгах, и к утру, наплакавшись вволю, дала она мне отказ, дабы сослужил я службу отечеству, летал на крыльях своего гения, без вериг и оков, но свободный и счастливый.

Не знаю, можно ли сему верить? Но в Рим я уезжал, впервые испытал горечь отказа, в твердом намерении превзойти всех, дабы вероломной Марье Андреевне было впоследствии обидно, что потеряла такого человека.

Итак, об учителях. К Иванову-то я к первому с визитом пришел. Из Италии я через Малороссию возвращался, затем Москва, там еще пожил малость, а потом сразу же к любимому наставнику. С Егоровым уже в Академии встретились, а к Андрею Ивановичу — в первую очередь. К слову, мне с ним еще о сыне его потолковать нужно было. Сын-то... Андрея Ивановича художник, каких мало, и хоть разбросала нас судьба и в последний год не общались мы с ним вовсе, а все же, как вспомню его «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине»... да... Теперь Егоров. — Карл затих на мгновение, прислушиваясь к голосам и смеху на лестнице, должно быть, дети возвращались с прогулки. — Алексей Егорович азиатского происхождения, сирота, роду-племени не знавший. Впрочем, уже сама его внешность была необычна для русского человека. Детство Алексей Егоров провел в Воспитательном доме, сохранив в памяти единственное яркое воспоминание ранних своих лет — шелковый халат, расшитые стеклярусом сапоги да кибитка. Других воспоминаний детства у него не водилось. Впрочем, что говорить, когда он даже имени своего настоящего не ведал, был крещен в православную веру и записан Алексеем.

Прилежно учился в Академии художеств у художника Ивана Акимовича Акимова, причем взяли его туда сущим младенцем — всего шести лет отроду. Небывалый случай. Но Егоров быстро приобрел славу лучшего рисовальщика, упроченную медалями, и по окончании был определен преподавателем туда же. Через три года получил звание академика, и еще через три был отправлен в Рим, где сделался страстным поклонником и самым преданным учеником великого Камуччини. Впрочем, и сам Егоров вскоре снискал звание великого русского рисовальщика, получая за свои листы столько золота, сколько можно было уложить на них. Можно было остаться в солнечной Италии, но художника влекла ставшая ему родной Академия. Поэтому он не задержался в Риме и, вернувшись в Петербург, очень быстро снискал новую славу и почести. Сам император Александр велел прибавлять к его имени титул «Знаменитый». Впрочем, последнее скорее смущало, нежели радовало скромного мастера.

Его ученик Андрей Иванов имел судьбу, во многом сходную с судьбой своего знаменитого учителя. Тоже сирота, подкидыш, детство которого прошло в московском Воспитательном доме, он поступил в Академию художеств в Петербурге. Называл своими учителями и духовными родителями Угрюмова, Егорова и Шебуева. По окончании обучения в 1792 году получил Большую золотую медаль за картину «Ной

по выходе из ковчега приносит жертву Богу», а также аттестат 1-й степени на звание классного художника. Был оставлен пенсионером при Академии для «вящего в художествах познания». Преподавал, а в 1800 году получил звание «назначенного» и еще через три года — звание академика за картины «Адам и Ева с детьми под деревом после изгнания из рая» и «Христос в пустыне». Много копировал старых итальянских мастеров XVII века: Доменикино, Карраччи, Гвидо Рени, но главным, мне кажется, была его тяга к отечественной истории, желание воспевать героев отчизны. — Карл поднялся и прошелся по комнате. — Помню, много говорили о его картине «Подвиг молодого киевлянина при осаде Киева печенегами в 968 году». Следование классической школе, идеальная правильность линий. Сейчас бы его назвали, пожалуй, устаревшим. Но зато сам сюжет! Впервые картину выставили для всеобщего обозрения в 1810 году. Помню, что в то время она потрясала смелостью и новизной сюжета. Летописец Нестор писал о подвиге безымянного юноши, который выбрался из осажденного Киева, прыгнул в воду, переплыл Днепр и позвал на помощь.

Андрей Иванович посещал заседания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, после которого неизменно красноречиво и пламенно наставлял своих учеников силой искусства пробуждать добрые чувства в сердцах сограждан. При этом он бурно жестикулировал, краснея лицом и иногда начиная заметно задыхаться. Речи густо перемежались стихами:

Друзья! гоняться за мечтою,
За тенью призраков пустых,
За честью — ложной суетою —
Есть участь лишь невежд одних!
Блистать богатством, орденами,
В архивах предков вырывать,
Гордиться титлами, чинами,
В сатрапских негах утопать —
Пускай они одни стремятся,
Мня счастье в том свое найти,
Пускай вокруг их льстецы толпятся
И слух их тщатся обольстить.^[8]

— Не помню, как там дальше... но, в общем, настроения были именно такие. Через два года, 12 июня 1812-го, в ночь, войска Наполеона с песнями и прибаутками переправились через Неман. Французы шли, словно на грандиозный праздник, на короткую и победную войну. Просчитались.

Патриотически настроенный свет начал демонстративно отказываться от знаменитых на весь мир французских соусов и вин, предпочитая русскую кухню. Стремительно менялась мода... молодые люди зачастили на балы с оружием, показывая тем самым, что не расположены танцевать и развлекаться в то время, когда над страной нависла беда. Тербенев, забыв про свое призвание скульптора, принялся малевать так называемые народные картинки из окружающей жизни, которые выставлялись в окне магазина, куда поглазеть на новинки неизменно являлись толпы любопытных. Мы, мальчишки, обязательно прибегали к заветной витрине поглазеть: не выставят ли новенькое? И, запомнив до деталей, пытались перерисовать позже по памяти. У кого были мелкие деньги, тут же выкупали копии себе на память.

Наполеон плясал, поощряемый кнутом русского крестьянина, гордая тройка выбрасывала захватчиков из саней, не желающий носить клейма крестьянин, к ужасу французов, отрубал собственную руку.

Картинки можно было приобрести черно-белые и уже раскрашенные. Последние стоили, понятное дело, дороже, так что многие учащиеся тут же нашли для себя заработок, раскрашивая тербеневские

картинки.

Учителя и воспитанники Академии должны были отправиться в тыл, но в результате туда поехали только заколоченные ящики с гипсовыми слепками и картинами. Впрочем, и те добрались лишь до реки Свири, где зазимовали, а весной, когда сошел лед, благополучно вернулись обратно.

Денис Васильевич Давыдов, блестящий потомственный офицер, чуть было не пропустил первую войну с Наполеоном, так как его гусарский полк должен был оставаться в резерве. Его брат Евдоким, оставив службу, поступил в кавалергарды и снискал славу под Аустерлицем, где был тяжело ранен (пять сабельных, одна пулевая и одна штыковая раны) и попал в плен. Все европейские газеты писали о русском пленном, навестить которого явился сам Наполеон!

Денис Васильевич же, хоть и не уступал брату в храбрости и желании послужить отечеству, был вынужден бездействовать. Согласно легенде в ноябре 1806 года, ночью, Давыдов пробрался к фельдмаршалу Михаилу Федоровичу Каменскому, назначенному в это время главнокомандующим русской армии, где упрашивал его отправить полк Давыдова на фронт или даже послать туда одного только Дениса Васильевича. Должно быть, запал ночного визитера был настолько велик, что к утру главнокомандующий спятил. Повязав голову бабьим платком и накинув на плечи заячий тулуп, он вышел к войску со словами: «Братцы, спасайтесь, кто как может...».

Позже Денис Васильевич много раз бился с французами, мечтая об одном: встретить Наполеона. Это произошло в Тильзите, во время заключения мира между французским и русским императорами.

По мнению самого Дениса Васильевича, любивший его Багратион специально сказался больным, приказав Давыдову быть вместо него.

Отец видел Давыдова, когда тот приезжал в Академию. С первой войны привез орден Святого Владимира IV степени, бурку от Багратиона и трофейную лошадь. А также был награжден орденами и золотой саблей. Давыдов был подлинным красавцем, эдаким любимцем Марса, но отцу он запомнился своей веселостью и неподдельной простотой. Например, когда его спросили, каким предстал перед ним Наполеон в их встречу в Тильзите, Денис Васильевич ответил: «Маленьким». И не без гордости добавил: «Гораздо ниже меня». И еще, по его словам, в ту памятную встречу, они сразились глазами. То есть тарачились друг на друга, пока Наполеон первым не отвел взгляда.

Кипренский дивно изобразил лейб-гусарского полковника Давыдова, причем, ему всегда удавались портреты сильных личностей.

Хватит про Давыдова, при чем здесь Давыдов?! — наконец не выдержал я.

А и в правду, при чем? — Карл беспомощно улыбнулся, разведя руками. — В памяти всплывают фигуры, хочется спрятаться, защититься, что ли... — Ты уж прости меня, Петр Карлович, я ведь теперь пред тобою, все равно, что в церкви на исповеди. Как на духу все готов рассказать, но вот только, что нужно, а что лишнее? Скажи, брат, а дома ли несравненная Уленька? Что-то давно я ее не видел.

— Дома, куда ей деваться. Чай попросим, и придет^[9].

И то отрада, а я грешным делом уже подумал, не прихворнула ли, не дай бог. Так о чем еще рассказывать? Или, может, довольно? Как полагаешь, о чем будучи спрашивать?

Расскажи про Аделаиду. — Я отложил перо, разворачиваясь лицом к вдруг притихшему и как будто бы даже уменьшившемуся в размерах Карлу. — Если, конечно, это можно? Тоже ведь спросить могут, надобно заранее быть готовым.

Ну да, ну да. Ты ведь у нас человек военный, должен стратегию и тактику противника учитывать, а тень мой непременно вспомнит про Аделаиду Демулен. Только тут уж и я отпираться не стану. Что было,

то было. В общем, сия француженка досталась мне, как бы это лучше выразиться, по наследству от русского пенсионера, художника и большой умницы — Сильвестра Щедрина, прославившегося своими итальянскими пейзажами. Собственно, он до последнего работал, таскался по жаре, пока черная желчь с кровью не пошла у него горлом. Все боялся остановиться, по русской привычке, погоду упустить. Только погода в Италии совсем иная, нежели в Петербурге или в Москве, почти всегда солнечно и прекрасно. Всякий день удобен для желающих выехать на пленер. Каждый день, даже после обильных возлияний, солнце ловил, сам уже желтый весь ходил, даже белки глаз желтые, от этого самого солнца итальянского, не иначе. Знал, что умрет, и все одно: остановиться не смел.

Вот тогда-то в Неаполе и передал он мне записочку с адресом прекрасной Аделаиды. Мол, вот тебе, брат Карл, моя француженка, позаботься о ней, когда меня не станет.

Француженка! Одно только это слово «француженка» голову кружило. Несся к ней в наемной карете передать, что болен Сильвеструшка, а сам был точно на крыльях любви. Нежная... бледная, хрупкая, акварельная... ей не следовало меня так сильно любить. Я ведь жениться не собирался, в верности не клялся, с нее ничего не требовал. Мне во все времена без венца сподручнее было. Ренонс^[10], впрочем, тебе не понять. Закружил хоровод наяд, тянет то ли к солнцу, то ли в пучину, поди, разберись... Тебе, брат, хорошо с твоей Уленькой. Добрая она у тебя, понимающая. Сколько раз с ней в карты играл, о жизни рассуждал. Клад — твоя Уленька, настоящий клад. Ты уж держись ее. Поговоришь, бывало, с твоей женой и на душе полегчало, я поэтому у вас во все времена и люблю бывать, что тепло тут и покойно.

А вот мне для творчества бури нужны, впечатления, восторги! Аделаида меня намертво хотела к своей юбке тульской булавкой с медным пистолетиком приколоть. Не получилось с Сильвестром-покойником, так она всю свою любовь нерастраченную вознамерилась на меня обрушить. Чтобы я под любовью той ни вздохнуть, ни повернуться уже не мог. А тут еще и Юлия...

В общем, писала мне Аделаида. Много писала, только я писем ее читать не желал. Потому как одно и то же, все про Юлию гадости. Мол, богатая женщина во все времена своего возлюбленного может счастливым сделать. Как будто бы мне деньги ее нужны были... я в то время уже «Гибель Помпеи» начал, оторваться ни на миг не мог, а тут, только поглубже в тему нырнешь — тук-тук — «письмо извольте получить», — это слуга мой, Пабло. Почерк знакомый распознал. Ей-богу, прибил бы мерзавца. Я письмо в карман — и к картине. Но теперь уже гостиничная горничная, горбунья проклятая, в мастерскую без спросу лезет. Как будто после этой уродины я могу сосредоточиться на прекрасном!

Второе письмо в стол или в угол, где листы с набросками, за софу мавританскую, куда угодно, лишь бы вдохновения не утратить, нить не потерять.

Аделаида Демулен утопилась в Тибре. Очевидцы рассказывали, как она вышла из наемной кареты, медленно, решительно сняла с головы шляпку, тонкую шаль и прыгнула в воду. Я не был на похоронах, но вскоре узнал, что кто-то пробрался в мою мастерскую и выкрал не рисунки и не готовые холсты, за которые можно было, по крайней мере, выручить деньги, а те самые письма. И теперь они не лежали, брошенные мной, как попало, по мастерской, а ходили среди моих друзей и недругов, обвиняя меня в преступлении, которого я не совершал. — Карл тяжело вздохнул, вздохнул шевелюру.

— Не помню, чувствовал ли я жалость к несчастной. Все мое существо сковывал ужас перед той бездной, в которую теперь падала несчастная женщина, совершившая самый страшный грех. Заходил Торвальдсен, стоял и смотрел на то, как я работаю. С советами и расспросами не лез. Самойлушка Гальберг пытался развеселить на свой лад, метатель тяжестей Доменико Марини, по прозвищу Массимо — «великий», тщился утешить, рассказывая несмешные истории о своих бесконечных выступлениях по разным городам. Замелькали бутылки и мехи с винами, пьяные рожи собутыльников, и только великодушный и всепонимающий без слов князь Гагарин взял однажды меня за руку, посадил в карету и

отвез в свой загородный дом в Гротта-Феррата...

В этот момент послышался дверной колокольчик и торопливые шажки по лестнице, шорох платья и сразу же после этого веселый смех и женские голоса. Карл напрягся, вслушиваясь в происходящее, глаза его заблестели. Он торопливо поднялся, оправляя одежду и спешно расчесывая пятерней всклокоченные волосы.

В следующий момент, пробормотав нечто нечленораздельное, Брюллов вылетел из кабинета навстречу Уленьке и ее гостье.

Что ж, должно быть, пришло время устроить перерыв, а Карлу хоть немного отвлечься от его несчастий.

Глава 4

Выглянув за дверь, я поздоровался с гостьей. Ею оказалась Леночка Солнцева, двоюродная сестрица художника Федора Солнцева по отцовской линии, после чего предупредил Уленьку, что присоединюсь к ним через несколько минут. На самом деле нужно было пролистнуть бегло законспектированное за Карлом и надеть более подходящую для приема гостей дорогую домашнюю куртку, которых на Рождество я получил в подарок две штуки, невозможная, по прежним годам, роскошь.

Прежние годы... как странно складывается судьба, как непредсказуемо сложилась она у каждого из нас. Впрочем, я ни в коем случае не причисляю себя к счастливым, с раннего детства обучавшимся в Академии художеств.

В Омске, где мы жили, ничего подобного не было, так что я был лишен счастья постигать азы под мудрым руководством прославленных учителей. И вообще, отец готовил меня к карьере военного, но судьба... судьба распорядилась иначе.

С чего же я начал? Вот ведь неумеха! Карл надеется на мой дар составлять рапорта, а я даже о себе толком ничего рассказать не могу. Нет, определенно так не годится. Нельзя все время пропадать в мастерской или Литейке, иногда необходимо и в обществе бывать, да и писать... непременно нужно писать хотя бы по полстраницы в день, иначе скоро со мной невозможно будет нормально общаться и Уленьку своим занудством, не дай боже, в могилу сведу.

Так что попробую, пока Карл Павлович с дамами в шарады играет, изложить сначала свою жизнь, а потом уже и за Карла возьмусь.

Итак, разрешите представиться, мое имя — Пётр Карлович Клодт барон фон Юргенсбург. Впрочем, все мое баронство — пшик... Титул и больше ничего не оставили мне мои некогда владевшие замками в Курляндии предки, титул да, пожалуй, еще память. Память переживает нас, если, конечно, люди были стоящие. Достойные вечности.

Я младше нашего Карла, Великого Карла, как прозвал его Василий Андреевич Жуковский, почти на шесть лет. Все мои предки, сколько я их знаю, были военными. Прапрадед — генерал-майор шведской службы, герой Северной войны, длившейся двадцать один год между Россией и Швецией за господство на Балтике; отец носил генеральский мундир и прославил имя свое в Отечественной войне 1812 года. Его портрет занимает достойное место в галерее Зимнего дворца.

Я родился в Петербурге в 1805 году. Сразу же после моего появления на свет по службе отец был вынужден перебраться со всей семьей в Омск, где прошли мои детство и юность. Отец занимал должность начальника штаба Отдельного Сибирского корпуса, я же рос тихим, застенчивым мальчиком, любимым развлечением которого стали резьба по дереву, лепка и рисование. Родители не видели в моих занятиях ничего опасного, тем более что я любил изображать лошадей. Это не могло не радовать папеньку. Сам же я честно стремился сделать военную карьеру на радость домашним, еще не понимая, что не она есть мое настоящее призвание, истинное предназначение в жизни. В семнадцать лет я вернулся в столицу, где и поступил в артиллерийское училище, которое закончил в чине подпоручика. До 23 лет служил в учебной артиллерийской бригаде, после чего оставил службу навсегда, сменив блестящий мундир на неприметную штафирку, приняв окончательное и бесповоротное решение стать художником.

С тех пор скопленные деньги я благополучно прожил, а вот устроиться как-то в жизни не получалось. И вместо баронских замков моим пристанищем на долгие годы стал подвал, через окна которого я видел ноги спешащих мимо прохожих. Ни приличного платья, ни сытного стола... даже любовь... в то время я был

безнадежно влюблен в хорошенькую Катеньку Мартос, дочь академика Ивана Петровича Мартоса, о которой я грезил днем и ночью.

Кстати, Иван Петрович Мартос — мой учитель по Академии, куда я поступил в тридцатом году на правах вольного слушателя. 1830 год — особенный, для многих судьбоносный год. Начало новых реформ в Академии художеств. В тот год неожиданно для всех было приказано подать в отставку любимому учителю Карла — Андрею Ивановичу Иванову и еще нескольким старым академическим профессорам. Все официально, вызов к Оленину через посыльного с приказом: «по высочайшему повелению», парадные мундиры, дрожащий голос читающего приказ Оленина множится многоголосым эхом. В рескрипте значилось: «с куском хлеба». Но все равно было так страшно и так несправедливо, что, добравшись до своей квартиры на Васильевском, Андрей Иванович свалился на постель на глазах провожавшего его академического полицмейстера — потерянный, опустошенный, насмерть обиженный.

Потом ему еще будут перепадать заказы, радовать визитами бывшие ученики и коллеги, будут приходить из Италии письма сына Александра, но это будет уже совсем другая, отличная от прежней, жизнь.

Зато в Академию пришли новые учителя. Кроме того, братья на обучение стали уже не детей, как это происходило во время ученичества братьев Брюлловых, а взрослых мужей вроде меня.

Когда Карл спросил меня, встречались ли мы с ним в Академии, я не смог сказать, что он уже успел покинуть ее, когда я там только появился. Так что он понятия не имеет, учился ли я вообще чему-либо или самоучка, каких немало.

Каждое воскресенье я шел в академическую церковь с единственной надеждой — увидеть прекрасную Катеньку. Но, пока я мечтал да вздыхал, родители выдали ее замуж за архитектора Василия Глинку, который через год после свадьбы благополучно скончался от холеры, оставив Катерину богатой вдовой с капиталом в сто тысяч рублей. Тут же в двухэтажную квартиру при Академии, занимаемую Мартосами, к Авдотье Афанасьевне и Ивану Петровичу, куда вскоре после похорон мужа перебралась дочь, начали захаживать охочие до вдовушкиных денег женихи. Без утайки и излишней скромности я упал в ноги к почтенной Авдотье Афанасьевне и открылся в своей давней любви и нежных чувствах.

Признаться, я ведал о богатстве Катеньки, но рассуждал так: сто тысяч — огромная, по нашим временам, сумма, и если подлинное чувство и баронский титул смогут обрадовать мою невесту, то о деньгах можно будет вообще забыть, ибо на деньги покойника мы сможем жить долгие годы.

Все это я честно изложил перед Авдотьей Афанасьевной, надеясь, что ее сердце не устоит перед истинно влюбленным мужчиной, но неожиданно почтенная дама подняла меня на смех. «Катенька моя росла, точно принцесса, в холе и неге, дочь академика. Много ли прибыли с ваших лошадок? Чем собираетесь вы, любезный Петр Карлович, кормить семью? Как обеспечите моей Катеньке жизнь, к которой она привыкла? Нет! Пришла охота жениться — выбирайте невесту, равную себе, такую, как племянница моя, дочь брата, покойника, Уленька Спиридонова. С одной стороны, мастерица на все руки, с другой — такая же нищая, как и вы. Правильно люди говорят: «Два сапога — пара». Вот, кабы вы просили у меня ее руки, не моргнув глазом, отдала бы, только берите!»

Уленька! Мне, барону, было предложено жениться на прислуге своей возлюбленной! Не знаю, как я не рухнул тут же, получив столь бесцеремонный, столь наглый и не вязавшийся с правилами хорошего тона и поведения в обществе отказ, но в этот момент я вдруг понял, что моя любовь умерла навсегда. Я поднялся с колен и, смерив нахалку уничижительным взглядом, произнес: «А ведь вы нравы, Авдотья Афанасьевна. Мы с Уленькой как нельзя лучше подходим друг к другу. Уленька в делах и заботах с утра до вечера, я тоже трудолюбив. Следовательно, чего бы мне и не жениться на вашей племяннице?», после чего

велел немедленно позвать эту самую Уленьку, и та прибежала в байковом домашнем платье и фартуке. Ровесница моей Катеньки, Иулиания, была двоюродной сестрой Екатерины Мартос по матери и с самого детства жила в их доме на правах приживалки и прислуги. Я много раз видел эту девушку в компании с Катенькой, но не обращал внимания.

Вот, Уленька, барон делает тебе предложение, — заикаясь от волнения и ожидая, что я в любой момент обращу все в шутку, захихикала Авдотья Афанасьевна. — Что же, и теперь не передумаете, Петр Карлович? Ведь на всю жизнь?..

Меня в баронессы?! — зашлась задорным смехом Спиридонова. — Меня?!

Я взял за руки хохотушку и, нимало не смущаясь комичности происходящего, глядя ей прямо в глаза, произнес свое предложение, после чего был назначен день свадьбы, и Авдотья Афанасьевна поспешила скрепить наше решение «родительским» благословением.

Вскоре мы повенчались в крохотной церкви, недалеко от моего дома, и Уленька перебралась в мой подвал. На следующее утро, проснувшись раньше меня, Уленька побежала было на кухню стряпать нам завтрак, но в буфете и в чуланчике было пусто. Не зная, где следует искать хотя бы чайную заварку или кофейные зерна, она дождалась моего пробуждения и, уже причесанная и хорошенькая, скромно приблизилась к нашему нищенскому ложу и спросила, чего бы я желал на завтрак.

Так ничего же и нет, — ответил ей я, заранее хмурясь и готовясь к слезам и попрекам.

Ничего так ничего. Сейчас водички вскипачу, похлебаем тепленького, а то пить с ночи хочется. — Она весело убежала на кухню и вскоре действительно вернулась с двумя кружками.

Внутренне проклиная себя за то, что обрек ни в чем неповинное создание на нищенское существование, я крепился, не желая до поры говорить на столь неприятные темы. Уленька же смотрела на меня большими влюбленными глазами, весело щебеча разные приятные пустиаки.

К слову, хозяйкой она оказалась отменной с весьма легким веселым нравом. В первый же день Уленька вымыла и привела в приличный вид мое холостяцкое жилище, восторгаясь каждой глиняной лошадкой, каждым незначительным наброском и, как казалось, считая свою жизнь за мной вполне удавшейся.

«Ты просто люби меня, Петя. А больше мне ничего и не надобно, — словно говорили ее теплые, добрые глаза. — Только люби». Впрочем, с приходом в мой дом Уленьки в нем поселилось счастье, коего я не знал никогда прежде. Для начала, перебирая свое приданое в сундучке с бельем, она обнаружила серебряные рубли, которые тетушка Авдотья Афанасьевна, по старинному русскому обычаю, припрятала ей между вышитых простыней. «Со мной не пропадешь, — повеселела Уленька. — Гроша не было, а тут сразу рубли завелись». Выложила она передо мной на стол свой нежданный капитал. «Верю, что ты принесешь мне счастье...» — с чувством ответил ей я, поцеловав в щеку. Мы тут же оделись и собрались в лавку, так как Уленька еще не знала, где у моего дома что находится и в какие места заходить не стоит. Но не успели мы выйти за порог, как в дверь громко постучали: «Барон Клодт фон Юргенсбург здесь проживать изволит? Его императорское величество пожелало пригласить вас в гвардейский манеж»...

Государь Николай I, заинтересовавшись моими лошадками, поручил мне изваять шестерку коней для колесницы Победы на Нарвских воротах. Там же, в манеже, он с видом знатока в лошадином вопросе изволил показать мне в качестве образца английских жеребцов и распорядился выдать весьма приличный задаток.

Пьяный от счастья и окрыленный небывалой удачей, я ворвался в дом, где уже приятно пахло свежесваренным кофе и теплой выпечкой. В тот же день мы отправились по магазинам и купили Уленьке

самое красивое и дорогое платье, какое только сумели отыскать. К слову, в ее жизни это было первое платье, не перешитое с чужого плеча, а купленное специально для нее! «Так и только так должна выглядеть баронесса Клодт фон Юргенсбург», — сказал я, понимая, что Уленька выглядит, словно сказочная принцесса или скорее пришедшая мне на помощь фея.

Через пару месяцев мы, не выдержав, нанесли визит в дом Мартосов, при этом Уленька вела себя простодушно и непринужденно, я же радовался, наблюдая, как вытягивается лицо у добрейшей Авдотьи Афанасьевны и как злобно чернеет Катенька Глинка.

Впрочем, что интересного я находил в ней все это время? Даже после того, как до меня дошел проверенный слух о том, как после нашего визита Екатерина Ивановна бранилась с матерью, что та, не посоветовавшись с ней, отказала мне, я не испытал сожаления о содеянном.

В то время Уленька уже носила под сердцем нашего первенца Михаила, мы переехали в новый дом и строили себе дачу в Павловске.

Благодаря Уленьке наш дом постепенно приобретал славу светского салона, хотя под его крышей так и не поселилась чопорность и холодность. Но самое главное — я еще больше сблизился с людьми искусства, многие из которых полюбили бывать у нас. Сам академик акварельной живописи, муж сестры Карла, Юлии, Петр Соколов, как-то сделал весьма удачный портрет с Уленьки, сообщив, что писал ее девочкой, а теперь желает изобразить баронессу такой, какой она стала, — милой и простой, с букетом цветов, который в тот день она принесла с собой с прогулки. Великий Карл обожал заходить к нам без предупреждения, играя с детьми и весело болтая с Уленькой, да всех и не упомнишь.

Глава 5

Я отложил перо, когда моя младшая — Машенька — неожиданно распахнула дверь в кабинет, закричав с порога, что из конюшни опять пропал ослик, на котором так любили кататься дети. За Машенькой семенила, переваливаясь, точно старая утка, нянька. Вообще-то, нянька не должна была допускать, чтобы дети без сопровождения взрослых проникали в кабинет или, упаси боже, мастерскую, но разве ж уследишь, тем более, когда старше ее всего-то на год Мишка летит в одну сторону, а Маша в другую.

Взяв малышку на руки, вместе мы спустились во двор. Как и следовало ожидать, вся семья — Карл и недавно приехавшая Лена — собралась у конюшни.

— Надо бы следы поискать, — деловито предложил смешной в своей детской серьезности Михаил. — Может, Жорка рисует его где-нибудь за домом, — Жорка, или Георгий, сын одного моего дальнего родственника, нот уже с полгода жил у нас, действительно увлекался живописью, отдавая предпочтение пейзажам и изображениям живности.

— За домом уже искали, к тому же Георгий с утра к приятелю в соседний дом отпросился. Не на осле же он туда поехал? — с недоумением уставилась на нас Уленька.

— Я побегу. — Машенька попыталась высвободиться, но я обнял егозу, взяв ее на руки.

— Незадача, — почесал в затылке Карл, — цыгане свели?

— Цыгане скорее бы коней свели, вот какие красавцы нынче у Петра Карловича позируют, — улыбнулась Леночка.

— Да уж, на цыган не похоже, — я беспомощно оглядел стойла.

— Дворника нужно спросить, его дело — за двором доглядывать. Вот если бы в доме что потерялось, тогда... — нянька придвинулась к Мише, вытерев подолом его вечно сопливый нос.

— Дворник с утра пьян и спит в людской, — пожала плечами Уленька, — впрочем, я спозаранку в город выезжала. А никто, часом, не слышал, не было ли похорон где-нибудь поблизости?

— Как же, было-было! — затараторили дети.

— Ну, тодыть все ясно, — сразу же заулыбалась нянька. — Тоды он к процессии пристроился, окаянный, такая уж у него прихоть. Чуть слышит похоронный марш, тут же из стойла вон, и покуда покойника до кладбища не проводит, нипочем домой не вернется.

Все рассмеялись.

— Вот если не вернется серый по собственному желанию, я с дворника да и с тебя за беглеца ушастого взыщу. Мне, может быть, еще сегодня лепить желание придет, что я тогда буду делать? Пьяного дворника вместо осла ваять?

— Ваяй, ваяй, коли твоей модели к вечеру не обнаружится, я тебе нескольких академиков, так и быть, позировать сосватаю, — залился добродушным смехом Карл, — они точь-в-точь твой осел. Только без музыкального слуха, уж не обессудь.

Впрочем, все уже понимали, что я шучу, так как самые удобные часы для такого занятия, как рисование и лепка, — на рассвете или днем. Меж тем близился вечер^[11]. Карл проснулся среди ночи от ощущения переполнявшего его счастья. Во сне он снова видел ту женщину — женщину, приходящую к нему в самых прекрасных и удивительных снах. Женщину, созданную из ночи и огня. Темноволосую жрицу

опасной ночной богини, которую боготворил маленький Брюлло.

Иногда, когда Карлу было особенно плохо, женщина приходила каждую ночь, укачивая больного мальчика и напевая ему на ухо песни. Карл прижимался щекой к ее теплой груди и засыпал.

Она лечила его, поила горячим сладким вином с травами, ласково массировала поясницу и ноги.

Доктор прописал тепло. Карл сидел на куче разогретого солнцем песка, развлекаясь тем, что закапывал в песок свою руку, а затем раскапывал ее, стараясь не дотронуться до кожи.

На самом деле я хохотала совсем не из-за того, что никогда не позировала. Это в доме-то скульптора, где, что ни день, художник или ваятель? Рисовали меня и прежде, не однажды. И меня, и красавицу нашу и умницу Катеньку. Просто смешно вышло, что Великий, как прозвал его пиит Жуковский, вроде как всех женщин разделил на дур, которым нужно наряжаться, и дур, которым это не обязательно.

В отношении меня он, скорее всего, прав. Но только сдается мне, кого-кого, а Юлию Павловну он нипочем дурой бы не осмелился назвать. Но про то я никогда не узнаю.

Отец сделал деревянные формочки и принес их в песочницу. Но Карлу не нравились формочки и вообще обычные детские игрушки. Что в них интересного? Разноцветные формочки было приятно рассматривать, расставляя их по цветам. Когда удавалось выстроить формочки правильным магическим порядком, в награду мальчику спускалась с самого неба женщина из сна; черные, точно южная ночь, волосы которой развевались по ветру, а легкие одежды, накидки и шарфы делали ее похожей на диковинный цветок. Она обнимала маленького Карла и уносила его на берег моря, где они подолгу бродили по кромке воды, играя с волнами.

Когда приходило время обеда, из Академии возвращался отец, брал сонного Карла из песочницы и нес домой. Однажды старший брат Саша заметил, как при виде его Карл быстро засунул что-то за пазуху. Александр подошел к брату и потребовал показать ему спрятанное.

С неохотой мальчик пошарил за воротом рубашки и извлек оттуда ракушку. В любой другой семье, наверное, задались бы вопросом, откуда не могущий встать на ножки мальчик вдруг взял эдакую диковинку, но в семье Брюлло никого не интересовало, что и откуда. Вместо этого отец водрузил ракушку на стол, после чего вся семья по очереди начала разглядывать ее через увеличительное стекло. Затем Павел Иванович принес из мастерской коробку с красками и вместе с Александром и Федором они занялись выписыванием ракушки.

Глава 6

В тот день Карл остался спать в комнатах, и я попросил, чтобы его не тревожили без дела. Гости в нашем доме — дело вполне обычное. Иногда друзья собираются в столь великом количестве, что класть их абсолютно некуда. Для такого случая давным-давно разработано правило — особ женского пола устраивать дома на кроватях, диванах, топчанах и вообще везде, куда только можно бросить перинку или тюфячок, мужчины же спят в сарае или на сеновале. Зная простоту нашей жизни, свываи и обычаи, никто до сих пор не обижался и не куксился.

И если барон фон Юргенсбург, баронесса и их дети не гнушаются сидеть за столом с рабочими из литейного цеха, с чего же гостям нос воротить? И так во всем.

В летние месяцы, когда в городе жара, пыль да вонь, милое дело — отправиться на природу. Друзья-художники везут на себе ящики с краской, бумагу, холсты, пялки[12] и... а дальше, как любит говорить моя Уленька, начинается легенда... история о том, как кто-то, живя летом пару недель в доме барона Клодта, писал дивное озеро; как кто-то выписывал степь широко-о-о-кую; третьему досталась извилистая река... Что же такое? Ведь не мог дом барона фон Юргенсбург стоять сразу же на озере, в степи, на реке, в густом лесу или пустыне? Ан мог! И те, кто в дом наш вхожи, знают, что несколько лет назад, по совету любимой Уленьки, поставил я домик наш крошечный на колеса надежные, и ездим мы теперь, передвигаемые лошадиной или, чаще, бычьей силой по всей нашей необъятной родине! А скоро и в другие земли, даст Бог, поедем. Вот только бумаги выправим да и поедем, ей-богу!

Со всеми нашими дорогими «квартирантами», копытными нашими гостями, моделями моими, что позируют неустанно и уже запечатлены многие в скульптурах[13].

— Выпускная золотая медаль давала право на поездку за границу с пенсионом. Штука более чем привлекательная, — начал Карл, едва я оторвал его от чаепития и призвал заняться делом. — Отчего же всякий учащийся Академии, да и не учащийся, но художественным делом занимающийся, — покосился в мою сторону: не обидел ли ненароком? Не обидел. Продолжает дальше. — Отчего же все мечтают об этой командировке, ради которой приходится отрываться от всего привычного, от семьи, друзей, и тащиться... — он несколько раз махнул рукой, как бы заранее зарекаясь рассказывать о превратностях судьбы и о тех неприятностях, которые в дороге путешественнику встретиться могут. — По окончании Академии, что может ждать свободного художника? Если за время обучения он стал знаменит, завел необходимые знакомства или добрейшие учителя стремятся ему потрафить в этом деле, стало быть, будет он получать заказы от частных лиц или от обществ, малевать портреты, возможно, совершенно неинтересных ему людей, расписывать церкви, писать образа. А нет... начнет бегать по урокам или пристроится к какому-нибудь художественному ремеслу — по дереву резать, ткани для театра раскрашивать, да мало ли что еще.

Пенсион для того и платят, чтобы ты, о хлебе насущном не заботясь, учился и творил! Свой почерк, свою индивидуальность выказал, чтобы потом уже и...

Одно плохо: в Европе в то время было неспокойно. В Неаполе карбонарии (угольщики) устроили военный бунт. Некто Лувель во Франции зарезал герцога Беррийского, племянника короля Людовика XVIII, когда тот, покинув зал парижской Оперы, собирался уже уехать домой. Герцог едва успел посадить супругу в карету. Поговаривали, что, пронзая герцогскую печенку длинным ножом, Лувель держал жертву за шиворот. Что было сразу же отражено в карикатурном изображении, которое после тиражировалось во множестве.

Во Франции и Италии народ требовал конституцию, шествуя по городам с трехцветными кокардами

карбонарских цветов (красного, черного и синего). Австрия наносила удары по неаполитанской армии, и в это же время над Туринном поднялось и затрепетало в воздухе национальное знамя. Разбуженная князем Александром Ипсиланти Греция выступила против турецкого владычества.

В Испании Рафаэль Риего во главе батальона шел по Андалузии, провозглашая конституцию. Был разбит и с сорока пятью оставшимися от батальона воинами засел в горах, ожидая, когда брошенная им искра разгорится в пламя и когда это пламя охватит всю страну.

Мощные волны революционных взрывов достигли пределов отечества, взбаламутив мыслящую молодежь:

Друзья! нас ждут сыны Эллады!
Кто даст нам крылья? полетим!
Сокройтесь, горы, реки, грады!
Они нас ждут: скорее к ним!
Судьба, услышь мои молитвы,
Пошли, пошли и мне минуту первой битвы!

Вильгельм Кюхельбекер приветствовал греческих повстанцев. Через три года, в июле 1823-го, Байрон оставит Италию, чтобы присоединиться к греческим повстанцам, ведущим войну против Османской империи за свою независимость.

В это время нашему выпуску угроздило закончить свое обучение, я посватался было к дочке моего учителя Иванова, получил отказ, а стало быть, рвался поскорее убраться из Петербурга, дабы снискать немедленной славы.

Не желая нарушать закона, но одновременно с тем понимая, что, отпустив такого человека, как я, за границу, он невольно посылает меня в мир, в котором я либо сгорю заживо, оказавшись на пути несущихся коней свободы, либо сам примкну к карбонариям, Алексей Николаевич Оленин оказался лицом к лицу с непростой задачей.

Карл снова покосился на меня, лукаво подмигнув. Дело в том, что ходили упорные слухи, будто бы, ваяя коней для колесницы Славы [\[14\]](#), я вложил в это произведение столько вольнодумия, сколько его не было ни в стихах Кюхельбекера, ни нашего общего друга, покойного ныне Пушкина. Впрочем, животные есть животные, и их не спросишь, на чьей они стороне и какого мнения придерживаются об устройстве общества, желают ли конституции или ратуют за старый порядок.

— Оленин боялся, что меня либо убьют повстанцы, либо я, что не лучше, и сам заражусь бунтарскими идеями, — продолжил Карл. — Поэтому он вызвал меня в свой кабинет, где в свойственной ему сдержанной манере объявил о невозможности отправить ни меня, ни Александра за границу прямо сейчас, предложив вместо командировки остаться еще на три года в Академии для дальнейшего усовершенствования. Практика более чем обычная.

Но и это еще не все. Было принято решение, что всех медалистов этого года Академия отдает под надзор исполнительного академического инспектора. Это было ужасно!

Возможно, следовало смириться, как смирились другие, как смирились Александр и уже давно ожидавшийся своей очереди Федор, и согласиться пойти под надзор, но попросить, чтобы этот самый надзор осуществлял один из любимых учителей: Иванов, Егоров или тот же Угрюмов, писавший на исторические сюжеты. Со всеми профессорами я был в приятных или даже дружеских отношениях, и их надзор вряд ли перерос бы для меня в диктат и тиранию. Но... я уже сказал свое решительное «нет». Отступить было поздно.

С другой стороны, теперь я должен был слушать бесконечные попреки отца и выговоры матушки, для которых мой отказ Ленину был мальчишеской глупостью и необоснованным бунтом. На счастье, брат Александр как раз в ту пору пожелал отделиться от семьи. Давно, еще в Академии, Саша склонялся к архитектуре и теперь, живя под надзором профессора Михайлова, создал проекты конюшен, фонтана, павильона у воды, а также был определен в комиссию по перестройке Исаакиевского собора с чином художника четырнадцатого класса и квартирой!

Вот эта-то квартира и манила меня больше всего, хотя вру, не только это. Еще возможность попробовать жить без матушки и батюшки, поглядеть на строительство, подышать свежей краской, полазить по строительным лесам... да мало ли что еще.

Собрав свой скарб, который по большей части составляли ящики с красками, палитры, свернутые в рулоны чистые холсты, альбомы, карандаши, всевозможные чертежные приспособления и все, что было пригодно для занятий живописью, мы переехали из дома на Средней линии Васильевского острова к подножию перестраиваемого французом Монферраном собора.

Я не оговорился, сказав, что жить нам предстояло у подножия Исаакия. Дело в том, что для удобства прямо на площади были возведены временные деревянные мастерские, в которых жили и работали все, кто трудился над этим проектом. Александру были выделены две комнаты, что нас вполне устраивало. Кроме нас, во временных мастерских, скроенных на манер длинных казарм, жили рабочие, тут же были устроены склады и сараи, художественные мастерские и различные конторы.

Изначально рабочих планировали заселять из расчета по одному погонному аршину на человека, но в результате там, где было запланировано триста коек, каким-то чудом было всунуто целых пятьсот.

Мастерская, где должен был служить Александр, располагалась буквально у нас за стенкой, так что лишний раз задумаешься, когда решишься с Яшкой Хмельницким домой притащиться или привести веселую девку...

Так бы я и жил у Александра, возможно, помогал бы ему, чем мог, писал бы или сидел в кабаках да кухмейстерских с друзьями, но буквально через год после моего выпуска было организовано «Общество поощрения художников»^[15], возглавил которое статс-секретарь Кикин, которое и постановило отправлять молодых людей за границу на деньги меценатов. Первым пенсионером Общества был назначен я.

Я поднял голову от листа, пытаюсь понять, отчего Карл вдруг начал говорить со мной на вы, и только теперь приметил смиренно сидящих у дверей Уленьку и Машеньку. Обе с замиранием сердца слушали Брюллова, боясь лишний раз вздохнуть.

Поняв, что они замечены, Машенька бросилась ко мне в объятия, а Уленька сообщила, что чай уже готов и пироги поспели. Так что мы тут же решили прерваться, дабы вкусить дивные Уленькины творения — пироги круглые с капустой и яйцом в виде изящных корзиночек с грибами и луком, и, наконец, венец творения — огромные оладьи-рыбники! Пряники — разной формы свежие, душистые. Этого добра в любой день навалом, в мастерской на особом столике под крышкой и платком от пыли, чтобы лишний раз никого не беспокоить, когда охота подкрепиться настанет. Недалеко от пирогов — вазочка с красной икрой и масленка с горкой желтоватого масла. Свиной копченый окорок заранее нарезан ломтями в ладонь шириной.

Чай — только китайский, к нему топлёные сливки нежно желто-розового оттенка, так и хочется зачерпнуть чайной ложкой и отправить в рот. Вкусно!..

Дети перешептываются, толкают друг дружку локтями, самостоятельно угощаются ароматными пирогами, прихлебывают чай со сливками или сливки с несколькими каплями чая. Никто ни за кем не следит, никто никого не обслуживает. Волчку Кайзеру — всеобщему любимцу — то и дело достаются

щедрый кусок со стола. Запретишь — дети специально начнут ронять пироги на пол, желая усладить серого.

Впрочем, какой там запретить, когда он умильной, лоснящейся от чрезмерного чревоугодия мордой, тычется в коленки, просительно заглядывая в глаза.

А тем временем, на холодке в подполе, уже несколько часов томится черное портерное пиво по двадцать копеек серебром бутылка. Я оглядываю стол — ну и ловко же подчищает мое семейство всякого рода вкусности... буквально минуту назад думал захватить с собой пару грибных корзиночек и рыбник для икорного бутерброда — ан, нет. Ничего, Карл уже сыт и не откажется вкусить похожую на алые драгоценные камушки красную икорку на теплой булочке с золотой хрустящей корочкой, а не на горячем пироге, как это он предпочитает. Простит великодушно, когда увидит мою последнюю работу. А не простит, так надобно распорядиться, чтобы нянька достала буженины.

Ну, все, перекус закончился, хлопаю себе по ноге, и волк поспешно заканчивает трапезу и встает рядом. Чудесный зверь! Красивый и невероятно добрый. Вот с кем детям и в лесу сам черт не страшен. Волк у нас в семье с щенячьего возраста — деревенские дети притащили да за несколько печеных яблок и продали. Поначалу думал нарисовать его, да и отдать в цирк, а потом прикипел душой, полюбил.

Мы с Карлом возвращаемся в кабинет, я киваю прислуге Дарье, чтобы принесла нам пиво. Английское пиво — незаменимая вещь для душевных бесед.

Пиво пенится в стаканах, темно-коричневое, почти черное. Карл пьет с чувством, делая выразительные паузы, точно актер на сцене. Когда-то его сравнивали с золотокудым Аполлоном, но сегодня он всеильный, роскошный Бахус. Красавец мужчина, титан, великий Брюллов.

— Август Августович издал подборку своих рисунков будущего Исаакя и пустил их в свободную продажу. Рисунки были хороши и их покупали. С шумом и треском рухнула старая, не вписывающаяся в новый ансамбль колокольня, французик раздавал подряды на разного рода работы. Говорили, что только на этом деле он получил свои первые тысячи, а может быть, и миллионы. Да, именно что миллионы, — поймал он мой недоверчивый взгляд. Во всяком случае, так следует из донесения подполковника Петра Борушникевича, возглавлявшего комиссию по выявлению злоупотреблений на строительстве нового собора. А по его честным солдатским расчетам, из пяти направленных на строительство из государственной казны миллионов два растаяли бесследно.

Впрочем, кроме казнокрада Монферрана там такие люди были задействованы... да одного только его сиятельства графа Милорадовича за глаза хватало бы, чтобы все средства по гривеннику растащить, а то, что уже закуплено, продать. Честный подполковник, сделавшись кляузником и вруном, вдруг исчез неведомо куда. Словом, был человек и нет человека.

Расширяли и укрепляли фундамент, рыли котлованы, вбивались сваи, разбирали старые стены и на их месте возводили новые. Зимой работали с пяти утра, летом — с четырех утра до четырех дня.

Но тут другой француз, Антуан Модюи, сочинил ябеду на имя президента Академии художеств о том, что-де проект Монферрана содержит роковые ошибки, из-за которых здание, если каким-то чудом и будет построено, то вскорости рухнет.

Работы остановили, прислали новую комиссию. Тут же нашлись доброхоты, утверждавшие, что клятый Монферран и не собирался строить собор на века, а только получить деньги и славу и затем... «пятьдесят, мол, лет простоит, а дальше»... а кому какое дело, что будет дальше, главное, что его — Монферрана — всенепременнейше на свете не будет.

Комиссия признала проект неправильным, после чего за его доработку взялась Академия художеств,

и моему брату Александру стало нечем заняться.

И вот работы по переделке Исаакиевского собора высочайше приостановлены 15 февраля 1822 года, а уже весной я приглашен на собрание Общества поощрения художников, где меня уведомляют в том, что готовы отправить меня за границу за свой счет, дабы я мог там усовершенствоваться в искусстве.

На что я, не задумываясь, согласился при том условии, что вместе со мной на тех же правах и с точно таким же пенсионом поедет мой брат Александр. Полагаю, милостивые господа не ожидали подобной дерзости со стороны еще столь мало проявившего себя молодого человека, но, поразмыслив, согласились, что Александр, без сомнения, будет полезен обществу и как талантливый художник и архитектор, и что немаловажно — как та нянька, которая сумеет ненавязчиво приглядеть за эдаким чудом-юдом, как я.

Берлин, Дрезден, Мюнхен и далее Италия... Изначально в списке значился Париж, но там было небезопасно. Небезопасно не столько для жизни, сколько для благонадежности юношей. Дословно это звучало так: «не подвергать нравственность свою и дарования: одну — всем соблазнам порока, а другие — влиянию незрелых образцов новейшего вкуса». Особливо следовало держаться подальше от «центра революционной заразы» — Франции. Шутка ли сказать, каких идей могут набраться молодые люди, кем явятся они в отечество — новоиспеченными карбонариями или верноподданными?

Глава 7

Когда Карл в очередной раз устраивает передых, я отправляю моего человека к его слуге — хмурому малороссу Лукьяну, дабы тот не гадал, куда запропал барин, и наутро прислал ему кое-какие вещи на первое время.

Живем мы по соседству, так что, возвращаясь домой, я смотрю на окна брюлловской мастерской и заранее знаю, там Карл или нет. Красные шторы на окнах бывшей квартиры Мартосов. Да, да, той самой, в которой некогда проживали девицы Катенька Мартос, в которую я был безнадежно влюблен, и драгоценнейшая моя Уленька. С тех пор маститый скульптор, ректор Академии художеств, академик, автор памятника Минину и Пожарскому в Москве Иван Петрович Мартос и его дражайшая супруга Авдотья Афанасьевна оставили сей грешный мир, а их дочка Катерина Глинка сменила фамилию на Шнегас и переехала к мужу. Академия художеств выделила сию квартиру вернувшемуся из Италии Карлу Павловичу Брюллову, который тут же обставил ее красной мягкой мебелью и повесил на огромные окна красные же шторы. Выбор цвета не случаен — это и любимый цвет Карла, цвет огня и радости, силы и вдохновения, и одновременно с тем любимый цвет нашей знати.

Красный свет в ночи, точно театральный занавес, привлекал и будет еще привлекать множество одиноких путников, маня таинственным светом и увлекая неизвестностью.

Год прошел, как схоронили Катерину Шнегас (Катеньку Мартос). Мы с Уленькой были на похоронах. Помню, как смотрел в белое жесткое лицо покойницы и думал, что совершенно ничего не чувствую к ней. Впрочем, мы не видались несколько лет, и ни она, ни я не томились разлукой.

С того дня как Карл выгнал из дома жену и сбежал сам, я невольно заметил странную метаморфозу, происходящую в жилищах и мастерских наших общих знакомых. Совсем недавно, куда бы я ни зашел, на самом видном месте возвышался бюст Брюллова работы Витали, а теперь они вдруг все куда-то подевались. Точно провалились в одночасье в наше питерское болото. Мистика.

Торговцы тоже поубирали с витрин еще вчера такие модные бюсты золоченные, посеребренные или натурального вида, предусмотрительно отправив их на склады. А ведь еще не было суда, приговора... да, наши люди умеют быть поразительно неблагодарными.

В тот день мы много говорили о путешествиях, я уже давно собирался посетить Европу и поэтому слушал с открытым ртом. Оказывается, в Праге штрафы на границе поднялись до заоблачных высот аж до ста червонцев, что равняется одной тысяче наших рублей. Огромная сумма. При этом таможенные правила постоянно меняются, и совершенно невозможно предугадать, что в следующий раз будет запрещено для ввоза или вывоза.

Говорили о Германии, о странных обычаях немецких таможенных чиновников перетряхивать багаж в поисках запрещенного для ввоза табака. Рассказывая о Дрезденской галерее, Карл высказал мнение о находящейся там статуе Микеланджело, которое я уже имел удовольствие читать в черновике его письма к Кикину. Этот черновик со свойственной ему бережливостью хранил среди своих бумаг Александр Павлович, с которым я был шапочно знаком, и поскольку мнение нашего Великого с тех юношеских лет относительно данного предмета нисколько не изменилось, привожу его в том виде, в котором его читал: «Полагаю, хватаясь за сердце, добрейший Петр Андреевич, «эта статуя есть или не его, или работа первых недель его занятий, или последних часов его жизни, когда исчезли жизнь и рассудок».

При этом я заступался за великого скульптора, а Карл ругал в хвост и в гриву. Заигравшись, мы едва не поссорились, но в последний момент опомнились и, бросившись друг к другу в объятия, расцеловались,

как и положено старым друзьям. После чего я попросил нянюку проветрить кабинет, и вместе мы, не сговариваясь, направились в мастерскую, где я давно уже приготовил для него рисунки конских голов, крутых изгибов шей, копыт и бабок, а также слепки конских голов и ног в натуральную величину, которые он собирался использовать в своей новой работе.

Взвесив на руке мою любимую лопатку из пальмового дерева, которую я использую для обработки глины, и оставшись ею доволен, Брюллов обошел мастерскую, выискивая интересное для себя. А я облачился в старый, запорошенный глиной халат, в котором обычно работал, пристроил на голову ермолку и хотел было рискнуть на необычное для себя дело и изваять нашего Великого. Но куда там... Карл непросто двигался по мастерской, он перемещался с места на место с проворством ярмарочного плясуна, то взбегая по лесенке на второй этаж, то принимаясь с интересом разглядывать рисунки... особый интерес у него вызвал мой недавний набросок льва, катящего шар, который я мыслил рано или поздно сосватать одному из своих заказчиков. Лев — символ смелости, мужества, отваги и воинской доблести — традиционно являлся желанным украшением надгробий военных чинов, а также мог быть поставлен при входе в какой-нибудь особняк — в наше время явление практически повсеместное. И хоть идея создать скорбящего царя зверей казалась мне мало занимательной, мой лев, здоровый и сильный, меланхолично придерживал правой передней лапой шар. Завоеванную им землю.

Выслушав мое объяснение, Карл схватил карандаш, мгновение — и лев чуть опустил прекрасную гордую голову с роскошной гривой, так что стало казаться, будто он высматривает что-то, находящееся внизу, готовый прыгнуть или ударить могучей лапой.

— Ты же поставишь его на высокий постамент, — объяснял свои действия Карл, — так пусть смотрит не в небо, а в глаза проходящих мимо людей. Вот так. А небо... таким манером зрители углядят одну только его шею.

Лев с наклоненной головой стал напоминать зверя, смотрящего на зрителя с какой-то возвышенности, например с горы, благодаря чему шар, которого в первом варианте лев слегка касался, теперь стал для него надежной опорой. Так что можно было сказать, что лев опирается на шар, подобно тому, как верный сын отечества на свое государство![\[16\]](#)

Ошеломленный гением Карла, я бросился было обниматься с ним, но он тут же занялся чем-то еще, не предав значения произошедшему[\[17\]](#).

Глава 8

«Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публице, приписав причину развода совсем другому обстоятельству — мнимой и никогда небывалой ссоре моей с отцом за бутылкой шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного пьянству...»

К. Брюллов (из прошения на развод)

На этот раз нам так и не удалось поработать над бумагами для Бенкендорфа, так как вскоре после правки моего льва зазвенел дверной колокольчик, и уже через несколько минут Великий укатил неведомо куда в компании своего однокашника, большого знатока русских древностей Феди Солнцева, пообещав предупредить запиской, если не явится ночевать, и сообщив, что отказывается ужинать, так как личный врач давно уже советовал ему похудеть.

Как выяснилось буквально на следующий день, демонстративно отказавшись от нашей стряпни, Карл все-таки не удержался и прокатился с Солнцевым сперва в трактир «Золотой якорь»^[18], где традиционно собирались академисты. Нагрузившись там вином, окончил день в обеденном заведении мадам Юргенс на Третьей линии Васильевского острова, где встретил старых приятелей Пьяненко и Клюкольника^[19]. По заверениям местного слуги, по просьбе самой мадам проводившего загулявшего художника до нашей парадной, отобедавшего там, как минимум, за двоих. Что не помешало ему захмелеть настолько, что его пришлось буквально волочить из экипажа.

На следующее утро, согласно моим предписаниям, заявился человек Брюллова, Лукьян, с сундучком одежды для Карла Павловича и винтовкой, которую этот разодетый в потертую шинелишку и картуз антик непременно желал лично доставить господину в спальню, с тем, чтобы тот узрел ее, едва откроет глаза.

Заметив оружие, нянька всплеснула руками, немедленно побежав докладывать барыне. Для чего Карлу Павловичу понадобилось ружье? Ясное дело, для того чтобы пристрелить свою неверную супругицу. И что его после этого ждет? — ничего хорошего. Государь и так прощал его уже многократно, а все не впрок.

Дав мне подержать винтовку, Лукьян устремился в кухню, откуда вскоре возвратился с подносом нарезанной крупными ломтями буженины и солеными огурчиками.

— Думаю, пора. — Выговаривает он и, ловко перехватив у меня ружье, поднимается на антресоли, где, по моим предположениям, сном праведника дрыхнет Великий. Ничего не понимая, я устремляюсь за ним. Карл уже проснулся и нежится поверх одеяла в одном дезабилье. Заметив нас, по-кошачьи улыбается, мановением пальца подзывает Лукьяна, тот ставит на кровать поднос, с довольной ухмылкой протягивает винтовку. Карл несколько секунд оглядывает оружие, потом каким-то непостижимо ловким движением, больше присущим ярмарочному плясуну или цирковому акробату, вскакивает на ноги и, издав боевой клич, стреляет поверх наших голов в дверь, в которую мы только что вошли. Раз, другой! Я невольно пригибаюсь, Лукьян вытягивается перед своим господином, точно рядовой перед генералом, указательные пальцы привычным движением всунуты в уши. Очень довольный собой, Карл подпрыгивает на пружинистой кровати, буженина и огурцы рассыпаются по одеялу, вокруг него клубится голубоватое облачко. Уже успокоенный и умиротворенный, Брюллов опускается на подушки, возвращая Лукьяну винтовку. Тот принимает оружие одной рукой, другой возвращает на поднос завтрак.

Весьма встревоженные, мои домочадцы уже бегут к нам. Не желая, чтобы женщины видели Карла в

дезабилье, я выхожу навстречу им, в последний момент, замечая, что Карл стрелял не просто в дверь, а предварительно, возможно, еще вчера, намалевав на ней мишень.

Откушав сначала в своей комнате, а затем вместе со всеми в столовой, поиграв с детьми в лото, поправив мне некоторые рисунки, которые вполне могли бы обойтись и без его августейшего внимания. Впрочем, от этого линии получили некую остроту и пугающую правильность. Затем Великий затребовал себе новые кисти из магазина Дациаро, велел спешно вызвать к нему Федьку Солнцева, и, к разочарованию детей, завалился спать.

* * *

Из воспоминаний Петра Петровича Соколова, племянника К.П. Брюллова.

Все вокруг говорят: Карл Брюллов — гений! Гений! А я вот что скажу: в страшном сне не привидится жить рядом с гением, или, не дай господи, состоять в его близких родственниках. Потому что, может, для других он — веселый малый, повеса, хват, бурш-красавец, а для нас — волею судеб самых близких — развратник, бражник, хам, лиходей и скряга, каких мало.

Доказать? Пожалуйста: великий стихотворец Пушкин сколько раз просил его написать портрет Натальи Николаевны? Даже на Каменный остров [\[20\]](#) возил. Мой дядюшка Александр ее писал — дивно хороша. А Карл что же?.. Услышав, что у поэта жена — эдакий розанчик, с ним на дачу поехать изволил, глянул наметанным глазом и заартачился писать, ссылаясь на то, будто бы она косая!

Именно так хамски и выразился! Не верите мне, спросите дружка его Тараса Григорьевича Шевченко, он сам об этом неоднократно упоминал и будто бы даже опубликовал где-то, шельма.

Наталья Николаевна на портрете дяди Александра дивно хороша. Как сказал сам поэт, «чистейшей прелести чистейший образец». Сам я лично ее лицезреть не имел чести, но портрет видел много раз. И утверждаю, что дядя Карл не прав. Не косая. А ежели какой изъян у жены самого Александра Сергеевича и имелся, то, как художник, он мог его и скрыть. А не обижать отказом. Тот же Пушкин буквально за неделю до смерти был у дядюшки Карла вместе с их общим другом — поэтом Жуковским. Рассматривали рисунки, смеялись, вино пили. Александр Сергеевич в конце вечера так расчувствовался, что прямо умолять начал подарить ему что-нибудь на память, на колени встал!

Карл же не презентовал ему ничегошеньки. Снега у него зимой не допросишься, если не захочет. Одним портреты задаром маслом или акварелью малюет, а Пушкину! А тот возьми и погибни на дуэли через неделю после того. С маменькой, как узнала о скупердьяйстве родного братца, дурно сделалось. Отца пришлось спешно вызывать со службы.

Матушка моя, Юлия Павловна Соколова, в девичестве Брюлло, Карлу Павловичу и Александру Павловичу родной сестрой приходится. Уж она все о них знает и врать не станет. Мое же имя — Петр Петрович Соколов. Зная проказы и лиходейства своего родного дядюшки Карла, я всякий раз немею, когда кто-то вдруг спрашивает, не родственник ли я Великому Карлу. А что в нем великого-то?

Прелюбодей, вдоволь поночевавший на чужих подушках, будучи уже в весьма солидных летах, вознамерился жениться и выбрал для этого юное, неопытное создание Эмилию Тимм, которую дома все называли Лотти.

Помню, как еще до свадьбы привозил он ее к нам в дом как бы на смотрины, так что по такому

случаю, мы всей семьей дома были, прочие дела и интересы оставив.

«Знакомься, Юлия! Посмотри, какую прелесть я засватал, — начал он хвастаться прямо с порога, почти бесцеремонно подталкивая свою сконфуженную невесту к матушке, — ну ведь, правда, идеальчик? — и громким шепотом прибавил, ткнув меня локтем, как бывало, когда он был особенно доволен. — Этот идеальчик надо скорее под одеяльчик!»

Не знаю, как я тогда не провалился от стыда за этого пошляка, как выдержала Эмилия, но... очень скоро она бежала из дома дядюшки Карла, не выдержав ежедневных пьяных гульбищ собутыльников своего «великого» мужа, господ Нестора Кукольника по прозвищу «Клюкольник» и Якова Яненко по прозвищу «Пьяненко».

* * *

Федор Солнцев. Несмотря на его заслуги перед отчизной и любовь государя, почему-то до сих пор не получается величать его по имени-отчеству Федором Григорьевичем, и это отнюдь не из-за его низкого происхождения.

Родился Федор Григорьевич Солнцев в семье помещичьих крестьян графа Мусина-Пушкина, что в селе Верхне-Никульском Мологского уезда Ярославской губернии. Не знаю доподлинно, сами ли выкупилась Солнцевы, были ли благородно отпущены просвещенным барином, или как у них там сложилось, но отец будущего художника Григорий Кондратьевич уехал в Петербург, где служил кассиром при императорских театрах, забрав с собой сначала старшего сына, а через несколько лет прихватив и младшего Феденьку. К тому времени мальчику исполнилось четырнадцать годков; благодаря стараниям матери, Елизаветы Фроловны, он был кое-как обучен грамоте, но проявлял нерадение в учебе, предпочитая срисовывать церковную утварь или приобретенные за копейки лубочные листки на ярмарке.

Отец забрал его в Петербург, где при первой же оказии мальчик был представлен инспектору академических классов, известному художнику Кириллу Ивановичу Головачевскому, после экзамена, у которого Федор был спешно зачислен в список своекоштных воспитанников. Полгода понадобилось ему на освоение программы первого рисовального класса, после которого он с успехом перешел в натурный класс, одновременно с тем изучая арифметику, французский и немецкий языки, о которых в прежней своей жизни и не слыхивал. Достигнув третьего возраста, решил специализироваться в исторической и портретной живописи, где преподавали профессора Степан Семёнович Щукин, Алексей Егорович Егоров и Александр Григорьевич Варнек.

Прошло немного времени, на Солнцева обратил внимание служивший в то время директором Императорской публичной библиотеки Алексей Николаевич Оленин, благодаря которому Солнцев получил возможность изучать редкие тексты и влюбиться в археологию. Он же, Оленин, давал Солнцеву заказы, без которых юному художнику пришлось бы не сладко, и которые опять же подвигли его изучать древности. Через пять лет после окончания Федором Солнцевым Академии художеств Оленин пригласил его к работе над книгой «Рязанские древности».

Именно Оленина Солнцев по сей день величает не иначе, как «духовный отец», и он прав^[21].

Неоднократно Солнцев ездил в специальные экспедиции, собирая по крупицам то небольшое, что сохранилось еще в крестьянском быту, без чего не может работать ни один художник или писатель, взявшиеся за исторический сюжет. Помнится, не так давно я был в одной такой экспедиции и сам Карл был в компании со всезнающим в таких делах Солнцевым. Надо будет при случае расспросить Феденьку, что как было. Жаль только, что сегодня не до этого ни ему, ни мне: Карл уснул богатырским сном, а Леночка с Уленькой, как на грех, засиделись за дамскими разговорами, словно предчувствовали, что Федор заявится.

А же хожу вокруг да около, хотел бы отозвать Солнцева в кабинет, напоить его пивом да нехорошо как-то. Все-таки давно он кухню свою милую не видел, почитай, уже года три, как в последний раз бывал у них, так что теперь они долго еще будут сидеть в гостиной, распивая чай и беседуя о всякой всячине.

Ладно, в другой раз... в другой раз...

* * *

Желая немного отвлечься от кошмарной истории с изменницей, Карл старался больше бывать со своими учениками, в том числе и проводя с ними время вне мастерской. Среди прочих желающих поддержать в это тяжелое время Карла Павловича был его ученик Григорий Михайлов, имевший, как мне казалось, мало счастья и еще меньше усердия, необходимых для занятий живописью. Кроме того, он частенько водил компании с Бахусом и был отъявленным сквернословом. Просто поздороваться без своих похабных присказок не умел. Тем не менее, Карл вдруг зачастил к нему.

Злые языки утверждали, что причиной тому был отнюдь не сам Григорий Карпович, а его юная сестрица, которую Брюллов счел весьма очаровательной особой.

Полагая, что это знакомство немного развлечет Брюллова и он перестанет справлять бесконечные именины почитаемого всеми господина Штофа, я был даже рад, думая о том, что либо он запечатлеет девушку на холсте, либо влюбится в нее и позабудет обиды, нанесенные ему Эмилией Тимм.

Глава 9

В один из первых дней пребывания у меня Карла, возвращаясь от заказчика, с которым в то время я вел переговоры относительно моего участия в оформлении его дачи, и проходя по Невскому мимо отстроенной, но не законченной и не освященной церкви Святых Петра и Павла, неожиданно для себя я чуть ли не столкнулся с ее архитектором — братом Карла — любезнейшим Александром Павловичем. Мы тотчас вежливо раскланялись, после чего он зазвал меня глянуть на здание изнутри, от чего я не мог отказаться, так как давно знал, что «Распятие», над которым трудится в мастерской Карл, должно занять место в ее алтарной части. Картину я много раз видел на разных стадиях работы, и теперь судьба предоставляла мне возможность попытаться перенести ее мысленным взором в означенную церковь.

Прежде на месте этой изящной готической церкви стояла крохотная «Кирка на перспективе». Но она совершенно обветшала с 1730 года. Да и не вписывалась своим видом в главную магистраль города. Несколько лет назад [\[22\]](#) лютеранская община Петербурга объявила конкурс на лучший проект новой церкви, в котором кроме Александра Павловича приняли участие наши общие знакомые: Жако, Паскаль, Цолликофер и Крих.

Я имел возможность подробнейшим образом ознакомиться с предъявленными на рассмотрение проектами в чертежах и согласился с решением признать лучшим идею Брюллова — расположить церковь как бы в глубине между двумя жилыми домами, выдвинутыми на линию Невского проспекта. Таким образом, перед церковью создалось обширное пространство, на котором могло разместиться большое количество народа, скажем, выходящего после мессы на Невский. Кроме того, собор, расположенный среди монотонной линии жилых домов, выгодно выделялся на их фоне, оживляя городской пейзаж своей величественной архитектурой. Весь облик церкви Петра и Павла Александр Павлович задумал в формах, близких романской архитектуре, а Александр Брюллоу был в этом деле мастер — интерьер церковного зала был выдержан в дорогом его сердцу стиле классицизма. С двух высоких окон, что у самого входа, на нас смотрели витражные изображения евангелистов (копии картин Дюрера). В солнечный день они сияли яркими красками, открывая перед паствой дом Божий.

Я слышал, что живописный и скульптурный декор здания по эскизам Брюллова был поручен живописцу Дроллингеру и скульпторам Жако, Трискорни и Герману, но в тот день мне не удалось увидеть ни одного из этих господ.

Осматривая церковь, я непрерывно думал о том, как бы деликатнее представить Александру Павловичу семейную трагедию, приключившуюся с его младшим братом, и по возможности уговорить его помочь мне изложить на бумаге историю семьи Брюлло, указав без утайки и ложной скромности заслуги представителей этой блестящей фамилии, дабы составить некий групповой портрет.

Не скрою, меня удручал образ деспотичного отца, заставлявшего маленьких детей рисовать за кусок хлеба, и я надеялся с помощью Александра Брюллова придать его портрету хотя бы немного теплых красок.

На мое счастье, Александр Павлович был наслышан о неудачной женитьбе брата и сразу же вызвался не только ответить на любые интересующие меня вопросы, но и предоставить письма, дневники и хранящиеся у него документы. Все, что могло бы помочь Карлу.

Мы сразу же отправились к нему домой, на Васильевский остров, недалеко от родительского гнезда, где Александр Павлович первым делом представил меня супруге, Александре Александровне, в девичестве баронессе Раль, которую он нежно называл Сашенька.

Кстати, отвлекусь от Александра Павловича, дабы рассказать о его дивной коляске, на которой мы невероятно быстро и с большим удобством добрались до его дома. Потому как есть еще господа в Петербурге, считающие приобретение достойного, удобного и комфортабельного экипажа малозначимым делом! Они могут годами ездить в каретах, доставшихся им от прабабушек, бесконечно латать протертые от времени сиденья, переставлять колеса, укреплять оси. А то и вовсе могут разъезжать по главной магистрали города на годных разве что на слом, опасных для жизни их же владельцев развалюхах. В то время как коляска не просто характеризует владельца, показывая его вкус, размах и следование моды, коляска — быстрый, удобный и вполне надежный вид транспорта, без которого в наше сумасшедшее время — совсем никуда. Например, Александр Павлович, работая практически одновременно над двумя объектами — Пулковской обсерватории и церковью Петра и Павла, пользовался изящной коляской последней моды, темной, лакированной, очень легкой и достаточно миниатюрной. В последнее время я тоже думал о приобретении собственной рессорной брички для поездки в имения заказчиков, оттого знаю, что вызвавшая мою жгучую зависть коляска Александра Павловича была новая, буквально только что вышла. Богатые молодые люди приобретали такие экипажи, желая задать эффекту. Брюллов же правильно рассчитал, что если ее вид будет говорить о желании владельца идти нога в ногу с прогрессом, то небольшой размер и большие колеса дадут возможность протиснуться даже на самых узких улицах или объехать тяжелый, неповоротливый дилижанс. Кроме того, каретники, с которыми я немало обсуждал различные модели экипажей, единогласно подтверждали, что легкая коляска практически неощутима для лошади, что дает возможность последней быстрее двигаться и меньше уставать.

К сожалению, Иулиания Ивановна не одобрила мой выбор, сказав, что и рессорная бричка, и другие маленькие коляски решительно не подходят для нашей большой семьи. Потом, это же несправедливо, если я буду летать на новой бричке, а они добираться в наемных каретах. Пришлось уступить, и теперь мы копим деньги на... а почему я знаю, что новенького предложат нашему вниманию господа каретники на тот момент, когда у нас скопится нужная сумма?..

Впрочем, я начал говорить о супруге Александра Павловича. Александра Александровна произвела на меня самое благоприятное впечатление, и если бы не печальное выражение ее лица, заплаканные выразительные карие глаза и траурное платье, которое она уже три года носила по своему первенцу Володечке, умершему в возрасте трех лет, приблизительно через год после смерти Вани Брюлло [\[23\]](#), наверное, я дерзнул бы пригласить их к нам в гости.

— Вы желаете услышать о нашей семье? — Александр Павлович усадил меня в своем кабинете, распорядившись, чтобы туда подали чай. «Китайский чай в чашках без ручек», — приглушенным голосом уточнил он старухе-служанке, бесшумно вышедшей из одной из дальних комнат, и теперь тихо, точно домашнее привидение, ожидающей приказа. — Думаю, холодный ужин? — он вопросительно посмотрел на меня, но когда я запротестовал, только устало махнул рукой, предложив мне располагаться поудобнее в креслах.

Насколько я знаю, Александр Павлович копил деньги на новый дом, в котором желал сделать все по своему вкусу. Даже место под строительство было, выбрано на Кадетской линии — специально или нет, но все три брата прилепились на Васильевском острове. Рядышком, хотя и не вместе, каждый своим домом, но все одно поблизости: Карл — при Академии, Федор как старший — в отцовском доме, и вот теперь Александр... Должно быть, поэтому он не стремился сделать ремонт, придав своему жилищу более современный вид, заставив его, образно говоря, не отставать от времени. Одни только полосатые, лет пять как вышедшие из моды обои в кабинете чего стоят! Особенно в сочетании с крошечными неудобными зеркалами в широких потемневших рамах, бывших в большом почете во времена далекого детства их нынешнего владельца.

Пока я разглядывал убранство комнаты, все та же служанка принесла поднос с китайским чаем и китайскими же чашечками с изображениями толстощеких девочек с зонтиками и веерами.

— Ничто на свете не восстанавливает душевные и физические силы так хорошо, как настоящий китайский чай, — Александр с осторожностью налил сначала в мою, а затем и в свою чашечку ровно три четверти горячего напитка. С осторожностью, двумя пальцами поднял свою за края, отпив глоток. Выйдя из комнаты, когда Александр занялся чаем, старуха все так же бесшумно появилась в дверях снова, принеся нарезанную тонкими ломтиками ветчину и тарелочку с уложенными на ней веером ломтиками сыра.

Чашка была неудобной, и я сразу же обжегся, однако не показал вида, похвалив качество чая и предположив, что сей напиток, должно быть, был доставлен либо по специальному заказу из-за границы, либо продавался в какой-то особой лавке, где купцы не подменили его чем-то второсортным и не подмешали в него такого, что они обычно подмешивают. Некоторое время назад я поспорил с Ваней Солнцевым и большим приятелем Александра Павловича, Иоганном Дроллингером, что привезу к столу четыре отличнейших бутылки мадеры. Спор затеяли на пустячную сумму, но дело пошло на принцип, и тут я не собирался уступать никому. При этом я видел, как озорно переглядывались и слышал, как шушукались у меня за спиной спорщики, приписав их ухмылки сложившемуся невесть когда мнению, будто в нашем отечестве подделывают решительно любое вино. Поэтому я, недолго раздумывая, велел извозчику везти меня в одно известное в Петербурге место, где хоть и втридорога, но можно было приобрести гарантированно настоящие, неподдельные вина.

Каково же было мое удивление, когда напротив моих бутылок были выставлены четыре других, только что привезенных с острова Мадейра, вид которых, а главное, вкус вина не оставляли и тени сомнения в том, что мне всучили подделку.

Покраснев, как рак, я выдал проигранную сумму, но тут же утешился тем, что, как объяснил недавно вернувшийся с Мадейры, представленный мне Паоло Трисконти, в России просто нет настоящей мальвазии с Мадейры. То же, что нам с успехом выдают за мадеру, на самом деле является искусно приготовленным компотом из простых сладких вин. В Тверской губернии, в городе Кашине, этим паскудным делом занимается вполне внешне уважаемый завод господ Зызыкиных^[24]. О коих я, впрочем, получил тут же подробнейшую справку.

Что же до подлинной мадеры, то, как я понял из довольно занятного рассказа, для ее успешного изготовления требуется пять-шесть лет выдержки, после чего бочки с вином погружаются на корабль, отправляются в долгое и увлекательное путешествие: Индия, остров Ява... ученые давно уже заметили, что многие сорта вин приобретают особенный вкус, предварительно попутешествовав по свету. Причем для разных вин маршрут прописывается особо.

В тот день я невольно позабыл о проигрыше, утешившись увлекательным рассказом и вкусом настоящей мадеры. К слову, пили мы сравнительно молодое и недорогое вино, в то время как на свете существуют бутылки, чей срок выдержки тридцать, сорок, быть может, пятьдесят лет — драгоценные вина сравнимы с лучшими произведениями искусства. Во всяком случае, для знатоков.

Я отвлекся, и Александр Павлович был вынужден кашлянуть, дабы вернуть меня из страны грез на грешную землю.

— Я так понял, что вы хотели спросить о нашей семье? — Неуверенно поинтересовался он, должно быть, уязвленный моим отсутствующим видом.

Несколько слов об отце. Конечно, если это возможно, — почему-то подумалось, что воспоминания Александра Павловича будут носить неприятный характер.

Извольте. Что же сказать о нашем батюшке? Замечательный мастер, добившийся больших успехов в

резьбе, золочении и лакировке дерева. И это не только роскошные рамы для картин. В Академии долгое время хранилась его скульптурная композиция из дерева — представьте себе — охотничья сумка, через сетку которой можно разглядеть убитую дичь. Все в мельчайших деталях! Совершенство! Бог знает, куда она девалась, по возвращении из путешествия я пытался отыскать ее... но тщетно.

Еще он изготавливал на заказ дворцовую мебель, и вот, извольте полюбопытствовать, я сделал список с одного документа, который отражает в должной мере успехи нашего отца. Александр Павлович подошел к столу и извлек из верхнего ящика искомый документ, как мне показалось, даже не взглянув внутрь ящика, словно заветная бумага ждала здесь именно меня.

Читайте вот отсюда. Он протянул мне листок и склонился над ним, сев рядом со мной, хотя я был уверен, что он знает сей документ наизусть.

«...за сделанные им для любезной дочери нашей великой княжны Елены Павловны кровать с балдахинном и два подстоля резные, золоченные», — прочел я.

— За эту работу папеньке было уплачено три тысячи рублей! — Брюллов гордо выпрямился и, забрав у меня драгоценный документ, вернул его на прежнее место. Как я это теперь отчетливо видел, все движения Александра Павловича были выверены и точны. Должно быть, каждая вещь в кабинете находилась на определенном ей месте, благодаря чему Александр мог брать их не глядя.

— Вы были в Кронштадте? — неожиданно спросил он.

Да... разумеется, — мне вдруг сделалось неудобно; под пронзительным взглядом Александра Павловича я чувствовал себя, чуть ли не школяром в кабинете строгого учителя.

Тогда вы могли видеть иконостас Андреевского собора, выполненный батюшкой по рисункам Захарова. А макет Исаакиевского собора не пришлось увидеть? Был такой проект — несколько известнейших резчиков трудились над созданием макетов знаменитых сооружений Петербурга. Да вот же у меня тут...

Еще один точный выпад, на этот раз в сторону шкатулки на столе и... в руках Александра Павловича пожелтевший от времени листок.

По заданию Академии художеств для Академического музея моделей. Читаю: «раздвижной на две половины, с показанием всех наружных и внутренних скульптурных и живописных деталей». Это тоже можно отметить как достижение моего отца. На самом деле я тоже приложил руку к сему труду, так как макет изготавливался в нашем доме, но не стоит об этом.

Карл Павлович рассказывал о вашей семейной артели, — попробовал я взять на себя инициативу.

— Да. Конечно. Добрейший Карл! — Александр чарующе улыбнулся, — труд и строгий распорядок, дисциплина и железная воля — залог успеха. Все дети в доме были приучены с самого детства вести дневники, я вот сохранил свой и время от времени с удовольствием перечитываю.

Карл пишет: «Мы дома работали больше, чем в Академии», — Александр Павлович мечтательно закатил глаза, — чистейшая правда! Работа и строжайшая дисциплина. Где бы был я? Где были бы мы все, утратив эти добродетели? Наша сестрица Мария писала недурственные стихи, жаль, ничего не сохранилось. На семейных праздниках она радовала нас, читая из нового или исполняя песни и романсы собственного сочинения.

Полагаю, это были веселые праздники? — с сомнением в голосе поинтересовался я.

— О да! В высшей степени веселые. Это были литературные вечера с танцами и непременно показом «живых картин». Необыкновенно полезное занятие для будущих художников. Кроме этого фанты

и шарады. Праздники устраивались на вакации[25] и воскресные дни. Все мы, дети, были необыкновенно дружны. Скажу больше, если бы не Федор...

— А что Федор? — Признаться, общаясь с Карлом, я все больше слышал об Александре или талантливом, но прожившем столь недолго Ванечке. Рассказы же о менее даровитом и удачливом сводном братце отчего-то неизменно ограничивались сообщениями, что он был старше и уже учился в Академии. Так что я стал думать, будто Федор Павлович — человек крайне заурядный, на которого не стоит обращать внимания.

— А вы не слышали о нашем Федоре? — Искренне удивился Александр Павлович. — Да если бы не он, мы, младшие, пожалуй, не выжили бы в суровых условиях Академии. Холод, скудное питание и занятия, занятия, занятия. Но самое главное — крики, наказания, унижения... Мы не выдержали бы, если бы не Федор, который прибегал к нам после своих занятий, притаскивая сайки, конфеты, или даже просто так, поговорить. И мы говорили... отводили душу. Мы бросались к нему в объятия — голодные, оборванные, больше похожие на беспризорников, нежели на учащихся Академии. И он согревал наши озябшие ручонки в своих больших и теплых ладонях, утешая, уговаривая потерпеть, всегда стремясь подарить что-нибудь смешное или хотя бы порисовать вместе, как это бывало дома.

Федор окончил Академию с аттестатом первой степени по классу исторической живописи, после чего ему было предложено место пенсионера там же, при Академии, пока не получится отправить его за границу за казенный счет. Но в результате он по сей день так и не съездил[26]. А через год после окончания Академии уже расписывал плафон в Андреевском соборе Кронштадта.

Потом работал в Михайловском дворце и в церкви Святой Екатерины, что на Кадетской линии.

Да вы сами у него поинтересуйтесь, он живет в нашем семейном доме с супругой и сыном Николенькой. Кстати, племянник подает большие надежды, полагаю, проявит себя в области архитектуры, и он такой же добрый, как и его отец.

Когда мы с братом Карлом поехали за казенный счет за границу, Федор постоянно писал нам, давал дельные советы, рассказывал о новых веяниях и делал решительно все, о чем мы просили его. Его советы, все его письма хранятся у меня дома как редчайшая драгоценность.

Когда, благодаря успехам Карла, Ваньку определили в Академию на казенный счет, я писал отцу, умоляя его не пускать болезненного братца учиться. Где это... — он быстро пролистнул несколько страниц. — Вот, извольте из моего собственноручного письма из Рима: «... у него, то бишь у Ваньки, не будет брата Федора в Академии, без которого мы не были бы из лучших в нашем возрасте и не имели бы того поощрения в трудах, которое заставляет забывать трудности достижения цели». Разумеется, я не вправе осуждать кого-либо, тем более своего отца, но если бы Ванька не пошел учиться, если бы не успехи Карла... — Александр положил на стол дневник, порывисто отвернувшись от меня.

В этот момент слуга постучал в дверь и уже совершенно спокойным голосом, словно и не было тяжелых воспоминаний, Александр Павлович попросил принести еще свечей, после чего, извинившись, отлучился на несколько минут переговорить с супругой и благословить на сон грядущий второго сына, который по причине плохого самочувствия не поднимался с постели.

Воспользовавшись его отсутствием, я на цыпочках подкрался к столу и прочел на раскрытой странице: «Порядок есть гигантская сила для исполнения обширнейших и труднейших предприятий. Никакое предприятие не считать трудным и воображать всегда, что сделал еще очень мало, — есть лучшее средство, идя, успевать за бегущим»...

* * *

Когда Александр Павлович вернулся в комнату, я отметил, что он побледнел, и, списав это на усталость, предложил продолжить наш разговор в другой раз. На что тот, удивленный моими словами, уверил меня, что прекрасно себя чувствует и готов ответить на все мои вопросы, не откладывая, ну, а ежели действительно не хватит времени и меня потянет в сон, продолжить в то время, какое я выберу сам.

Зная, что архитектор работает, что называется, не разгибаясь и не доверяя помощникам, контролирует все происходящее в церкви лично, я понимал, насколько утомлен Александр Павлович и чего ему стоит теперь сидеть напротив меня с прямой спиной в то время, как он хочет, наверное, почитать газету или хотя бы пообщаться с любимой супругой. Но нет. Этот Брюллов был человеком дела. Разглядывая его красивое волевое лицо, я невольно вспомнил, как несколько лет назад он хоронил сына. Он мало принимал участия в самой подготовке похорон, все время пропадая в Пулковской обсерватории.

Случись что-то подобное, не дай бог, у Карла, тот бы запил, и хорошо, если только на несколько дней. Плакался бы без разбору друзьям и посторонним лицам, гулял бы напропалую, швырял деньгами... он же — Александр — с головой ушел в работу. Зато и обсерватория получилась на славу. Не бросил любимое детище... м-да...

— Карл поступил в Академию на казенный счет, я же числился своекоштным воспитанником, так что отцу пришлось за меня платить. Впрочем, мы оба прошли «без баллотировки» как сыновья бывшего преподавателя и академика. В Академии мы должны были проучиться двенадцать лет — по три года в каждом из «возрастов». На третьем «возрасте» воспитанники выбирали специальность — живопись, скульптуру или архитектуру. Когда мы с Карлом пришли в Академию, Федор был уже в четвертом «возрасте», то есть готовился к выпуску. Возможно, вы хотели что-то спросить?

Заслушавшись Александра, я не сразу сумел сформулировать вопрос и, смутившись, вывернулся, попросив дополнить список учителей, уже названных Карлом.

Извольте, первым номером мне хотелось бы назвать самого Алексея Николаевича Оленина, — спокойным, уверенным тоном начал Александр Павлович.

Помилуйте, но разве он преподавал?! — Невольно громко вырвалось у меня.

Не преподавал, но и того, что сделал, недооценить невозможно. Оленин был директором публичной библиотеки, человеком мудрым и весьма эрудированным. Он сразу же расширил учебную программу и создал для преподавателей и учащихся приемлемые условия существования в стенах Академии. Карл уже назвал своих учителей, то же сделаю и я.

В марте 1812 года мы с Карлом раньше других наших соучеников были переведены из рисовального класса в гипсовый. А наши экзаменационные рисунки были отобраны в собрание рисунков или образцов для копирования. Это произошло почти за месяц до вторжения Наполеона. — Он усмехнулся.

И я улыбнулся в ответ, оценив шутку.

— В 1816-м я был награжден серебряной медалью «второго достоинства» за рисунок с натуры. После я благополучно перешел в архитектурный класс, где многие годы преподавали такие прославленные зодчие, как Андреян Дмитриевич Захаров и Андрей Никифорович Воронихин. После них преподавать был призван Андрей Алексеевич Михайлов-второй — член «Комитета по делам строений и гидравлических работ». Дивный, необыкновенно деятельный человек.

Именно архитекторы в первую очередь формируют облик города, потому как те же картины мы видим, уже войдя в здание, а вот сами дома, дворцы, церкви, набережные... волен наблюдать любой,

просто оказавшийся в городе. Причем совершенно бесплатно.

Андрей Алексеевич вместе с Карлом Ивановичем Росси и Василием Петровичем Стасовым создавали наш город таким, каким мы видим его сейчас.

Михайлов-второй и его брат Михайлов-первый были, есть и будут моими учителями, — он изящно склонил голову на грудь, на несколько секунд прервав свою речь. Я тоже молчал.

— Можете проверить, вот что я писал отцу, письмо датировано 1824 годом. Правда, это не сам оригинал, письмо, должно быть, хранится в отеческом гнезде, у брата Федора, а это всего лишь мой собственноручный список. — Вот абзац, отсюда, — он снова протянул мне дневник: «... поблагодарите их от меня за их советы, которые обещаюсь всеми моими силами стараться выполнить и, исполнив, таким образом их ожидания, остаться их достойным учеником».

Хорошо, что вы напомнили: я обещался сделать выписку самых интересных мест нашей заграничной переписки для племянников. Очень, доложу я вам, поучительное чтение, особенно для юношей.

Думаю, уж не издать ли их несколькими экземплярами, дабы сохранилось?.. — Александр Павлович снова зашуршал страницами. — Вот хотя бы. С определенного времени мой многомудрый старший брат писал мне в Париж — я в ту пору был во Франции — что в России большая мода на все готическое. Вот: «В Петербурге входит в большую моду все готическое. В Петергофе маленький дворец выстроен для императрицы Александры Федоровны в готическом вкусе, в Царском Селе — ферма; теперь граф Полоцкий уже сделал столовую готическую и все мебели, и тому следуют уже все господа и рвутся за готическим... У Монферрана есть одно окно вставленное, и на его смотреть приезжают разиня рот, как на чудо... Монферран ценит свое окно в 1300 рублей. Следственно, ты можешь себе представить, на какой ноге gotige»[\[27\]](#).

По совету брата я взялся за изучение готики, и что же... благодаря Федору я могу гордиться тем, что спустя годы вдруг получил заказ на готическую церковь, которую буду строить в Парголово![\[28\]](#) Впрочем, «готической» она будет, что называется, для обывателей — модное веяние и все такое. Вот, извольте взглянуть на набросок. — С этими словами он извлек из стола тяжелую папку и, чуть порывшись, положил передо мной лист с нарисованной на нем изящной церквушкой. — Но мы-то, художники, понимаем, что готика здесь не более чем прием. Главное, чтобы заказчица осталась довольна, а она уже согласилась с нарисованным мною образом и торопит приступить.

Заметьте: заказ сделала графиня Полье. Нарисовал и скоро построю я. Но без Федора, без нашей семьи — черта бы лысого я нарисовал, а не эту изящную церковь, которую, даст Бог, я поставлю и которая простоит много лет и будет радовать наших потомков! Вот что можно и нужно писать о нашей семье. Не было бы отца с его домашней мастерской, не были бы мы первыми учениками в Академии, шли бы с самых азов, как другие, и судьбы у нас получились бы не те. Не было бы Федора, вообще погибли бы... не выдержали духовно и телесно, не вытянула бы и матушка, с которой по воскресным дням мы виделись, и руки которой слезами обливали, жалуясь на свою горькую участь.

Мы с Карлом по многим вопросам расходимся и спорим при встречах, а ведь любим друг друга. И Карл, надо отдать ему должное, все время стремится семью нашу воссоединить. Вот и теперь. Мое детище — лютеранская церковь Петра и Павла, в которой вы сегодня вместе со мной были, уже поднялась и к Богу взывает, станет в один из дней памятником братской любви, когда Карл прикажет внести в алтарную часть свою великую картину «Распятие»!

Вот тогда скажут люди: церковь, которую делали братья Брюлловы, Александр и Карл. Хотя к тому времени и Федору работенку какую сыщем. Чтобы опять были вместе братья Брюлловы!

* * *

В тот день я оставил уже шатавшегося от усталости Александра Павловича и с самыми радостными мыслями отправился к себе домой. Обещание дать почитать письма и дневники само по себе согрело душу, потому что то, что Карл, возможно, по скромности или забывчивости мог не рассказать о себе или своих близких, теперь я мог получить сам.

И еще из общения с Александром Павловичем я отчего-то вынес странный образ белоснежного мрамора, на котором золотыми буквами писались... юношеские дневники! Подумать только. Вот ведь тщеславный человек! Хотя, с другой стороны, его бережливость в отношении сохранности документов и его желание помочь мне спасти Карла вызвали самый положительный отклик в моей душе. Конечно, я любил Карла со всеми его невозможными качествами и дикими выходками. Безусловно, Карл — гений и ему, как и Пушкину, многое сходило с рук. Но теперь передо мной был совсем другой Брюллов — не в меньшей степени гений, но гений, опирающийся на труд и железную волю, на порядок и размеренность. Признаться, если б пришлось мне выбирать, с кем работать, я, не задумываясь, избрал бы Александра Павловича.

Мы договорились встретиться вновь через пару дней. Так как все свое время Александр Павлович пропадал на строительстве церкви, а ближайшие вечера намеревался заняться окончательной сметой Парголовской церкви. О точном времени, когда мне можно будет снова навестить его, он обещал сообщить со слугой. И я знал, что этот Брюллов не обманет меня.

* * *

Из воспоминаний Петра Петровича Соколова, племянника К.П. Брюллова.

Разругавшись с женой, дядюшка и не думал остепениться и хотя бы попытаться начать новую жизнь, вымолив у благоверной прощение. Вместо этого он засел в квартире своего давнего приятеля-скульптора Клодта, чей дом славится единственно тем, что там принимают разного рода сброд — бездельников, несостоявшихся художников, бывших крепостных и прочую шелупонь.

Однажды, это было в один из первых дней после того, как дядюшка Карл обосновался у Клодтов, мы с отцом отправились в обеденное заведение мадам Юргенс, что на Васильевском острове. С некоторого времени, не могу с точностью сказать, с какого, в Академию перестали принимать детей и начали набирать взрослых мужей, желающих постигать основы художества. Не имея возможности отправиться после уроков домой и, возможно, не имея дома или на съемной квартире куска хлеба, академисты завели обыкновение столоваться либо у Юргенс на Третьей линии, либо в трактире «Золотой якорь» на Шестой. Там-то мы и повстречали этого бражника и пошляка, который, нимало не смущаясь своих же учеников, в неизменной компании обоих Кукольников и Яненко произносил витиеватый тост за Рафаэля, заканчивавшийся словами: «Счастливцев, на бабе умер! Пьем за него!» Не сговариваясь, мы с отцом одновременно отбросили салфетки и вышли из-за стола, оставив еду нетронутой.

Глава 10

*В Риме стыдишься произвести что-нибудь обыкновенное,
поэтому всякий художник, желая усовершенствовать свою
работу, строго разбирает мастерские произведения,
отыскивает причины достоинств их, соображаясь с
натурой.*

Из письма Карла Брюллова из Италии

Я заметил, что в прошлый раз Карл начал свое повествование сразу же с Германии, с того времени, когда по дороге он задерживался в различных городах, а стало быть, должен был составить о них какое-нибудь представление. Эта информация, разумеется, была бесполезна для той объяснительной, которую я должен был ему составить, но само путешествие будоражило мое воображение.

— ...На третий день пути наш дилижанс достиг крошечной Риги, которая после величественного Петербурга казалась деревней. Пойми меня правильно, вид одного только нашего дилижанса, запряженного четверней коней в ряд, с огромными красными колесами в человеческий рост, с окнами, как на корабле, по три с каждой стороны, наверное, внушал ужас этим мирным, не привыкшим к подобным средствам передвижения жителям. К тому же что я видел, кроме Петербурга? Да ничего. Это теперь я могу говорить о своеобразии и понятном очаровании крошечных прусских городов, тогда же все это вызывало в лучшем случае раздражение и непонимание. Одна радость — походить своими ногами, разминая затекшие от долгого пребывания в одной позе суставы. Один только Берлин и показался достойным носить имя города. Впрочем, там была достаточно длительная остановка и мы с братом успели и в театр на оперу, и, разумеется, на выставку берлинских художников.

Но и там решительно не на что было положить взгляд. То есть нам тогда казалось, что не на что. Потому что мы, только что вылезшие из-под теплого крылышка Академии, могли воспринимать только привычное взгляду. Мы обожали Рафаэля и совершенно не понимали Дюрера и его последователей. Другая школа... должны быть и другие инструменты восприятия...

Тем не менее, первое же откровение, сделанное в путешествии, я бы сформулировал следующим образом: можно работать и иначе, чем нас учили в Академии. На свете есть не только античный идеал. И второе: существует множество художников, отошедших от классической metody, у которых, тем не менее, достаточно зрителей, понимающих и приветствующих это искусство, находя именно в нем жизненную правду и подлинную красоту!

Александр писал домой: «Везде, проезжая Германию, обманывались мы в своей надежде, везде находили менее, ибо мы видели Петербург!». И то верно: трудно восторгаться чем-то, когда изначально твои глаза привыкли впитывать прекраснейшие из творений зодчих, жить среди красот, словно в раю.

Потом я попросил рассказать о Дрездене и вообще о Германии.

— «Сикстинская мадонна» — вот, собственно, и все сколько-нибудь сносные воспоминания, — развел руками Карл. — Кто может стоять рядом с Рафаэлем? — он сделал выразительную паузу. — Только тот, кто наберется достаточно отваги для этого. Впрочем, в то время произносить подобные тирады было бы весьма рискованно.

Жаль, не довелось побывать в Вене, хотя... вряд ли имело смысл останавливаться там на долгое время, тем более что нас сразу же заверили, что в Вене ужасная опера. Знаменитые произведения даются раз в год обществом любителей музыки. Мы слушали оперу повсюду, где только удалось побывать, и с

уверенностью могу утверждать, что лучшая опера в Мюнхене и, конечно, в Италии.

Мы с братом каждый день гуляли по городу до галереи. День среди картин и статуй, потом шли до гостиницы, каждый раз новым маршрутом. Конец октября. Листья чуть тронуты золотой кистью осени, синее, иногда бирюзовое небо, вообще без облаков. Устали, устроились прямо под открытым небом за крошечным столиком. Взяли бутылочку вина, кофе и сигары. Хорошо.

В Германии в большом почете были картины Корреджо; в журналах писали, будто бы он затмил устаревшего в наши дни Рафаэля. А когда я заступился за Рафаэля, сказав, что мадоннам Корреджо не хватает величия и божественной простоты, и начал говорить о Пуссене, зашипели, точно щипцы для завивки. В Дрездене еще понравился Гвидо Ренни. Моя сестра писала нам вслед, будто бы видела нас с Александром в рыцарской одежде, золотых латах, увенчанных лаврами, возвращающихся с поле боя, снискавших бессмертную славу! Какое восхитительное предзнаменование!

Кстати, тогда же я обратил внимание на то, как по-разному люди пишут письма. Возьмем, к примеру, брата моего Александра. Вот кто описал галерею с того момента, как вошли мы в двери и затем, кропотливо, все до мельчайших мелочей, словно опись делает. Я же во все времена поговорить в письмах любил, впрочем, об этом уже упоминал.

В Мюнхене я заболел и провалялся с простудным воспалением головы семь дней, почти не приходя в сознание. Ухаживала за мною наша хозяйка фрау Вельце, супруга обер-лейтенанта фон дер Вельце.

Меня постригли, дабы лишнее тепло не способствовало воспалению, так что я из Апполона сделался сущим уродом. Доктор предрекал печальный финал, но я почему-то превозмог болезнь и тут же угодил в дружеские объятия барона Хорнштейна, которому фон Кленце уже сообщил о русских художниках-медалистах, прибывших в Мюнхен.

Восторженный и веселый, точно бес, барон тут же потащил нас по салонам и гостям, по трактирам и театрам, помогая сводить знакомства с самыми разными людьми.

Посыпались заказы. Мы с Александром едва поспевали повсюду, веселясь на балах, ведя бесконечные разговоры о живописи и опере, много рисовали. Поначалу Сашка еще пытался предостерегать меня, умоляя не напрягаться после тяжелой болезни, но мне все было нипочем, я хотел всего и сразу. Предполагалось, что я буду писать портреты королевской фамилии, но на тот момент времени августейшее семейство некстати отправилось с визитом в Саксонию.

Портрет барона Хорнштейна, портрет дочери министра финансов, портрет министра внутренних дел и портрет его супруги...

Но самое главное впечатление — сам Мюнхен — волшебный, сказочный со своей средневековой готикой и тайнами.

Да, возрожденный и прекрасный Мюнхен произвел на нас сильное впечатление. Согласно распространенному мнению, нет ничего хуже зимы в Германии, но мы с Сашкой были молоды и счастливы! Перед нами лежали города Инсбрук, Боцен, Триент, Бассано, Тревизо и наконец — Венеция!..

Венеция — каналы, обитые черным сукном, точно гробы; гондолы; мелочные рынки и множество лавочек, крытый мост Вздохов, соединяющий Дворец дождей с темницей. Ящики для доносов в виде львиных голов... Зеленщики, подплывающие со своим товаром к самым домам, громко, почти нараспев, расхваливают свой товар, привлекая внимание покупательниц. Хозяйки отворяют ставни, спускают на веревках корзины с мелочью, которые тут же нагружаются пахучей зеленью и свежими, только что с грядки, овощами. Не хочу описывать ни дворец, ни картин, ни статуй. Есть кому сделать это и без меня. В памяти осталось одно наблюдение Александра, будто бы Дворец дождей стоит на голове — верх тяжелей

низа. Я счел его интересным и записал для памяти.

* * *

Небо над Баварией, над горами, над крышами дворцов — прекрасно. Впрочем, небосвод везде прекрасен. Потому что ангелы чистят его, не жалея собственных крыльев. Оттого иногда на небе и заметны полосы. Карл знал это, пробираясь сквозь простудный жар, он видел ангелов так близко, что мог бы нарисовать каждого во всех возможных подробностях. Впрочем, чтобы рисовать, ангелы должны были бы позировать ему, а разве удержишь этих шалунов и торопыг на месте?

— Стой, зараза! — Карл изловчился и попытался поймать самого толстого за вымаранные в черничном варенье крылышки, но потная рука только скользила по перьям, оставив молодого художника без трофея.

Кому ни скажи, ни за что ведь не поверят, — сокрушался Карл. — Ну, хотя бы парочку, чтобы Сашка увидел своими глазами. Эх, Сашка, где тебя носит? Вместе мы бы их тут всех переловили.

Ловить ангела? — Карл вздрогнул от неожиданности, закрывшись по самый подбородок влажным одеялом. Перед ним возникла или, скорее, соткалась из ослепительного света темноволосая женщина, еще более темная на фоне открытого окна и светозарных ангелов. Огромная пылающая женщина с темными глазами и короной на голове.

Царица небесная... — Карл зажмурился и тут же попытался открыть один глаз, протянувшись в сторону гостыи. — Царица небесная? — Уточнил он на всякий случай и тут же был откинут обратно на постель громоподобным смехом.

Вот еще! Надо же, какие мысли крутятся в этой глупой головушке... В этой гениальной головушке, юный Аполлон. Да ты и сам, как ангел, и свет вокруг тебя, и то, что ты пожелаешь сделать. — Женщина пылала, но Карл видел, что огонь не причиняет ей боли. — Что же ты лежишь здесь, родненький мой? Отчего не выходишь погулять, касатик? Или местные красоты тебя не радуют? Или погода непригодна, чтобы рисовать всласть? Я тучи уже дня три как развела да на клочки растерзала, солнышко на небосвод выпустила, а тебя, мой свет, все нет и нет? Отчего же не рисуешь в славном Мюнхине, батюшка?

— Так занемог же я, матушка. Неужто не видишь? — Неожиданно для себя Карл поднялся и в одной ночной рубашке с кружевными манжетами так и предстал пред дивной женщиной.

— Ан, не болен ты, свет мой ясный, Карл Павлович! Вижу: ножки твои резвы, а ручки давно скучают по хорошим кистям да краскам. Подымайся, солнышко. Да приди в мои объятия, ибо я жена твоя, небом данная, из огня и ночи созданная, солнцем благословенная.

Карл сделал шаг и оказался в объятиях огненной женщины, той, что прилетала к нему в детстве, чтобы гореть вместе с ней.

Глава 11

Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел бы в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире её не отнимет у меня!

Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — всё мне снилось!..

Из письма Н.В. Гоголя В.Л. Жуковскому, 30 октября 1837 года

— Нас провожали в дорогу 16 августа 1822 года, — начал Александр, когда я спустя три дня после нашей предыдущей беседы наведлся к нему вечером, как и было условлено в присланной со слугой записке. Александр Павлович встретил меня сам и, как и в прошлый раз, первым делом проводил к своей супруге. На этот раз Александра Александровна выглядела поживее, хотя это мимолетное впечатление мог создавать изящный белый кружевной воротничок, прекрасно осветлявший ее лицо. После того как я поцеловал ручку госпоже Брюлловой и перемолвился с ней парой ничего не значащих фраз, Александр Павлович проводил меня в тот же кабинет, после чего слуга подал кисель и булки. Должно быть, в этом доме не жаловали вина и тем более водки. Что же, весьма похвальный, хотя и странный по нашим временам, обычай.

— ...Нас провожали в дорогу 16 августа 1822 года, с вокзала дилижансов, что на Царскосельском проспекте. Вся семья, друзья, соученики... — он вздохнул. — Помнится, долго не мог выпустить руку маменьки, словно уже тогда знал, что не увидимся. Хотя кто может знать наверняка? Особенно про Павлика! Все время бегал, играл, я даже немного рассердился на непоседу. Братья на четыре года уезжают, а он, как ни в чем не бывало, бегают и скачет.

Четыре года! Ах, знай я, что эти четыре года обернутся для меня восьмью, пожалуй, не поехал бы. Хотя в Петербурге в то время делать было решительно нечего. Но все же. Душа кровью обливается, как вспомню, как уезжали от всех, кого любили. Брат Карл все шутил, ему бы только новенького, и горя мало. А мне...

В ожидании вас, любезный Петр Карлович, дневники и письма еще раз пролистал и карандашом кое-что отметил. Полюбуйтесь иллюстрацией к моим словам: «Первый одноглавый орел был знаком, что мы уже далеко от нашего дома», — он снова вздохнул.

Прусский герб, — догадался я.

Он, — невесело констатировал Александр Павлович. — Наш путь: Рига, Мемель, Кенингсберг, Берлин, Дрезден, Мюнхен и только потом Венеция, Падуя, Верона, Мантуя, Болонья и Рим. В Берлине пробыли месяц. Холодно, ветрено, скверная погода. В Берлине больше всего понравилось здание театра и Новой гауптвахты работы Карла Фридриха Шинкеля — поздний немецкий классицизм. В Дрездене я бы выделил из прочих строений Концертный зал и Фрауэнкирхе (церковь Богоматери) — барокко, по незнанию и невежеству не поняв ее изящества и охарактеризовав как выполненную «в несчастном вкусе». — Он горько ухмыльнулся. — Вот отчего хочу я издать наши письма и что-то из дневников, в назидание потомкам, а никак не из пошлого хвастовства. Потому как воспитанные в строгих правилах классицизма, мы просто не имели органов ощущения, которые позволили бы нам наслаждаться чем-то, не входящим в рамки затверженных традиций и принятых раз и навсегда идеалов. И в этом я полностью согласен со своим братом Карлом.

А потом был Рим. Вечный, прекраснейший город. И сразу же прочитаю из моего письма не с целью

похвастаться, а чтобы вы единственно видели мою тогдашнюю реакцию, не запыленную, так сказать, пылью времен. — Он открыл на заранее заложенной странице и с выражением прочитал: «... тут невольно вообразишь римлянина — древнего римлянина, Средних веков и римлянина во фраке. За первого говорят храмы богов их, за второго — огромные здания дурного вкуса, а за третьего — все, ничего не значащее, слабое, дурное». — Вот ярчайшая, на мой взгляд, картинка. Как вы находите? «Колизей», то есть развалины Колизея, произвели на меня сильнейшее впечатление. Я тогда даже сделал серию рисунков; пантеон, отдельно арки и колонны, Мавзолей Адриана и много другого. При этом я не понял и не принял себя ни римских дворцов эпохи Возрождения, ни храма Святого Петра, ни Капитолия.

Он вопросительно поглядел на меня, и я был вынужден признать, что уже то, что он мне теперь рассказывает об ошибках юности, является весьма смелым и не может с моей стороны быть встречено иначе, чем с полной симпатией и уважением. Тем более что речь идет о произведениях таких известных зодчих, как Браманте, Сангалло, Виньола, Микеланджело...

В Италии у нас сложился русский кружок, в который вошли Сильвестр Щедрин, живший в основном в Неаполе, Александр Иванов, сын профессора Иванова, учителя Карла, а также Федор Бруни, Петр Басин, скульптор Самойлушка Гальберг, архитектор Николай Ефимов.

Мне сразу же пришелся по душе Александр Иванов, но он, наученный своим выдающимся отцом, искал дружбы и покровительства Карла, при этом сторонясь шумных компаний и дружеских попоек, в которых и проходила жизнь моего братца. Потом он и вовсе отошел от всяческих сборищ, на долгие годы засев в своей мастерской, говорили, будто бы сошел с ума, бродяжничал, жил как придется, неизвестно чем питался...

Но об Иванове я мало что знаю. Во-первых, потому, что сначала он не вошел в компанию, а затем я уехал из Италии. Говорили, что он, оборванный и заросший, точно нищий, бродил по улицам города, все время бормоча что-то себе под нос и ни под каким видом не впуская кого-либо к себе в мастерскую. Его считали безобидным сумасшедшим, время от времени Александру Иванову присылали деньги, поэтому ему предоставляли кров и еду, а главное, выполняли его требование ни под каким предлогом не нарушать его одиночества и добровольно принятого на себя затворничества. Непостижимый человек!..

Глава 12

*Вот моё мнение! Кто был в Италии, тот скажи «прости»
другим землям.*

Кто был на небе, тот не захочет на землю.

*Словом, Европа в сравнении с Италией всё равно, что день
пасмурный в сравнении с днём солнечным.*

*Из письма Н.В. Гоголя В.О. Балабиной, 1837 год, из Баден-
Бадена*

— В высоком рафаэлевском штиле, именно так и не иначе мне следовало бы творить, дабы оправдать вложенные в поездку деньги меценатов, силы и труды учителей, — начал на другой день свой рассказ Карл. — Германия, Бавария... с самого начала я знал, что мой путь лежит в Рим и только туда, все пути лежат в Рим, и не иначе. Петр Андреевич поучал нас с братом, наставляя во всем следовать канонам, поставленным перед потомками великими мастерами, но догадывался ли он, что сам Рафаэль в божественной простоте то и дело отходил от этих самых канонов? Видел ли это?

Для того чтобы доказать свою правоту, мне следовало потратить жизнь на копирование недостающих в России полотен, но даже тогда... Господь создал людей по образу своему и подобию, но все люди разные... Приглядитесь... характер и осанка, кожа и волосы... из-за того, что папенька огрел меня в детстве по башке, я не слышу на одно ухо, отчего вынужден склонять голову к собеседнику, другой припадает на одну ногу. Мы разные и оттого прекрасные. Каждый по-своему.

Мы прибыли в Рим 2 мая 1823 года, и я праздновал бы этот день как второй день своего рождения, если бы не забывал следить за календарем. Я мог бы потратить жизнь на копирование чужих шедевров и не создать при этом ни одного своего. Великий подвиг Федора Иордана, сколько лет он уже положил, делая гравюру с картины Рафаэля «Преображение»! Кстати, идею подал ваш покорный слуга, обрек, так сказать, ближнего своего на муки, а сам поспешил рисовать веселых друзей и прекрасных женщин!

Нет, я решительно не собирался тратить время на копирование, желая только одного — творить самому.

Подобное сопротивление могло стоить пенсионера, который был мне поначалу необходим, Александр кропотливо выполнял задания, я же... «Вы должны пасть ниц перед великими творениями прошлого», «Благоговейно встать на колени и пытаться повторить, дабы через повторение приблизиться к идеалу»...

Микеланджело писал не по канону, и если все живописцы обычно начинали двигаться от алтаря, картина за картиной отходя от него, все дальше и дальше продвигаясь к двери, Микеланджело шел не от алтаря, а к нему, от истории с Ноем до отторжения света и тьмы. История, рассказанная Микеланджело, идет вспять, но в результате он заканчивает свою повесть, стоя пред алтарем, пред предвечным Отцом... А как же иначе? Его путь должен был закончиться именно здесь. Как, наверное, должен закончиться путь любого человека — возвращением блудного сына к Богу.

Так и вижу: живописец откладывает кисти, отходит на шаг в сторону, любуясь своим творением, а меж тем Господь Бог только начинает Сотворение мира!

* * *

В Риме мы свели знакомство с русским посланником Андреем Яковлевичем Италийским, который,

несмотря на весьма преклонные года — Италийскому перевалило за восемьдесят, сразу же вызвался показать нам настоящую Италию так, как это не сможет сделать более никто.

Редкий человек! Представьте себе: с самого детства Италийский мечтал о духовной карьере, закончил духовную академию, после которой вдруг решил, что недостойн принять сан, и поспешил выучиться на медика, что, однако, не помешало ему в результате избрать дипломатическую службу. Он отменно разбирался в живописи и истории, зная множество малоизвестных фактов из жизни великих художников, которые теперь обрушивал на нас с Сашкой. Именно он, отринув все свои дела, впервые привел нас в Сикстинскую капеллу смотреть Микеланджело.

Впрочем, отчего прославленный флорентинец, расписывая купол, шел не от алтаря, а к алтарю, он не знал, а скорее догадывался. Не думаю, что Микеланджело владели в тот момент столь возвышенные мысли. Ведь о чем думает художник, расписывая храм? О том, как ложатся тени, как его произведение будет освещено и что увидят стоящие внизу люди. Он располагает фигуры и пятна света, тысячи раз спускаясь вниз и вновь взлетая под облака. К концу работы у Микеланджело появилась привычка ходить с задранной вверх головой, так как его шейные позвонки расположились таким образом, что голова запрокинулась и ни за что не хотела возвращаться в нормальное положение...

Колоннада собора Святого Петра сменяется постом желто-красно-синих стражников-швейцарцев, вооруженных пиками, в костюмах XV века. Потом лестница, старая тяжелая дверь и... Сикстинская капелла... сколько часов, дней, недель я провел там, бродя с задранной головой и изучая, запоминая, впитывая глазами, кожей, костями гениальные фрески.

«Встать на колени перед Великим» — из этого положения я не увидел бы и сотой доли того, что предстало передо мной. Нет, я не вставал на колени и не начинал молиться, а ходил и ходил, сначала смотря с нижних точек, потом поднимаясь на тянущийся вдоль окон балкон. Кружилась голова. Временами я был вынужден останавливаться или садиться прямо на пол, приходя в себя. Непостижимо, как можно все время смотреть вверх, расписывая это небо?! Сколько раз у меня кружилась голова и шла носом кровь. Четыре года изнурительной работы на лесах, нащупывая неверные доски под ногами и создавая одну за другой все триста сорок три фигуры — один, без помощников!

Я изнемогаю, копирую, копирую, копирую. Не для Кикина, себе для памяти. Устав и лишившись сил, отправляюсь в Лоджии Рафаэля. Что ни день — папка наполняется новыми рисунками, но все это тщетно; невозможно только копировать, нужно учиться и жить. Делать свое и по-своему, создавать то, что требует от творца эпоха, говорить о том, что важно для тебя.

«Принимаю на время возложенные на меня титулы нескромного и дерзкого, помня, что юный Сципион никогда б не победил опытного Аннибала, если б не дерзнул себя сравнить с ним», — писал я Кикину, рискуя навлечь его гнев, но надеясь найти понимание.

Какое-то время мы с братом искали подходящее и недорогое жилье, переходя от хозяина к хозяину, пока случай не занес нас на холм Квиринале, где в угловом доме сдавались удобные комнаты. Помню, как в первый раз мы переступили порог этого жилища и... множество больших, столь необходимых для художников окон. В одно смотрят Альбанские горы, в другое — Сабинские, с третьей стороны виднеется собор Святого Петра и в четвертое — кусочек старого Рима с Колизеем! Можно писать, вообще не покидая мастерскую! Но мы, точно помешанные, бродим иногда целыми днями по площадям, улицам, переулкам и закоулкам древнего города.

Все не так, как дома, не как в России, Германии, Баварии, Венеции... простота людей, живущих в гармонии с окружающей природой, все цветет, растет, плодоносит... небо... все прекрасно, сколько ни черпай — ни за что не вычерпашь!

Карл замолкает, и мне приходит на память отрывок из его записок, скопированный некоторое время назад по моей просьбе и, разумеется, с разрешения Карла Мокрицким, в котором он пишет о необходимости учиться у старых мастеров: «Да, нужно было их всех проследить, запомнить все их хорошее и откинуть все дурное, надо было много вынести на плечах; надо было пережевать 400 лет успехов живописи, дабы создать что-нибудь достойное нынешнего требовательного века. Для написания «Помпеи» мне еще мало было таланта, мне нужно было пристально вглядываться в великих мастеров».

— Итальянский — потрясающе интересный, нужный человек, но сердце требует идти дальше, бежать, лететь к тому, кто непросто любит и знает живопись, но кто живет и дышит ею. К новому Рафаэлю, как его называют, к великому маэстро Винченцо Камуччини.

Я учился на копиях с его картин и любил их всем сердцем. Но даже если бы и не любил, в академических кругах получить благословение Камуччини равнозначно сделаться и самому живой легендой. Русские пенсионеры хвастались друг перед другом, рассказывая о посещении святой святых — мастерской маэстро, расположенной в бывшем монастыре. О Камуччини говорили: «Бог по-прежнему живет в церкви!» Маэстро писал огромные картины; его мнение считалось непререкаемым; куда бы он ни направился, за ним тянулись толпы учеников и последователей.

Посмотрев папку моих работ, великий Камуччини снисходительно похлопал меня по плечу: «Маленький русский пишет маленькие картины». Я не подал тогда вида, насколько обидела меня оценка итальянского маэстро, улыбаясь во весь рот, вежливо шаркая ножкой и обещая себе, что еще заставлю старого спесивца забрать назад свои слова.

Впрочем, ссориться с Камуччини — себе дороже. Как послушные во всем мальчики, мы отписали в Общество о своем знакомстве, и Кикин умолял нас не предпринимать ни единого шага, не посоветовавшись с живым классиком. Меня это более чем устраивало, как-никак добрейший Петр Андреевич, насколько я это успел выяснить, не состоял в переписке с Винченцо Камуччини и вообще не был с ним знаком, а значит, я мог смело сообщать ему о мнимых советах и наставлениях великого.

Возможно, со стороны это и напоминало бы подлог, но я понимал, что разоблачить меня будет совсем непросто, в то время как я буду словно состоять под надзором у добрейшего Камуччини, а на самом деле спокойно делать свое дело.

Мы продолжали бывать в Сикстинской и Ватикане; время от времени я посещал места, где, по заверениям Итальянского, бывал Рафаэль. В маленьком дворике с четырьмя пьедесталами, на которых во времена Рафаэля возвышались древние статуи, я сидел в тени высоких деревьев, любясь на домик, в котором когда-то жил великий мастер, и размышлял о назначении художника.

В своем ответном письме Петр Андреевич писал, что доволен нами и рекомендовал свести знакомство с живущим в Италии более четверти века скульптором Бертелем Торвальдсеном; Торвальдсена и Камуччини Кикин советовал нам избрать своими наставниками, ничего не предпринимая без их совета и благословения.

Время от времени в компании Самойлушки Гальберга и Сильвестра Щедрина мы выбирались погулять по окрестностям Рима в поисках красивых видов. Впрочем, живший в Италии уже свыше пяти лет Щедрин давным-давно уже переписал их все, снискав славу лучшего русского пейзажиста и постоянно получая все новые и новые заказы. С Самуилом Гальбергом было сложнее. Прождав свою заграничную командировку до сорока лет, он рвался поскорее начать работу, чем досаждал тем пенсионерам, что считали свое пребывание в Риме чудом, которым они никак не могли насладиться, мирно попивая недорогое вино и выбирая исключительно на ощупь натурщиц, а, следовательно, не слишком спешили работать.

Иногда в компании с Самойлушкой, иногда с братом Александром или даже сам по себе я заходил в мастерскую к Торвальдсену, который давал желающим уроки. Хмурый, неразговорчивый датчанин предпочитал словам дело, и это меня вполне устраивало. После работы, умывшись во дворе, мы отправлялись в ближайший трактир пропустить по стаканчику молодого вина, и где начинались задушевные беседы.

Однажды за столом, накрытым прямо под раскидистым деревом во дворе трактира, я завел свою любимую песню о том, необходимо ли во всем следовать канону и не пустое ли это обезьяничество?

На что Торвальдсен ответил, что ему нет дела до того, в какой манере создано то или иное произведение, ценно другое. Вот когда, увидев твоё произведение, окружающие признают, что такого прежде не было, вот тогда ты сможешь считать себя заново рожденным, потому что это единственное достойное начало пути. В то время у меня было множество задумок, в том числе и на исторические, и на библейские темы, но первая картина, которую я осмелился отправить на суд обществу, была «Итальянское утро». Нежная девушка умывается утром в саду.

«Осмелюсь поручить в ваше покровительство дитя мое, которое жестокий долг почтения к Обществу мог только вырвать из моих объятий».

Мы с Александром запаковали картину в ящик и отвезли ее в контору банкирского дома господ Торлоги и Десантиса, которые обещали осуществить доставку максимум за три недели. В результате «Итальянское утро» провалялось на их складах почти два года.

Впрочем, это было неудивительно для груза, судьба которого — дожидаться попутного корабля. Обычный маршрут — из Чивитавеккья, огибая Европу, в Петербург.

Когда через несколько лет Демидов возьмется отправить домой «Последний день Помпеи», он устроит все так, что картину повезет специально заказанный корабль. Но в то время мы, разумеется, не могли рассчитывать ни на что подобное. Спешные грузы везли сначала в Марсель, потом вынимали из трюмов кораблей и везли посуху в Гамбург, а далее снова морем. Получалось значительно быстрее, но требовало дополнительных вложений, а денег было не так уж и много.

Я слал письма Кикину, просил подсказать сюжет из отечественной истории, а сам то кидался писать Юдифь с занесенным мечом, то делал зарисовки окружающей меня жизни. Полковник Львов, о котором я уже рассказывал тебе... ну, который выкупил меня, когда хозяин гостиницы самовольно арестовал мои вещи и держал меня взаперти, Александр Николаевич Львов звал меня посетить Помпею. Помпею! — Карл на мгновение задумался. — Почему бы и нет? Однажды Александр Бестужев, печатавшийся под псевдонимом Марлинский, показал мне странный камень. Лава заполнила собой чашу, да так и застыла на вечные времена. Чаша из Помпеи — весточка прошлого, первый шаг к созданию будущего. Зашифрованное письмо Помпеи. И вот опять!

— Только брата Александра с собой возьмем, ладно? Ему это полезно будет.

Львов не возражал. Я пригляделся: лицо Александра Николаевича было дивным образом освещено из окна, мягкий, теплый свет...

— Ради бога, посидите, пожалуйста, так, — попросил я и, взяв свободный холст, тут же принялся за работу. Три часа задушевных бесед пронеслись как несколько минут. Когда уставший, с затекшей шеей и ватными ногами Львов, наконец, получил разрешение сойти с места, портрет был совершенно готов.

Прощаясь со мной, Александр Николаевич заказал картину «Эрминия у пастухов», оставив мне только что изданную поэму Торкватто Тассо «Освобожденный Иерусалим».

После чего несколько дней подряд я ходил по мастерской, читая нараспев:

Колико ты простер,
Царь вечный и благий, сияния над нами!
В день, солнце, образ твой течет под небесами,
В ночь тихую луна и сонм бесчисленных звезд
Льют утешный луч с лазури горных мест.

Поймав нужное состояние, я брался было за карандаш, но был вынужден отбросить его на софу, вновь хватаясь за текст, как заблудившийся путник пытается разобрать карту незнакомой местности. Поняв наконец мою досаду, брат Александр сжалился надо мной и принялся читать вслух, наблюдая за тем, как я набрасываю контуры будущей картины.

Но мы, несчастные, страстями упоенны,
Мы слепы для чудес: красавиц взор влюбленный,

И вот уже не Сашка, а Сильвестр Щедрин берет заветный текст из слабеющих от усталости рук моего брата, и вновь льются строки поэмы:

Улыбка страстная и вредные мечты
Приятнее для нас нетленной красоты.[\[29\]](#)

Заканчиваем читать и тут же начинаем снова, потом отдельные места, потом с любого места. В Риме издали полное собрание сочинений Тассо — тридцать томов, и затем еще пять избранного.

Через год после нашего отъезда из Петербурга умер маленький Павлик, и хлынуло наводнение. Страшное наводнение 1824 года. Брат Федор и сестра Мария писали нам в Рим, жалуясь, что ржаной хлеб начали продавать по 25 копеек фунт и 10 рублей за пуд соли... но при этом в общественных местах открылись столовые и ночлежки для пострадавших. А семьи добровольно принимали у себя лишившихся крова. В нашем доме на Среднем тоже жили утратившие собственное жилье люди.

Было больно читать все это нам, не имевшим возможности прийти на помощь, да даже если бы Федор или отец отписали, что именно в этот момент мои сестры или племянник Сашенька подвергаются смертельной опасности — что я мог бы сделать? Поэтому скрепя сердце я просил, по возможности, не сообщать мне больше горестных вестей.[\[30\]](#)

Глава 13

На следующий день я был вынужден отлучиться ненадолго в манеж, а когда вернулся, застал Аполлона Мокрицкого, с обреченным видом читающего перед моим семейством, Леночкой Солнцевой и Карлом, роман Лажечникова «Ледяной дом». Судя по выражению его лица, прочитал он уже порядком и устал. Во всяком случае, выполнял свою работу вяло, что называется, без огонька.

— Вот, милый Петр, поглядите, какие пошли нынешние художники?! — С насмешкой рекомендовал чтеца Карл. — Да ты не думай, что это я его так заездил. — Балы, гости, барышни... а дело стоит!

«Распятие» мое давно начато, да так и торчит посреди мастерской, его милость к нему вовсе не притрагивается, с ерундой носится, моим учеником прилюдно называется. Точно на икону, каждый день ходит на «Помпею» глазет, и еще гостей водить повадился! Никакого спасу нет! Попытался было его к письму принудить, создать из Мокрицкого второго Джорджо Вазари, да зарекся давно уже. Ах, — Карл в сердцах махнул рукой. — Лень, праздность, любовь лясы точить, по гостям бродить, по чужим мастерским ошиваться, барышням строить куры, амурсы крутить. Ничего-то вы в своей жизни, сударь мой, не сделаете таким манером! Только место чужое занимаете. Попомните мое слово: возьму я вместо вас того офицера Федотова[31]! Ох, из него толк выйдет! Помяните мое слово — выйдет.

При упоминании о барышнях Солнцева прикусила нижнюю губку, так что мне жалко ее стало.

— Бог с тобой, Карл, — начал я примиряющее, обнимая задиру. — Сам же, небось, и подсунул Аполлонусей роман, как это у тебя заведено. Сколько раз я лично слышал, как он, бедный, ночью и днем перед тобою сидит и страницу за страницей читает. Право, твоя в том вина, что он вместо дела тебе старается угодить. Сам виноват, а потом скидываешь с больной головы на здоровую. По совести, половину из того, что Аполлон или другие ученики тебе читают, из нашего окружения, пожалуй, один ты разумеешь и способен. Не о Лажечникове, не о Пушкине говорю, а об астрономии твоей, в коей лично я, признаюсь, мало что смыслю.

Вот и сейчас, готов биться об заклад, что едва только Аполлон шагнул через порог, как ты его тут же к этому делу и приставил, да еще и зрителей собрал. Скажешь, не так?

— Сей роман я в третий раз перечитываю, — уже спокойным тоном ответил Карл, вот и сегодня читал я для Елены Кузминичны, Машеньки Петровны, и самой прекрасной в мире Уленьки, когда этот ленивец в гости из гостей заявился. А впрочем, ты мне зубы не заговаривай. Что с того, что я предложил ему сменить меня, пока я горло промочу кисельком? Я о том, что в остальное время он трудиться отказывается, живет, точно трутень, а много ли ты видал, брат, трутней-то, лодырей прописных, в художниках?

Я с невольной жалостью посмотрел на Мокрицкого.

— Все так. Все, как вы говорите, Карл Павлович, — очень сдержанно начал он. — Тем не менее, вы не поверите, сколь важно для меня все, что вы говорите. Как ценю я то время, что вы мне уделяете, даже когда заставляете читать непонятные мне самому тексты, само ваше расположение... Как счастлив я возможности находиться подле вас, ежедневно наблюдая вашу работу.

— Вот именно, я буду работать, а он — наблюдать, получая от этого удовольствие! — съязвил Карл.

— За одно только счастье бывать у вас, слушать ваши мудрые наставления я готов вытерпеть и в десять раз более того, что уже вытерпел от вас. Несправедливых попреков, и...

Несправедливых?!

Впрочем, я не скажу более ни слова. И если любой на моем месте давным-давно бы обиделся на вас

и ушел прочь, я буду терпеть обиды и спокойно делать свое дело.

— Ах, оставьте! — Карл вскочил с места и начал расхаживать по комнате, — оставьте, мне нет никакого дела до того, будете вы делать что-нибудь в этой жизни или бросите все к чертям!

Услышав очередную отповедь, Мокрицкий побледнел, точно мертвец, и, склонившись перед Карлом, зашептал, что не хотел так разозлить его, умолял не гневаться. К его просьбе присоединились Уленька и Леночка, на что Карл с достоинством кивнул Мокрицкому, процедив сквозь зубы, что не стоит Аполлон его высочайшего гнева, после чего, взяв под руку Солнцева, спустился вместе с ней в столовую.

Вся эта сцена неприятно подействовала на меня. Потому как Карл, безусловно, гений, но в его нынешнем положении небезопасно эдак разбрасываться сторонниками, будь то хотя бы и Мокрицкий. Тоже ведь не последний человек, многие полезные знакомства имеет, в приличные дома вхож. За Карлом, как за маленьким, ходит. Великий в любое время дня и ночи может оторвать его от дел, поднять с постели, заставить читать вслух или отправиться с ним на другой конец города смотреть какую-нибудь блеснувшую в свете красотку. А что за это он получает? Ну, кроме уроков и самой возможности находиться близ признанного светила? Карл давным-давно обещался нарисовать портрет Мокрицкого, а так до сих пор и не приступил. Понятно, Аполлону обидно, а тут еще и компанию себе, прости господи, завел. Ладно, Нестор Кукольник, известный поэт, а Пьяненко этот, или скажем, матерюжник Михайлов? Последнего так вообще в приличное общество звать не след. Лично я не пожелал бы, чтобы этот господин затевал разговоры с моей женой или маленькой дочкой. А Карл, мало того, что его своим ученичком сделал, сам к нему домой зачастил, себя позорит.

Можно подумать, будто мне не нравится, что он, Гришка Михайлов, бывший крепостной господ Демьяновых, получил вольную за 2000 рублей, так сие вздор и ничего больше. Не баронским титулом я дорогу себе в искусстве пробивал. Да и простым людом никогда не гнушался, возьмите хотя бы Тараса Григорьевича Шевченко, с коим весьма дружен Карл. Замечательный пиит, да и художник отменный. Подлинный самородок, хоть и крепостной до сих пор. Но об этом скорее кручиниться нужно, краской заливаться, нежели хотя бы малое пренебрежение выказывать, потому как стыдно перед Европой, что до сих пор барин его при себе держит, а стало быть, в любой момент может хоть на конюшню послать, хоть в поле.

Уже год, как Карл по этому делу радеет, да все не впрок, ни за что не желает упрямец Энгельгардт птицу на волю отпускать. А после того, как сам Брюллов, к которому государь с государыней в мастерскую частенько просто так, по-свойски, захаживают, лично с визитом к помещику клятому заявился и битый час перед ним распиная по поводу таланта его крепостного, тот будто еще больше утвердился, что Тарас — непростой мазилка и за него большую деньгу получить можно. После чего утомленный бесполезной поездкой Карл охарактеризовал Энгельгардта как самую крупную свинью в торжковских туфлях, но от дела не отступил, а вместо себя Сошенко прислал, чтобы тот договорился о цене выкупа. Если я правильно понял, именно Иван Максимович в свое время привел к Брюллову Тараса, которого нашел в Летнем саду, срисовывающего там статуи. Но Сошенко в свои силы после брюлловского фиаско уже не верил и оттого перепоручил миссию профессору Венецианову Алексею Гавриловичу, но и у того ничегошеньки не получилось. Вот ведь как бывает: Венецианов государя убедить способен и проделывал это многократно, а с обычным помещиком по душам объясниться... увы! Да и есть ли у него душа?

Меж тем Тарас Григорьевич совсем отчаялся обрести свободу, и говорят, руки на себя хотел наложить. Тогда за дело взялся Василий Андреевич Жуковский, который не стал разглагольствовать по поводу великого таланта крепостного, о коем Павел Васильевич Энгельгардт, без сомнения, знал, ибо отдал Тараса еще несмышленишем в обучение сначала преподавателю Виленского университета — портретисту Яну Рустему, а затем к «разных живописных дел цеховому мастеру» Ширяеву. Не стал Василий

Андреевич прибегать к аллегориям, сравнивая крепостного гения с птицей в клетке, а попросту предложил помещику сумму, от которой тот не смог отказаться — 2500 рублей. Так вот, деньги эти до сих пор не собраны, сам Карл из бескорыстной любви пишет нынче портрет Василия Андреевича, дабы устроить лотерею и получить деньги для выкупа. Впрочем, как он пишет, «у меня сидит и ждет, когда я ему рапорт на высочайшее имя составлю?» Шутка ли сказать — рапорт на тему, которая скорее для анекдотов самых скабрёзных, нежели для официального документа, который еще неизвестно, сколько лиц читать станут, и затем шептаться начнут по углам, пальцами показывать. Тогда уж Карлу точно не в Италию, а в Африку, в дикие саванны, в пустыни бежать придется.

А мне как сие написать? Вот если бы лично, с глазу на глаз, если бы за стаканом пунша... густо дымя сигарой, не стесняясь в словах и выражениях, разъяснить Бенкендорфу, что курвой оказался цветок эдельвейс, что барышня еще с беспечного детства имела неодолимую склонность спать со своим папенькой и после венчания сию страсть не утратила. Что Карл — жертва, а никак не преступник, как принято теперь считать.

Как же гадко все выходит на бумаге и как просто, почти по-солдатски, можно было бы все рассказать Александру Христофоровичу!

Нет, боюсь, не получится у меня неприличные дела приличным манером излагать, да еще и на бумаге.

А что, коли государь поинтересуется относительно доказательств прелюбодеяния? Или свидетелей потребует? — Каких свидетелей?! Разве ж такому делу можно сыскать свидетелей, тому, что между мужем и женой или четой любовников происходит?

Повариху, я слышал, Эмилия сама нанимала, так что та показания против благотельницы не даст. Лукьян?.. этот вообще молчун, каких мало. А начнут учеников да друзей, которые в доме Брюллова днюют и ночуют, спрашивать. Так доброй половине этой публики веры нет, ибо соседи засвидетельствуют пьянство и гульбу непрекращающуюся. Пойдут грязным бельем трясти — не остановишь. А писать что-то нужно? Спасать Карла необходимо! Потому что в таком состоянии он не то что портрет Василия Андреевича не доделает, Тараса из неволи не вызволит, а вообще как бы чего над собой не сотворил, тоже ведь не чурка деревянная, с чувством человек, с понятием...

А тут еще эта компания, этот, прости господи, Михайлов! И что Карла тянет ко всякой сволочи?..

* * *

Из записок Петра Петровича Соколова, племянника К.П.

Брюллова:

Через год после неудачной женитьбы и шумного развода в доме Брюллова разразится очередной скандал. Григорий Карпович Михайлов обвинил Карла Павловича в том, что тот соблазнил его сестру. Но поскольку девица призналась, что вступила в эту связь добровольно и по любви, Григорий Карпович обещал не доводить до суда и не распространяться по поводу поведения своего наставника, профессора Карла Павловича Брюллова, в обмен на то, что дядя напишет ему две картины на те темы, какие Михайлов сам ему укажет. «Прикованный Прометей» на золотую медаль, и еще одну, героиней которой выступит непременно сестра Михайлова. Сюжет также был любезно предложен оскорбленной стороной. А именно: юная девушка, одетая в народный костюм, кается пред иконами в церкви.

Карл Павлович был вынужден согласиться, и его «Прометей» получил золотую медаль, дав Григорию Карповичу возможность выехать за границу. Вторая картина, «Девушка, ставящая свечу перед образом», была тоже выполнена моим дядей и затем подписана его учеником.

Запись в дневнике Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании:

Я действительно слышала широко известный ныне анекдотец относительно того, будто Карл Павлович написал две картины за своего ученика Григория Карповича Михайлова, дабы прикрыть таким образом грех. И хотя лично я не знакома ни с Григорием Карповичем, ни с его сестрицей, но видела обе картины и могу сказать, что они действительно написаны в брюлловской манере, но только и всего. Ученики обречены поначалу в чем-то повторять своего учителя, иначе какие же они ученики? В «Нарциссе» Брюллова явно читается его учитель Иванов... Если кого-то когда-нибудь будет интересовать мое мнение на этот счет, то я с уверенностью скажу, что господин Михайлов, по всей видимости, весьма талантливый копиист, но в скором времени, дай бог, мы увидим и другие его произведения, созданные уже его личным трудом и душевными страданиями, а не только желанием непременно подражать гению своего великого учителя.

Что же до пикантной истории, то... об этом я предпочту деликатно не распространяться, ибо не верю в нее с самого начала, потому как если бы и имела место амурная связь, Карл Павлович — достаточно свободомыслящий человек для того, чтобы не побояться общественного мнения и жениться вторично, пусть даже и на бывшей крепостной. Да, если бы он действительно любил девицу Михайлову, не знаю ее имени, он с презрением отринул бы общественное мнение и повел ее под венец. Если же этого не произошло, а после первой неудавшейся женитьбы Карл больше не вступал в брак, стало быть, никакой любовной связи здесь и не было.

Глава 14

...вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить.

Из письма Н.В. Гоголя А.С. Данилевскому, апрель 1837 года

— О, Италия... высокое голубое небо, спеющий на солнце виноград, вино, сыр, оливки... простая, часто бессмысленная жизнь. Там, где, казалось бы, еще вчера проходили знаменитые сражения, ныне пасутся коровы и звучит тихая свирель. Львов заказал картину «Эрминия у пастухов», я писал «Вакханалию». Каждый день маслом, сепией, акварелью, просто карандашом рисовал на улицах города или за городом. Здесь все интересно!

Начинал и бросал, вновь брался за кисть, но увлекали новые идеи, идей было много. Так много, что за жизнь всего не переделаешь; для памяти старался зарисовывать ускользающие картинки. Можно сохранить в памяти сюжет, а как быть с самим желанием писать? С охотой, которая пуще неволи? Как сохранить, отложить на завтра душевный пламень? Десятки начатых картин, и из них лишь «Дафнис и Хлоя» закончена и может быть представлена господам из Общества поощрения художников. Прошла итальянская зима, зима без снега, но пасмурная и прохладная, когда вдруг становится неуютно на улицах, и приходится подолгу сидеть с друзьями в остериях^[32], потягивая вино и то и дело поглядывая на небо, не проглянет ли солнышко. От стола в мастерскую или, завернувшись в плащ, идти смотреть старых мастеров. Приходится сокращать прогулки, временно отказаться от пейзажей и уличных зарисовок. То есть рисовать только в помещении, в противном случае можно подцепить навязчивую итальянскую лихорадку, которая донимает с закатом солнца.

Впрочем, шарф потеплее на шею, шерстяную или фланелевую фуфайку, тот же плащ — и вперед. Щедрин не пропускал ни одного дня, даже когда дул ледяной ветер. Героический человек! Я же в ту пору близко сошелся с князем Григорием Ивановичем Гагариным, знакомство с которым свел еще в Петербурге. Теперь же часто гостил у него в местечке Грота-Феррата — настоящим замке в двадцати милях от Рима.

Главное — успеть, поймать, сохранить. В Италии можно смеяться, падая от усталости на скамью дешевой харчевни, смеяться в постели с незнакомкой, радоваться жизни в нищете и богатстве. В России в то время было проблематично найти повод для безмятежной улыбки.

В домашнем театре у Гагариных ставили «Недоросля». Семенова играла госпожу Простакову, и как играла! Впрочем, она единственная из нас настоящая актриса, остальные же... не актеры — персоны более чем известные, кроме семейства самого князя — художники — академические пенсионеры, ваш покорный слуга в роли Вральмана! Карл вскакивает с кресла, шутовски раскланивается перед несуществующей публикой. Еремеевна — известный тебе Гальберг. Сын Григория Ивановича, Гришка, писал декорации. Можно сказать, почти что все сам сделал, я так, — он подмигивает, — на правах подмастерья, краски растирал.

Самого Гагарина писал дружески, и не один раз, потому как лицо уж больно выразительное, с сынишки его тоже портрет сделал. Не скрою, привязался я тогда к мальцу, вместе на этюды ходили, вместе красили, вместе легкое винцо из одного бурдюка потягивали, заедая свежими, только что испеченными лепешками. Красота! Портрет княгини Гагариной с сыновьями тоже весьма удался... хорошие были денечки, м-да... «Недоросль» отменно прошел. Все очень смеялись. Итальянский, ради которого весь сыр-бор и затевался, так веселился, что чуть с кресла на паркет не рухнул!

«Жаль, — говорил, — Денис Иванович сего спектакля не лицезрел и декораций дивных не видел». —

Он вновь подмигнул мне, очень довольный, что я понял его намеки правильно.

— А ведь он — Италийский — лет за двадцать до этого слушал «Недоросля» в исполнении самого автора! Знал, о чем судил.

Вообще спектакль этот ужасно смешной, потому как для каждого понятный. Помню, в Петербурге видел, как некоторые господа во время действия от полноты чувств кресла свои о пол в щепки разбивали! Право слово, вот так стояли и креслом о пол стучали. Даже те, кто до сих пор по Руссо своих деток воспитывает, улыбки сдерживать не умели. Потому как Денис Давыдович гениально по господину Руссо в этом произведении проехался, камня на камне не оставил. «Вот, — думаю я, — что коли мой папенька по этой методе нас с братьями да сестрами начал учить, что бы из нас вышло, когда сам Жан Жак пишет, что нельзя детей малых читать заставлять, а пушай мальчишки лет эдак до двенадцати живут на природе, бегают, играют и все себе примечают. Ага. Как Митрофанушка, который из деревни не вылазил и ничему до отрочества не обучался. Пусть мальчик сам наострится выводы делать! Что дверь, которая к сараю прилагается, это прилагательное, а та, что сама по себе существует — существительное. А Софья? Софья-то — мудрость? Так и вовсе дура блаженная — идеал девушки, воспитанной по Жан-Жаку Руссо!»

Тем не менее, портреты гагаринского семейства у господ Гагариных и остались, мне же всенепременно нужно было что-то сотворить для Общества поощрения художников. Вот только что?

Пусть теперь говорят, что я специально тянул, слезно моля подарить сюжет из отечественной истории, в то время как ничего подобного в Риме делать не собирался, а только для вида. Но только в то время я как думал? Сюжеты из отечественной истории очень хорошо шли именно в России, и чтобы доказать, что я не за пустяками в Италию явился, что не на гулянки деньги Общества перевожу, а дело делаю, нужно было писать либо что-то патриотическое либо из Священного Писания. Впрочем, греческие мифы тоже неплохо шли. Но в любом случае хотелось, чтобы они сначала одобрили выбор, а уж потом малевать.

Попадались ли тебе, Петр, «Отечественные записки»[\[33\]](#)?

Я кивнул, не желая прерывать увлекательный рассказ Карла.

Была там, не помню уже, в какой статье, строка, не дающая мне покоя: «Живописец и Ваятель — не менее Историка и Поэта могут быть органом патриотизма»[\[34\]](#). Каково?!

Даже не знаю, — я пожал плечами, — признаться, мне никогда не нравились излишне напыщенные, словно украшенные орденскими лентами и бантами фразы, но этим мы, должно быть, и отличались с Карлом.

Впрочем, я все время надеялся, что они мне сами поручат тему выбирать. Чтобы от души вышло. А они... ну, не мог я писать русскую тему, смотря на развалины Колизея. Тут ведь все едино с природы работать надо, не как-нибудь. Нешто я помню ту же Псковскую крепость или знаю до деталей, как выглядят настоящие московские шубы? Ну да на подобные предложения у меня всегда наготове мнения Торвальдсена и Камуччини имелись, которые я сам и изготавливал, дабы сих гениев лишней раз от дел не отрывать.

Предложит Общество, скажем... «Иисус благословляет детей», а я им в ответ: «Камуччини не советовал», так они больше с вопросами и не лезут, новую тему обсуждают. Решат, а я уже им в ответ торвальдсеновские слова, якобы им произнесенные, пересказываю.

— Только ты это не записывай, Петя, потому как обидятся.

Глава 15

Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы её представить себе. О, если бы вы взглянули только на это ослепляющее небо, всё тонущее в сиянии! Всё прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево — дело природы, дело искусства; всё, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам всё изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к небу.

Н.В. Гоголь (письмо к Плетнёву)

— Италия! О, эта вечная строптивница Италия! Уже не революционная, украшенная трехцветными кокардами и поясами. Теперь в Италии каждый мог оказаться под подозрением в крамоле. Дай оплеуху не соображающему с бодуна слуге, и он донесет на тебя как на завязанного мятежника. Доверь письму пару более-менее смелых фраз, обнаружь знания, о которых не подозревает сельский священник, — и тебя снова вяжут и препровождают в тюрьму.

Те, кто еще вчера, красуясь, восклицал, что Бога нет, спешно заказывают художникам малевать на стенах их домов образ Мадонны. А те именно малюют: быстро, плохо, убого. Но этого никто не замечает, цель в другом. К кое-как написанному образу приглашают волынщиков пифферари, чтобы те погудели некоторое время подле, привлекая внимания соседей. Мол, в этом доме живут набожные люди, оттого и концерт посреди белого дня, оттого и маскарад в плащах и сырмятной, воняющей сыром обуви.

Для того чтобы угодить за решетку, достаточно быть на кого-то похожим, по слепоте не перекреститься на храм, иметь в своем багаже книгу, автора которой не знают местные стражи порядка...

Страшно быть пришлым, иностранным подданным, потому как на тебя смотрят уже не как на богатенького пенсионера, а как на возможного шпиона, специально подосланного провокатора.

Ничего особенного не делай, просто зайди в остерию, в которой никогда до этого не был, и закажи любимые макаронны с морскими животными. Тебя встретят с каменными лицами и все время, пока ты ешь, будут креститься и молиться, чтобы поскорее убрался, так что кусок в горло не ползет.

Русские старались держаться среди соотечественников, проводя время в кафе Греко, где часто бывали посольские и можно было первыми услышать вести с Родины. Там же, на стойке у хозяина, располагался небольшой ящик, куда складывали письма для русских пенсионеров, обосновавшихся в Риме. Ходили слухи, будто спешно присланный из России шестидесятилетний ландшафтный живописец Мартынов служит соглядатаем, в обязанности которого входит докладывать о любых разговорах или поступках, происходящих при нем.

Мартынова старались избегать и в его присутствие не откровенничали, но ведь кроме него были и другие соглядатаи, и что значительно хуже — провокаторы! Таковым числился некто Матвеев, тоже в летах, и также ландшафтный живописец.

Томно курили сигары, попивали винцо, разговаривая о поэзии и живописи, в полголоса обсуждали последние политические новости. Все старались так или иначе свести знакомства с господами из

посольства, а то мало ли чего... заступятся за знакомя перед властями, не получится, отпишут о произволе государю... Итальянский рапортом докладывал о благонадежности каждого проживающего в Италии художника. Милости посланника не был удостоен единственно Кипренский, и как следствие у него сразу же по приезде в Россию начались проблемы. Понимая это, все стремились, так или иначе, подольститься к Итальянскому.

В один из таких неспешных вечеров пришло скорбное известие о смерти государя Александра I, после чего поступил приказ присягать императору Николаю. Тут же, собравшись по-военному спешно, отбыл в Россию для исполнения обязанности церемониймейстера при коронации нового государя князь Григорий Иванович Гагарин. А в России статс-секретарь Петр Андреевич Кикин подал в отставку. Я слышал, что новый государь не хотел отпускать Петра Андреевича, но тот согласился оставить за собой лишь свое любимое детище — Общество поощрения художников. На прощание государь обнял его, пожаловав орден Андрея Первозванного.

Уже будучи на покое в своем доме, Кикин получил наконец ящик с моей картиной «Итальянское утро».

Возможно, это и не бог весть какое событие — доставили картину пенсионера Общества поощрения художников Карла Брюллова, но для меня это действительно важно. Ведь об Италии можно говорить и плохое, и хорошее. Вот Глинка написал: «Белеют пышные остатки колоннады, Разбросаны обломки алтарей»^[35]. Мы привыкли ездить в Италию, учиться у древних, у мертвых, смотреть назад. Даже не на прошлое, на скелеты прошлого... Но Италия — это не только руины. Можно и вот так: утро, нежная девушка умывается в саду. И это тоже будет Италия. «Душа полна возвышенного чувства И на классических развалинах искусства С веками говорит». Можно, конечно, и так, можно и на развалинах, а можно тем же развалинам дать новую жизнь...

Тогда еще многие говорили, что художник должен сохранить в истории время, коему стал он свидетелем. Интересная мысль. Мне пеняли и, пожалуй, еще пенять будут, что не отразил я тогда ни наводнения, ни гибели генерала Милорадовича подле строящегося Исаакиевского собора, на глазах у застывшего, точно на картине, войска. Генерал был в парадном мундире с голубой лентой через плечо. Полагаю, что напиши я это — получилось бы великолепно. Возможно, следовало написать и землекопов, что у того же Исаакия прогоняют конногвардейский эскадрон камнями, и проруби напротив Академии, куда ночью тайно спускали трупы и раненых. Рассказать о ядре, оставившем вмятину на уровне третьего этажа в альма-матер. Но... я ведь не видел ничего этого!

Забавно, что через много лет поисков и незаслуженных упреков в мелкотемье вдруг узнаю, что не я один ратовал за искусство нового века, отличное от классических образцов века минувшего. Вот как писал о том же Виктор Гюго: «Шлейф восемнадцатого века волочится еще в девятнадцатом, но не нам, молодому поколению, нести его».

Правительство закрыло для нас с Александром мятежный Париж! Чему бы научили нас стремящиеся разорвать любые цепи, взорвать любые каноны вольнолюбивые французы? Но дух нового незримо витал повсюду, так что мы, будучи живыми людьми, просто не могли не изменяться, продолжая расти.

* * *

В Неаполе Александр писал акварельные портреты членов королевской семьи, за что перед ним были теперь открыты все двери; в Помпее ему разрешили рисовать все, что заблагорассудится! Поясняю, что, согласно указу, не помню, за каким номером, в Помпее разрешали копировать и снимать чертежи лишь с тех памятников, изображения которых были на тот момент уже опубликованы.

«Я вижу огненные реки... Они стремятся, разливаются или поглощают все встречающееся и не находят препон своему стремлению. Меж тем дождь песку, золы и камней засыпает пышную Помпею. Я отвращаю взор свой от сего ужасного зрелища, встречаю... сторожа, старого инвалида: мечта исчезает... Все заставляет меня переноситься воображением в первый век, но каждую минуту должен вспоминать, что живу в 19 столетии...», — писал из Помпеи Сашка.

В другой раз он обещался ехать со мной в Помпею, уже ждал милостивейшего разрешения Общества на поездки в Париж и Лондон для изучения искусства литографии. Он мечтал сделаться императорским архитектором, о чем по наивности своей даже написал Кикину в надежде получить благословение. Но в итоге заслужил лишь строгую отповедь с рекомендацией сидеть тихо на своем месте, не замахиваясь на подобные прожекты.

Впрочем, Сашка не обиделся, занялся тщательнейшим копированием помпейских бань и всячески делал вид, будто бы никогда и не тщился покорить Олимп. Рисунками этими он рассчитывал снискать себе славу и добиться новых милостей.

Помню, уже после Львова в Помпею возила меня графиня Мария Григорьевна Разумовская — пожилая, набожная дама в огромной темной шляпе с лиловыми лентами, из-под которых торчал ее горбатый, невероятных размеров нос, и широкими юбками, которыми, казалось, она способна смести в одночасье развалины древнего города. Было нестерпимо жарко, воздух дрожал и никакой тени... пот лился ручьями, рубашка под сюртуком давно намочка. Графиня же летела вперед, то и дело, размахивая руками, с деланным энтузиазмом пытаюсь зажечь и во мне творческий огонь, заразить, заставить влюбиться в Помпею...

Делала она это оттого, что желала заказать мне «Последний день Помпеи», название, почерпанное из одноименной оперы Джованни Пачини, но... впрочем, это была не ее идея. Тогда я уже знал, что напишу «Помпею», и даже начал делать эскизы.

Стоя спиной к городским воротам, чтобы перед глазами был Везувий, я намечал контуры своей будущей картины [\[36\]](#).

Юноши, несущие парализованного старика-отца, художник с ящиком красок. Всадник, пытающийся выбраться из города и оттого летящий, не разбирая дороги... Мертвецы ожили, рассказывая о событиях, коим они стали невольными свидетелями. Перед глазами стояла картина последнего дня жизни древнего города. Я мог начать рисовать прямо сейчас, сначала отдельные портреты и группки, потом... Убежден, что лица мало чем изменились с тех пор. Итальянский тип, может, несколько мавров... всех этих людей я мог отыскать на улицах Рима, но не было главного — с самого начала я видел женское лицо, то самое, что снилось мне еще в детстве, когда я сидел на куче горячего песка совсем один. Той, вместе с которой я пылал в черном небе Мюнхена. Мне была нужна, необходима одна определенная женщина, чем-то напоминающая девушку из «Итальянского утра» и еще ту, что я нарисовал в «Полдне». Она... ее лицо... ее волосы и глаза преследовали меня долгие годы. Она поднималась на цыпочки, чтобы сорвать спелую гроздь винограда, она... а, что я говорю. Юлия Самойлова ворвалась в мою жизнь, подобно солнечному вихрю, пришла, чтобы повернуть в удобную ей сторону самую судьбу, украсть жизнь и уготованную судьбу, подарив взамен нечто большее.

Часть вторая

ДИКАЯ БОГИНЯ

Глава 1

Ей нет соперниц, нет подруг,
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает...

Л. С. Пушкин

Юлию Павловну Самойлову в свете не любили и по возможности сторонились. Уж слишком непохожа, горда, своевольна, красива, чертовски богата была графиня! С детства она не знала запретов и жила балованным, своевольным ребенком, знавшим цену своим черным кудрям и хорошенькому личику. Живя в ласке и полной безнаказанности под крылом любящего ее деда. Впрочем, деда ли?

Графиня Юлия Самойлова происходила из рода Скавронских, и через Екатерину I находилась в родственных отношениях с правящей династией. Доподлинно известно, что ее дед по отцовской линии — граф П.А. Пален — был замешан в заговоре и убийстве Павла I, а отец... скандал хоть и был более-менее замат родственниками, но все же вышел наружу, влюбившись в юную Марию Скавронскую, генерал Павел Пален, похитил ее без согласия родителей и, возможно, самой напуганной избранницы.

Невероятную по своей авантюризму и дикости историю наспех прикрыли скороспелым браком, а через некоторое время, во время военного похода, в простой крестьянской избе молодая жена разрешилась от бремени очаровательной девочкой, которую называли Юлией в честь отчима Марии Скавронской — Юлия Помпеевича, графа Литта.

Всем был хорош генерал Пален, был он бравым военным, решительным и сильным мужчиной, тем не менее, молва отчего-то упорно не желала признавать его отцом маленькой Юлии, приписывая, сей подвиг ее итальянскому деду Джулио, или, как здесь говорили, Юлию Литта, вице-адмиралу, рыцарю Мальтийского ордена, заслужившему многие почести при государе Павле.

Пален и сам не любил дочери, считая супружницу изменницей и постаравшись как можно быстрее отделаться от последней. И правда: откуда у белокожих и светловолосых родителей могла появиться дочка — яркая брюнетка со смуглой кожей и средиземноморским типом лица? Пален обвинил Юлию Помпеевича.

Впрочем, того уже обвиняли в преступной связи с Екатериной Скавронской, состоявшей на тот момент в браке с Павлом Мартыновичем Скавронским. Случилось это, когда Павел Мартынович был направлен послом в Неаполь, и вместе с ним в Италию приехала его очаровательная супруга — Екатерина Васильевна. Там-то она и влюбилась в красавца Литта, по слухам, родив от него дочь Марию, в дальнейшем мать Юлии.

Когда же Господь призвал к себе Павла Мартыновича, Екатерина Васильевна написала в Италию своему любовнику, и тот приехал в Россию, чтобы жениться на любимой женщине и остаться с ней навсегда.

Впрочем, неважно, отцом или дедом прекрасной Юлии был граф Литта. Важно то, что он оставил ей практически все состояние Литта и Висконти.

* * *

Когда Юлии исполнилось пять лет, Мария Пален предоставила ее заботам Юлия Помпеевича и уехала в Париж, где мыслила посвятить жизнь музыке и пению, развелась с Паленом и вышла замуж за генерала Адама Петровича Ожаровского.

Дед не чаял души в очаровательной малышке, непрестанно балуя ее и не пытаясь внушить ей общепринятые вкусы, а единственное заклиная иметь на все свое собственное мнение и не бояться высказывать его. Вкус у Юлии был отменным, а стало быть, к чему ей следовать модной дурновкусице, когда маленькая Пален в состоянии и сама диктовать моду.

Кто сказал, например, что горностаевая мантия и бриллиантовая диадема в прекрасных черных волосах — удел одной только государыни императрицы?! Когда Юлия Пален, с ее статной, воистину царственной фигурой и смуглой, оливковой итальянской кожей затмит любую напудренную придворную даму? Отчего же молчать ей, когда есть что сказать и рассказать. Да так, что и не хочешь, а заслушаешься! Засмотришься да заслушаешься, так что вдруг позабудешь, что рядом пышут злобой первые красавицы и скучает всеми покинутая ее величество.

Неудивительно, что придворные дамы распускали о Юлии Павловне самые нелицеприятные слухи, моля бога, чтобы тот наказал заслужившую все кары небесные фрейлину Ея Величества, графиню Юлию фон Пален-Литта, последнюю Скавронскую. Впрочем, ее жизнь отнюдь не была столь уж безоблачна. Молва упорно приписывала ей романы то с одним, то с другим вельможей, пока наконец, все не сошлись на том, что Юлия обольстила самого государя. Роман был недолгим, но ярким и бурным. В результате Юлия была вынуждена на некоторое время оставить свет, явившись ко двору, уже потеряв страстную привязанность своего венценосного любовника и раз и навсегда утратив способность иметь когда-либо детей. Юлии тогда исполнилось двадцать пять лет.

Тогда-то императрица позаботилась о том, чтобы как можно скорее выдать соперницу замуж за полковника, графа Николая Александровича Самойлова, убрав ее, таким образом с глаз долой. Выбор жениха был странен уже потому, что всего за какой-нибудь месяц до свадьбы Николай Александрович привлекался к следствию по делу декабристов (в частности, упоминался в показаниях Никиты Михайловича Муравьева) и имел все шансы разделить печальную участь своих друзей. Но... вот же странность — вдруг совершенно неожиданно его явная причастность к заговору по Высочайшему повелению была оставлена без внимания, а его имя из дела Муравьева просто исчезло. Мало этого, ему было милостивейше разрешено жениться на первой красавице и фрейлине Ея Величества, что скорее походило на подкуп, нежели на что-либо иное. Поговаривали, будто Александр I пристроил, таким образом, свою бывшую любовницу, дабы избежать публичного скандала и дальнейших семейных ссор.

Сплетня укреплялась, день ото дня обрастая новыми и новыми подробностями. Прекрасная, на первый взгляд, пара, но Юлия Павловна и Николай Александрович были холодны и абсолютно равнодушны друг к другу. Поговаривали, что Николай Александрович любил другую даму^[37], жениться на которой не позволила ему его вздорная матушка. Мало этого, игрок и пьяница, он проигрывал свое и ее состояние в винт ночи напролет, вместо того чтобы наслаждаться подле прекраснейшей женщины.

Через два года после венчания супруги развелись по обоюдному согласию, и Юлия с остатками своего приданого вернулась к отцу. Тем не менее, они продолжали встречаться, ведя непринужденные дружеские разговоры и совместно участвуя в обедах и праздниках, так что придворным кумушкам оставалась только догадываться об истинных отношениях бывших супругов. Впрочем, долго сплетничать не удалось, так как вскоре после развода граф Самойлов был отправлен в действующую армию генерала

Ивана Федоровича Паскевича.

Обо всем этом мог поведать мне сам Карл, но он этого не сделал, да я и сам все знал. Они познакомились, когда уже после развода Юлия Павловна отправилась в Италию.

1827 год, Рим, салон Зинаиды Волконской. Там они повстречались в первый раз, удивившись: она — тому, что до сих пор ни разу не видела знаменитого Карла Брюллова, он — тому, что всю жизнь искал именно ее. Слабыми отражениями прекраснейшей из женщин воспринимались итальянки с его полотен: «Итальянское утро», «Полдень»... — все его модели похожи на эту таинственную, прекрасную, точно солнце, женщину, но все же не то. Копии, тени, а он ждал именно ее. Почему же не раньше? Почему же именно теперь?

Картина «Последний день Помпеи» не могла состояться без божественной Юлии. Ее — женщину, о которой он грезил во сне и наяву, Карл должен был писать. И Юлия появилась, сметая все на своем пути, — яркая, властная, сотканная из мрака и огня[38].

Вместе, рука об руку, они бродили по развалинам Помпеи, мечтая когда-нибудь соединить свои судьбы. Впрочем, их судьбы были непросто соединены, они срослись, сплывались в единое целое. По просьбе Юлии Павловны Александр Брюллов построил ей роскошный дом в имении Графская Славянка под Петербургом и Дворец на Елагином острове, строил для прекрасной заказчицы и своего везучего брата, чьи вкусы и замечания он тоже учитывал.

Почему же нет? Почему же не Юлия Павловна сделалась в конечном итоге женой Карла? Почему, бежав от нее, как бежали помпейцы от разбушевавшегося Везувия, он угодил в сети Эмилии Тимм, из-за которой теперь на него свалились все кары небесные? И главное, где теперь коварная Юлия? О чем она думает в своем Риме, Париже или на Сицилии? Неужели не чует своим прославленным женским чувством, что он — ее Карл, ее и только ее Бришка умирает здесь без нее?

* * *

Внезапно Карл объявил, что вынужден приостановить работу и спешно покинул меня, ничего толком не объясняя. Немало удивленный и смущенный подобным поворотом дел, я проводил его до дверей. В прихожей, теребя в руках старую шляпу, Карла дожидался один из его учеников — коренастый и грубоватый Гришка Михайлов, которого я настоятельно просил Брюллова не приводить в дом, хотя бы когда там находится мое семейство.

Коротко поклонившись мне, Михайлов криво ухмыльнулся и тут же бросился шептаться с Брюлловым, то хватая его за одежду, то чуть ли не повисая на плечах. Все это было более чем неприятно. И окажись на месте матерюжника Михайлова кто-то другой — тот же Илья Липин или даже Аполлон Мокрицкий, тоже неприятнейшая, в сущности, личность, то им хотя бы можно было сделать замечание. Карл был не менее моего смущен бесцеремонностью своего ученичка; несколько раз он беспомощно пытался что-то сказать мне, но всякий раз нахальный Гришка шипел на него, заговорщицки ухмыляясь и подталкивая Брюллова к дверям. В результате они запутались в бархатной шторе и, сорвав ее, повалились на пол одним сопящим и ругающимся клубком.

— Прости, Петя, тут такое дело, — наконец Карл вырвался из навязчивых объятий Михайлова и, грубо отпихнув его, подполз ко мне. — В общем, я сам толком не понял, но вот он говорит, будто бы Тарас Григорьевич только что пытался покончить с собой!

Я ахнул, а Гришка, взяв Карла за плечи, делал отчаянные попытки поставить последнего на ноги.

— Сейчас он у Жуковского, в жутчайшей меланхолии, и... в общем, каждая минута дорога.

Я сам проводил их до извозчика, на котором приехал Михайлов, и остался ждать новостей.

Да, скорее всего, устал ждать бедный Тарас, когда Карл с друзьями соберут для его выкупа 2500 рублей, да и скрутил для себя петельку. Дело-то нехитрое... хотя не по-христиански как-то. Впрочем, не исключено, что никакой попытки и не было, а только крик один.

Вообще, Тараса Григорьевича мне по-человечески жалко, и, наверное, было бы правильно сейчас одеться и поехать к Жуковскому, но кто меня туда звал? К тому же я представил, сколько там уже собралось по этому поводу народа. Наверняка все ученики Карла, и первым — вездесущий Мокрицкий. Вот ведь прилипала эдакая. Свинью легче живописи выучить, нежели этого лодыря и красатулю, как он, по всей видимости, сам себя величает. Мнит о себе черте что, прилюдно называет себя первым учеником Великого Карла, а на деле Брюллов держит его единственно оттого, что тот читает ему да за вином бегаёт. Нет, чтобы взять к себе в мастерскую Федотова, Павел Андреевич хоть и бедней церковной крысы, но таланта в нем... любого из учеников Карла за пояс заткнет, но и собой помыкать не позволит. Из офицеров, понимать надо. Так нет же, Карл окружил себя бездарями и лентяями. Впрочем, это чисто мое мнение. Тем же вечером зашел Лукьян с запиской. Занятый в мастерской, Карл Павлович просил меня зайти, коли я не слишком окажусь занят. Что же... вечернее время у меня обычно посвящено семье да друзьям. Сегодня же я ждал его, дабы продолжить начатую работу. Но, должно быть, действительно важное дело, раз сам зовет.

Я оделся, взял с собой записи и вышел из дома. Красные окна брюлловской мастерской были далеко видны, мне всего несколько шагов до него, рукой подать.

Я застал Карла за заполнением каких-то бумаг. Впрочем, делал он это не на столе. Как обычно, стол был завален рисунками, а на ступеньках лестницы, ведущей на антресоли, где располагалась спальная комната.

Как выяснилось, подготавливал документы для лотереи. У нас при дворе любят лотереи. Самая забавная из них выглядит так: собирают некоторое количество дорогих вещей: подсвечники, искусно сделанные пряжки для ремней и тувель, веера, перчатки, сервизы, прочее; каждому предмету соответствует игральная карта. Точно такие же карты, но без указания, какая что обозначает, выставлены на продажу.

Так получается, что пришедшие на лотерею видят вещи и силятся догадаться, какая карта принесет своему владельцу красивую вазу, а за какой записана пепельница работы известного итальянского мастера. Правда, те, кому сама судьба пожелала подфартить, заранее уведомляются, на какую карту следует ставить, дабы не проиграть.

На такую лотерею с заранее известным выигрышем и надеялись Карл и Василий Андреевич. Предполагалось, что портрет Жуковского работы Брюллова пойдет за решающие две тысячи пятьсот. Эта сумма спасла бы Тараса Григорьевича, подарив ему долгожданную свободу.

Портрет был готов, но Карл то и дело возвращался к нему, уверяя, что понял, как сделать его еще лучше. И, то уверяя, что осталось нанести несколько последних мазков, то вдруг обнаруживая, что на самом деле портрет еще даже не начинался и срочно нужно вызвать в мастерскую Василия Андреевича и писать заново, но теперь уже совсем в другой манере.

После таких слов все немедленно бросаются уговаривать Карла закончить портрет, потом Мокрицкий бежит в лавку за штофом и разнообразными заедками вроде икры и лососины, компания кушает. Карл понемножку успокаивается и начинает смотреть на свое творение более снисходительно. После легкой трапезы вся компания устремляется в «Золотой якорь», дабы Брюллов позабыл хотя бы на какое-то время о своей идее переписать портрет.

Забегая вперед, могу сообщить, что лотерея состоялась, портрет Василия Андреевича был выставлен на мольберте среди других, добытых для розыгрыша предметов. Под раму была подложена бубновая четверка.

Проводить лотерею поручили самому Василию Андреевичу, но даже это не спасло дела. Портрет принес всего тысячу рублей и ни копейкой больше.

Сразу же после злополучной лотереи вся компания отправилась к Брюллову, где уже был накрыт праздничный стол. Карл рассчитывал, что если на портрет не раскошелится наследник Александр Николаевич, как-никак портрет любимого наставника, то это сделает сама императрица, то есть был убежден в полном успехе. Теперь же он, стараясь не выказывать свой досады, предложил устроить еще одну лотерею — среди своих. Я присутствовал и на лотерее, и после нее в мастерской Брюллова, проголосовав за вторую попытку. В конце концов, Шевченко был широко известен в среде художников и особенно в окружении Карла, а значит, на его спасение многие согласились бы пожертвовать хоть сколько-нибудь денег.

Означенное мероприятие провели, не откладывая, через несколько дней после первой лотереи, и на этот раз сумма была собрана. В результате 22 апреля 1838 года Тарас Григорьевич Шевченко получил отпускную, которую засвидетельствовали: действительный статский советник и кавалер Василий Андреевич Жуковский; гофмейстер, тайный советник и кавалер граф Михаил Юрьевич Виельгорский; профессор восьмого класса Карл Павлович Брюллов.

И через три дня в мастерской Карла вольная была вручена самому Шевченко.

* * *

Размышляя над событиями тех дней, я подумал, что, если бы можно было рассказать в составляемом мною письме о том, как Карл Брюллов спасал Тараса Шевченко, каких ему это стоило сил и душевных мук, любой, даже самый строгий и взыскательный, судья непременно расчувствовался бы и, пожав художнику руку, отпустил бы его с миром. Но самое обидное, что после декабрьских событий памятного 1825 года как раз этого и не следовало делать. Внося свой скромный вклад в дело освобождения Тараса Григорьевича, я улучил мгновение, когда Карл ненадолго оказался один, и поспешил выразить свой восторг по поводу его вклада в это дело. Некоторые знакомые и, насколько я знаю, даже родной племянник Брюллова, господин Соколов, считают Карла человеком прижимистым. Представляю, как бы вытянулись их лица, узнай они, что он специально нарисовал портрет размером 110 на 83 сантиметра маслом, чтобы отдать его за свободу человека, который не был даже его родственником!

Впрочем, недавно Карл писал портрет Уленьки, очень удачный, на мой взгляд, портрет, заключенный в овал, и тоже не взял с нас ни копейки... да и это было далеко не в первый раз. Непостижим наш Карл. Непостижим и велик!

Вместе с вольной Василий Андреевич Жуковский преподнес Тарасу Григорьевичу четверку бубен. Не знаю, рассказал ли кто-нибудь до этого Шевченко историю лотереи во дворце, но он крепко сжал в кулаке карту, так, словно поэт вручил ему некий судьбоносный символ.

Что же до портрета Жуковского, то он стоял в это время на почетном месте в мастерской, и любой желающий мог разглядывать его, сколько душе будет угодно.

По словам самого Карла, получив деньги за лотерею и весьма огорчившись, что их оказалось меньше, нежели планировалось вначале, Брюллов забрал и портрет, уверив императорскую семью, будто бы картина нуждается в незначительной доработке, и будет возвращена во дворец по первому же

требованию.

Теперь ее копировали все ученики Брюллова, Карл же был очень доволен своей выдумкой, благодаря которой Шевченко получил свободу, а портрет вернулся в родные стены.

Глава 2

Желая немного развлечь Карла, мы всей семьей, то есть: я, Уленька, Миша, Маша и Саша, взяв с собой Леночку Солнцева, Жорку и приехавших к нам на несколько дней жену моего брата, Катрин^[39], с племянником, шестилетним Мишенькой, предприняли прогулку к дому родителей Брюллова на Васильевский остров, где ныне живет его брат Федор с супругой и сыном Николаем. Между Третьей и Четвертой линиями мы увидели маленький домик с садом, за которым когда-то, должно быть, ухаживала маменька Карла.

— В 1799 году, за несколько месяцев до моего появления на свет, отцу было отказано от места в Академии. Класс резьбы по дереву был расформирован и сама должность упразднена. Нет службы — не будет и казенной академической квартиры. На скопленные сбережения отец купил этот домик, став таким образом петербургским домовладельцем, — неспешно начал свой рассказ Карл.

Должно быть, Уленька предположила, что сейчас Карл пригласит всю нашу компанию осмотреть родовое гнездо, но тот вдруг стушевался, умоляя продолжить прогулку и не желая беспокоить родню.

Мы удалились так быстро, что можно было подумать, будто спасаемся бегством. Леночка и Катрин были удивлены и растеряны, мы же с Уленькой только и могли, что понимающе переглянуться — семья не жаловала Карла. Об этом следовало подумать особо, потому как, если начнется судебное разбирательство по поводу развода Карла и Эмилии, как бы эти, так сказать, близкие к гению люди — его родственники — не наговорили на него напраслины. Я уже неоднократно слышал о грязных сплетнях, распространяемых племянником Карла, Петром Петровичем Соколовым, сыном его сестры Юлии.

По Четвертой линии мы вышли к Академии и затем оказались на набережной с недавно установленными на ней сфинксами. Сфинксы были найдены во время раскопок в Фивах в двадцатом году, оттуда их доставили в Александрию для продажи. Покупателем от имени своего правительства выступил французский посланник, тем не менее, сфинксы были перекуплены у него в 1831 году Александром Николаевичем Муравьевым для России. Вопрос сделки и цена была указана во всех прогрессивных газетах — 64 000 рублей, с одобрения Академии художеств и по решению императора Николая I. После чего египетские красавцы были бережно доставлены на берега Петербурга.

С этими сфинксами у меня лично случилась понятная досада, ибо изначально было решено украсить набережную конями. Для этого дела по проекту Константина Андреевича Тона расширили пристань, были поставлены постаменты, на которые я по заказу должен был водрузить бронзовые фигуры коней с укротителями. Но в последний момент, когда скульптуры, можно сказать, уже дышали и кони били копытами, вдруг выяснилось, что на отливку их из бронзы в казне попросту нет денег. Мне были принесены всяческие извинения и заверения в том, что, быть может, лучшее произведение моей жизни не пропадет, и через пару-тройку лет для моих жеребчиков отыщут более достойное место. Пока же на их постаменты взгромоздилась пара египетских чудищ, а пристань украсили бронзовыми светильниками и грифонами, отлитыми по моделям господина Геде. Произошло это в 1834 году, приблизительно за год до возвращения Карла из Италии, не то боюсь, он бы встрял в обсуждение и, пожалуй, учинил скандал. Потому как — ладно, мои кони с укротителями, найдется для них место, точнее, уже нашлось на перестраиваемом ныне Аничковом мосту, но каких сил стоило сбить спесь с Огюста Монферрана, коего наш любезный Карл именует не иначе, как Август Августович, и который чуть было, не выторговал себе установку там же, на набережной, огромной статуи бога Осириса, дабы сфинксам не скучно было одним под недобрым серым небом.

Впрочем, на сфинксов я поворчал, поворчал, а потом и привык. Они отлично вписались в ансамбль, и

грифоны на месте — ни отнять, ни прибавить. Пожалуй, даже лучше, чем мои кони... и теперь мы с женой и детьми нет-нет, да и заходим поглядеть на этих чудищ. Хотя какие они чудища? За пять лет глаз привык к ним, как к чему-то родному. Так что теперь, кажется, прикажи государь спешно убрать сфинксов с пристани и воздвигнуть моих коней, так я собственное детище молотком в мастерской разобью, а сфинксов трогать не позволю. Привык, полюбил...

Пока мы любовались каменными сфинксами, дети по очереди запихивали ладошки в пасти грифонам, загадывая желания. Мы — пятеро взрослых — наблюдали за ними с понятной снисходительностью.

Вот ведь, каких-нибудь пяток лет — и традиция сложилась. Можно сказать, на глазах. И если для нас это всего лишь блажь, то детям уже кажется, что и фивские сфинксы выросли не иначе, как из невского гранита, и грифоны стояли здесь с былинных времен...

— С грифонами на Невской набережной произошла вот такая штука, — придерживая подол клетчатой юбки, Уленька оперлась о руку Карла, обходя огромную лужу. Я остановился, пытаюсь урезонить расшалившихся детей и подталкивая их к желающей рассказать нечто занимательное матери. — Ты уж прости, Петечка, что досаждаю нашему другу историей, которую ты считаешь малозначительной и, возможно, не стоящей его внимания. Я же, когда все случилось, посчитала происходящее возмутительным, о чем и желаю поведать.

Она замолчала, как бы давая нам возможность согласиться выслушать историю или отказаться от нее, после чего мы все немедленно попросили ее продолжить. При этом зная об упомянутом происшествии Леночка подтвердила, что история действительно занимательная, что же до Катрин и Карла, то им предстояло услышать ее в первый раз. Вообще Уленька — замечательная рассказчица, а события, о которых она собиралась повествовать, хоть и не являлись лично для меня чем-то значительным, но могли отвлечь от печальных мыслей Карла. Что же до детей, то они во все времена обожают слушать одно и то же.

В общем, грифоны потерялись. Произошло это аккурат перед установкой сфинксов. Кто-то из знакомых предположил, что-де валяются где-нибудь на складах в ящиках, на которых все, что угодно, писано, но только не «грифоны», а посему найти невозможно.

Может, и так, а может, улетели, сердешные, на чью-нибудь дачу, прости господи, коли ошибаюсь, — лихо, заломив шляпу, ответственвал Карл, после чего все начали обсуждать техническую возможность грифона улететь в неведомые края.

За возможность летать особенно ратовали Маша и Миша, которые, хватаясь за мощные крылья грифона, утверждали, что на таких крыльях — милое дело улететь и в Африку, и в Египет, если появится желание.

— Да уж, грифон, конечно, не такой зверь, чтобы бесследно исчезнуть мог, но все же..., — довольная произведенным ею эффектом, продолжила Уленька. — В 1834 году даже судебное дело по этому поводу было заведено за номером 1420 «О претензиях бронзовых дел мастера Геде относительно изготовленных им канделябр и грифов для Невской гранитной набережной». Впрочем, суд хоть и пытался, да вернуть пропажу все равно не мог, посему приняли решение восстановить грифонов. Дело же это поручили молодым архитекторам Бенуа и Полякову. Те с работой справились отменно, после чего грифоны были отлиты в мастерской Академии художеств и смонтированы за одну ночь...

Всем история чрезвычайно понравилась.

Глава 3

О, Италия! Чья рука вырвет меня отсюда? Что за небо! Что за дни! Лето — не лето, весна — не весна, но лучше весны и лета, какие бывают в других углах мира. Что за воздух! Пью — не напьюсь, гляжу — не нагляжусь. В душе небо и рай. У меня теперь в Риме мало знакомых, или, лучше, почти никого. Но никогда я не был так весел, так доволен жизнью.

*Из письма Н.В. Гоголя А.С. Данилевскому, 2 февраля 1838 года
из Рима*

— В 1828 году вошли в моду поездки в Помпеи, так как тихо курящий во сне Везувий вдруг задымился сильнее обычного, отрыгнул вверх столб пепла и дыма, потекла лава, и началось небольшое землетрясение. И, разумеется, едва слухи о происходящем достигли Рима, как тотчас же все общество понеслось в окрестности Неаполя, дабы своими глазами узреть, возможно, гибель очередного города. Желавших было столько, что я едва сумел купить билет в карете, где и сидел, стиснутый с двух сторон устроившимися более удобно, нежели я, пассажирами. — Продолжил рассказ об Италии Карл, едва мы добрались до дома, — всего в карете ехало шесть человек. Извозчики, кучеры и вся эта охочая до денег публика здорово заработали в те дни, без зазрения совести поднимая цену.

Впрочем, пока мы ехали, Везувий прекратил плевать лавой и серным дымом, погрузившись в новый сон. Я же остановился в Неаполе, где лечился на водах Сильвестр Щедрин. Впрочем, все его лечение заключалось в том, что он два или три раза в день потреблял пахнущую тухлыми яйцами воду, в остальное время гулял по набережным и писал, писал, писал.

Сильвестр знал, что умирает, и не желал тратить времени впустую. Не жалел он и об оставленной Родине, насмехаясь над моим порывом во время пребывания в Италии искать сюжеты из отечественной истории. «Я у отечества не в долгу!» — отмахивался он от меня, словно я спорил с ним.

Сильно пожелтевший, он приписывал свою болезнь итальянскому климату, называя ее неаполитанской и рассказывая о туманах и морозящих дождях, которыми славились эти места.

Туман такой густой, что весь мир кажется стертým, посреди бела дня кареты ездят с зажженными фонарями и ни зги не видно, так что кажется, что тебя и не существует на этом свете. Странное ощущение...

И еще меня тогда поразили дороги — серые или даже какие-то черные от выпавшего пепла. Кстати, в небесах все еще стояли темные, точно грозовые, тучи и пахло серной водой, той самой, что пил Сильвестр.

Я раздобыл записки Плиния Младшего и рассчитывал почитать их на обратном пути. Вот, что он писал Тациту: «Тогда мать молит, увещевает, приказывает убежать любым образом, я, как юноша, это могу сделать, а она, уже зрелая годами и телом, спокойно умрет, если не будет причиной моей смерти. Я, наоборот, отвечаю, что не буду спасаться без нее; затем, взяв ее за руку, понуждаю ускорить ход; с трудом повинуется, обвиняет себя, что меня задерживает. Оглядываюсь: густой дым шел за нами, подобно потоку, покрывая землю».

Я бегло, для памяти, прописал юношу, уговаривавшего свою пожилую мать спасаться вместе с ним, поселив таким образом самого Плиния в картину.

Этот прием я позаимствовал у великого Рафаэля в его «Афинской школе», которую я начал копировать в возрасте всего-то двадцати пяти лет, когда задумал сделать копию в натуральную ее величину — восемь метров в основании, не шутка! В «Последнем дне Помпеи» я запланировал прописать

и свой портрет. Мой или похожего на меня художника, что когда-то расписывал храмы города.

Когда сообщил о своем твердом желании копировать «Афинскую школу» в Общество поощрения художников, там не знали, что и ответить, потому как нормально, когда пенсионер берется мадонну скопировать или портрет... но Мадонна, что бы она собой ни представляла — это все же одна-единственная фигура, младенец — вторая, фон. А тут пятьдесят фигур! Непросто фигуры — известнейшие личности, и все со своей драматургией. Сам Рафаэль себя на той картине изобразил, чем пример явил вперед на многие лета.

Четыре года понадобилось для завершения этой работы, четыре года мой холст торчал в Станце делла Сеньятура, служа помехой для желающих поглазеть на великое произведение Рафаэля. Там же, сравнивая оригинал с копией, впервые я увидел знатока музыки и живописи, а ныне отдавшего свое сердце высокой литературе, толстенького, точно лавочник в нашем квартале, с живыми выразительными глазами и бородкой, больше подобающей капитанам дальнего плавания господина Анри Мари Бейля. Он должен быть известен тебе под псевдонимом Стендаль.

Сначала один приходил, затем приводил друзей и дам. Помню, меж двух холстов прохаживается и все приговаривает да приговаривает, время от времени бросая взоры в мою сторону. Мол, какотреагирую, не обижусь ли? Одно и то же, одно и то же. И главное, так громко, словно бы перед публикой выступает.

О чем говорил? Да все о праве копииста самовольно восстанавливать уничтоженное временем в оригинале. Все ждал, что я кинусь на него или парировать начну. А мне что за дело до его умничаний?

Кто-то из наших шутников возьми да и скажи ему, что я с детства оглох на одно ухо и мне будто бы кричать нужно. Ну, он орал что есть мочи. Смех один!

Потом мы крепко сдружились. Да и разве же есть такая сила, которая двум гениям может помешать найти друг друга?!

За копию «Афинской школы» государь пожаловал мне сверх назначенной цены в девять тысяч рублей еще пять. Что было более чем кстати, а также орден Владимира четвертой степени. Отец писал, а он доподлинно знал, что к чему, что это первый раз, когда художник четырнадцатого класса получал такую высокую награду. Все были счастливы и довольны мной.

* * *

Провожая меня из Неаполя, Сильвестр сунул записку с адресом своей француженки, и я помчался навстречу с голубоглазой Аделаидой.

Теперь ты должен, нет, просто обязан понять меня. В моей душе уже жила Помпея, царила Юлия. Самойлова — девушка с кувшином, и мать со своими двумя юными дочерьми, и... Нет, определенно нежной, акварельной Аделаиде было нечего делать в этих темных, тревожных тонах на грани жизни и смерти. Друзья мои были настолько слепы и жестоки, что открыто обвиняли меня в смерти мадмуазель Демулен, — он с укоризной покосился на меня, — поняла только она — божественная язычница, да что там — богиня темного вулканического огня. Я страдал, понимая, что смерть Аделаиды глупа и решительно никому не нужна. Я не любил Аделаиду Демулен, но все же она была близким мне человеком. Когда я открыл Юлии свою душу, признался, насколько тяготит меня этот случай, Самойлова смеялась, запустив свои божественные пальчики в мои кудри. Рассказывая о несчастной Аделаиде, я стоял перед нею на коленях, рыдая, точно дитя, в подол ее безумно дорогого платья.

— Какое совпадение, милый Бришка, — отсмеявшись, грустно добавила она, — а ведь совсем недавно из-за меня застрелился гусарский корнет, карикатурист Эммануил Сен-При. — Она поднялась, как

всегда, величественная, божественная и, сделав руками, будто бы разворачивает невидимое письмо, с выражением прочтала: «Утром нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его облизывала рану». Это написал Петр Андреевич Вяземский. Жестокий человек. Он знал, что мне непременно дадут прочитать, и все же написал так, и не иначе. Даже не подумал смягчить удар. — Юлия склонила головку набок, по-детски надув очаровательные губки. — Какой нехороший этот поэт Вяземский, правда?

В то время в Петербурге уже получили мой «Полдень», успев накропать несколько нелицеприятных фраз в ответ. А я, в свою очередь, порвал с Обществом, отказавшись от пенсионера после того, как моя картина встретила жесточайшую критику. За что? За выбор модели! «Ваша модель была более приятных, нежели изящных, соразмерностей, и хотя по предмету картины не требовалось в сем последнем случае слишком строгого выбора, но он не был бы излишним, поелику целью художества вообще должно быть изображение природы в изящнейшем виде». — Выговаривали мне.

«Я решился искать того предположенного разнообразия в тех формах простой природы, которая нам чаще встречается и нередко даже более нравится, нежели строгая красота статуи», — отвечивал я.

Впрочем, это был разрыв, после которого я не мог уже надеяться, что они способны указать мне направление, пойдя по которому, я не окажусь по уши в трясине. Заказов с каждым днем поступало все больше и больше, так что я не опасался, что не на что будет купить себе хлеба или нечем будет платить за жилье.

Возможно, многие скажут, будто бы я жил на деньги новых меценатов и особенно меценаток, — он поднял брови. — Непременно скажут. Но ты знаешь мою манеру письма, знаком со многими работами. Так что прикинь холодно, как бы это сделал расчетливый торгаш, может ли человек, не обремененный семейством и долгами, к которому заказчики выстраиваются в очередь, оплачивать свой нехитрый стол и крышу над головой? В Италии я написал около ста двадцати портретов, некоторые из них ты знаешь, а именно: художников Сильвестра Щедрина, Горностаева, Бруни, Васина; писателей и общественных деятелей: братьев Александра и Сергея Тургеневых, князя Лопухина, графа Матвея Виельгорского и многих-многих других!

Рядом со мной работал живописец Федор Бруни — верный глаз, точная кисть. Трудяга, каких мало, да и выпивоха славный. Он дружил с Сашкой, но и других пенсионеров, помнится, не дичился. Серьезный художник. Но только я ведь и его обскакал!

Петр Басин — самый послушный и исправный из наших. Общество поощрения художников нарадоваться на него не могло. Все время ставило в пример. Кукиш из него получился, а не художник. Я понимаю, сдавать заказы в срок — это правильно. Отец ни разу не задержал ни одного заказа. Брат Федор тоже всегда работал на совесть. Но так — чтобы безропотно... рабски... художник должен спорить, сомневаться, протестовать, наконец...

А, да что я о нем... ничтожество ничтожеством и останется.

Совсем другое дело — Константин Тон. Архитектор, как и Александр, учился у Воронихина. Мы встречались в салонах князя Григория Ивановича Гагарина или Зинаиды Александровны Волконской, той самой, о которой еще Пушкин писал: «царица муз и красоты». Ее любили и почитали Гоголь, Вяземский, Веневитинов. Весьма талантливая поэтесса и музыкантша, она много лет вынашивала план создания музея русской старины, который следовало открыть в Москве или Петербурге. Сейчас это может показаться невероятным, но, несмотря на опасность попасть в немилость, Зинаида Александровна долгое время переписывалась и даже время от времени встречалась со своей опальной родней. Не знаю, как обстоят дела на сегодняшний день. Но в 1826 году, мне рассказывали, она не утратила даже устроить

прощальный вечер в честь уезжавшей к мужу в Сибирь Марии Николаевны Волконской. В своем московском доме, можно сказать, на глазах у всего света. Даже Пушкин был. По дороге в ссылку, в Сибирь, в Благодатский рудник... м-да... мало кто вот так отважился бы, а она...

А ведь я писал ее, умницу, красавицу нашу, северную Коринну. Была такая дама в романе де Сталь. «И над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений»[\[40\]](#).

На вечерах читали стихи, исполнялись музыка и песни — цыганские романсы, даже арии из известных опер, все гости и хозяйева, без исключения, так или иначе, участвовали в любительских спектаклях. И даже мой братец — человек, чуждый всяческого лицедейства, был так очарован происходящим, что вдруг признался, шельмец, что играет на флейте, и ведь играл! Неплохо, на мой взгляд, хотя я и не могу считать себя специалистом. В постановке «Недоросля» у Волконской ему была доверена скромная, но ответственная роль суфлера.

Нередко, возвращаясь из салона в наилучшем настроении, я заворачивал будто бы к вечно ждущей меня у окна бледной и печальной Аделаиде. Я махал ей шляпой, и она... она осыпала меня упреками, называя неверным и ветреным. Потом пускалась плакать или кормила меня и все время вздыхала... это угнетало. Хотелось песен и веселья, вина или чтобы тебя оставили просто в покое. Мне в десять раз было бы легче, имей она еще кого-нибудь. Ну, право же... мы с самого начала не собирались венчаться. Договорились... хотя она, несмотря ни на что, продолжала надеяться.

К тому же я весь был захвачен Помпеей. Я уже знал, как именно будут располагаться группы, предвидел, точнее, нашел у Плиния объединившую всех молнию в небе. Я искал женщину, похожую на ту, что рисовал в «Полдне», но неожиданно отыскал заказчика. Я уже говорил, что картину все равно купили бы, но одно дело, что она висела бы в чьей-то загородной резиденции, где ее обсиживали бы мухи, и совсем другое... патриот, верный сын отечества — Анатолий Николаевич Демидов — шестнадцатилетний богатырь, кровь с молоком, горящий взгляд! Бог Арес или Геракл в юности. Владелец уральских горнорудных заводов, богач и меценат, с чистым годовым доходом в два миллиона рублей. Он сразу же загорелся идеей «Помпеи» и пожелал выкупить ее, дабы преподнести России! Совсем иной поворот дела! Ведь это и деньги, и слава, и патриотизм!

В это время еще незнакомая мне Юлия Павловна Самойлова, некоторое время жившая в России отдельно от своего мужа-игрока, сделала попытку вернуться к беспутному супругу. Какая Самойлова? Ну, разумеется, та самая знаменитая Самойлова — последняя из Скавронских, чьи дворцы хранят невиданные сокровища, созданные руками выдающихся художников, скульпторов, краснодеревщиков... В кафе Греко, где собираются русские художники, кто-то зачитывал письмо Александра Сергеевича, и я невольно прислушался. Поэт рассказывал о планах своего друга, флигель-адъютанта лейб-гвардии Преображенского полка Николая Александровича Самойлова, между прочим, замешанного в известном заговоре 1825 года, но отпущенного за недостаточностью улики или за недоказанностью обвинений. В общем, не помню точно, да и в письме об этом говорилось уж слишком туманно. Так вот этот самый Самойлов собирался вернуться в объятия супруги Юлии, о которой все говорили.

Тут же вспомнили несколько сомнительное происхождение красавицы, говорили, что она никак не может быть дочерью генерала Палена, а произошла от итальянца Литта. Поминали ее бабушку — Екатерину Энгельгардт, писаную красавицу, племянницу и любовницу великого Потемкина, вышедшую замуж за Павла Мартыновича Скавронского, которому наставляла рога с этим же Литта, пока после смерти супруга не вышла за него замуж. Я вспомнил ее портрет работы французской художницы Мари Элизабет Луиза Виже-Лебрен, очаровательный, между прочим, портрет и подумал, что непременно должен познакомиться с Юлией. А еще мне был неприятен сам факт ее примирения с бывшим мужем, так что я страстно взмолился о том, чтобы Самойлова никогда не вернулась в объятия своего супруга. Почему я так

поступил?

Я писал Демидова в русском костюме, скачущего через снежный лес на лихом коне. Недоделал, конечно, бросил, но непременно возьмусь еще. Натура-то какая, и с годами такие люди обычно становятся только лучше.

В 1827 году скончался Андрей Яковлевич Итальянский. Спокойно отошел, незаметно. Вошел в свой собственный кабинет, сел за стол перебирать бумаги, да и помер. Никто ничего не успел понять. Секретарь вышел на секунду по какой-то надобности, а вернулся...

Я видел его мертвым, но на похороны не пошел. Тяжело. Итальянский — эпоха. Друг Фонвизина, лично знавший императрицу Екатерину и Вольтера... В Италии он объединял нас, русских, привечая новичков и оказывая всяческое покровительство всем, кто в нем нуждался.

Вскоре после смерти Итальянского вернулся в Рим Кипренский. Но ему были не рады. Он снял мастерскую. Что-то писал, с кем-то общался. Захаживал и ко мне в мастерскую, сидел... не выгонишь же. Но это уже был совсем другой человек... конченный, что ли. Я не рвался общаться с Орестом, но и не гнал его от себя, то и дело, вспоминая наши прежние приятельские отношения и искренне жалея невозвратного. Не стремился сойтись и с навязывавшим свою дружбу Александром Ивановым. Последний хотел от меня душевных разговоров, искренней дружбы, взаимных уроков мастерства. Мне же было совсем не до этого. Как сказал когда-то великий Торвальдсен: «Чем болтать всякий вздор, возьми глину и работай». Нехорошо, конечно, с сыном моего любимого учителя, но да все так закрутилось... Александр обижался и уходил.

— Твой брат говорил, что потом он будто бы бродил по городу, точно помешанный, совсем запустил себя, — попробовал вставить словечко я. О том, что я сошелся с Александром Павловичем, я рассказал Карлу после первой же нашей встречи, и он воспринял известие благосклонно, заметив, что рано или поздно мы бы все равно сошлись на том или ином проекте. Так почему бы и не сейчас?

— Иванов — великое чудо. Фантазер, мечтатель, возможно, немного юридический. Носился с проектом «Золотого века», когда все художники объединятся в счастливое сообщество друзей и единомышленников. Идея, безусловно, хороша, но это идея-девственница, идея-святая. Мы же грязны и грешны. Вот я, к примеру, люблю тебя, Петя, люблю брата Сашку, еще человек десять. А дальше-то как? Остальных-то куда? С нерупожаемыми? Кто кляузы творит и гадит, куда его ни приставь? Ведь эти тоже потянутся в золотой-то век. Они тоже чьи-то друзья, родственники. И получается, что либо не принимать в друзья, коли не друг всех друзей, либо принимать, но тогда мы опять же будем иметь шипящий змеюшник, где каждый другого норовит покусать. Но при чем тут золотой век?

* * *

Иванов мечтал о золотом веке, а я в нем жил и радовался. Хотя всегда ли он был золотым? Сам как-то вызрел и озолотился.

Пришло беспокойное, но весьма интересное время. Меня разрывали заказчики, многие из которых были готовы ждать месяцами и платить вперед. Я писал Александра Ивановича Тургеньева и графа Матвея Юрьевича Виельгорского — великих писателя и виолончелиста. Писал силача Доминико Марини — с последнего я вообще ничего не получил, подарил по дружбе, выпили и разошлись. Зато потерял кучу весьма прибыльных заказчиков. Княгиня Долгорукова обижалась на мои отказы писать ее? Вздор! У нее уже был один мой портрет. Зато написал старину Франческо Аскани, в доме которого я всегда мог найти покой, дружеское расположение и кувшин доброго вина.

Писал красавицу Меллер-Закомельскую, сначала акварелью, а затем и маслом. Был такой шаловливый замысел — прекрасная баронесса сидит на корме лодки, обернувшись к зрителю, рядом с ней — очаровательная девочка, а я на веслах. Ах, баронесса, ах amore!

Я всегда брался за работу с любовью, но когда любовь неслышно улетала... как мой амур в «Нарциссе»... что поделаешь. Сидишь, бывало, и думаешь: взять, что ли, на досуге и дописать неоконченное, а не получается. Либо сразу, либо лучше уж и не прикасаться. Я себя знаю.

Академия художеств просила, чтобы я свой собственный портрет написал для галереи Уффици^[41], где висеть ему предстояло рядом с другими портретами и автопортретами величайших живописцев... надо было постараться. Кипренский вот сделал, что просили. Висел бы сейчас с ним. Не смог.

Великая княжна Елена Павловна — очаровательная Шарлотта...^[42] грозилась во всех комнатах мои работы развесить, хоть всякий день могла свои да доченькины портреты заказывать... эх!

Не разорваться же, право слово... Демидов еще, вот ведь настырный молодой человек попался! Изволил гневаться, что к сроку «Помпея» не закончена. Контрактом потрясал.

Каждый день у мастерской толпы, слуги с письмами, друзья-художники, заказчики, которых уже писал, и в срок заказанного не сдал, за ними те, кто только намеревался что-то приобрести или заказать...

Что ни день, Гальберг тревожит жалобами, мол, благодетели гnevаются, не за «игрушками» меня в Италию посылали, за настоящей картиной. А где она? Слезно умолял писать им почаще, льстить, убажывать... потому как о будущем думать надо, сегодня-то я в Италии при деньгах сыт, пьян и горюшка не знаю, а призовет государь? Тут же депеша от Александра из Парижа. Мол, я лентяй, каких мало, и верные ему люди о каждом моем шаге с пристрастием докладывают, а меж тем денег, отпущенных нам Обществом, на меня больше ушло. Он стерпел, не роптал, так и мне пора остепениться да за ум взяться. Отрывок присланного ему письмеца приводил:

«...Твой брат Карл портрет для великой княжны делать отказался. Демидову картину за 15 тысяч, которую он ему заказал, не хочет делать... Он какой-то получил крест от императора, но не носит, за что ему неоднократно князь Гагарин делал выговор, — бесполезно. От всех работ, ему предложенных, отказывается... Хочет быть вне зависимости... От Карла все возможно...» — Карл махнул рукой. — И все в таком духе.

Мальчик тут есть забавный, смысленный племянник Алексея Алексеевича Перовского. Ну ты его, должно быть, знаешь под именем Антония Погорельского. Конечно, знаешь. Племянник его — граф Алексей Константинович Толстой — Алешенька — дивный ребенок, Ваньку, брата моего, напомнил. Я тогда все гулял с ними по Колизею, Версалю, Рим показывал. Алешке картинки в альбом рисовал, уж больно он тогда зацепил меня чем-то неуловимым. Вроде чужой, а точно своим сделался. Так бы с ними и гулял, да разве ж тут разгуляешься? Отчеты; не затрагивающие сердца заказы; отбирающие массу времени письма; «Помпея», будь она неладна... смерть Аделаиды, и тут появилась она! Войны, революции... все это, конечно, не может оставить равнодушным, совершенно не отпечатать следа, но любовь!

Между нами с Юлией с самого начала не было никаких правил. Помню, сидел я как-то у Гагариных, слез не лил, да только настроение сложилось паскуднее некуда. Снова кто-то про Аделаиду разговор завел. Иванов говорил, что гений не может убить или совершить какое-нибудь другое злодеяние. А я, хоть и не был повинен в ее смерти, но по этому раскладу выходило, что мне теперь вроде как от картины моей следует отказаться и, как минимум, с год на коленях в храме Божиим прощение вымаливать. Потому как иначе кистью моей будет водить уже не Господь, а дьявол.

Много я тогда разного передумал. Человек слаб, тем более — тонко чувствующий. Чуть не запил, как вдруг распахнулись расписанные цветами двери и в гостиную, где я от всех укрыться пытался, ворвалась

Юлия! Алое платье, шляпа с воздушными полями, шевелящаяся, точно живая, серая прозрачная накидка.

«Вставай, Карл! Дай мне свою руку, Бришка! Поехали сей миг в Помпею, пока вулкан вновь не уснул!» — прямо с порога зычно приказала она.

«Да, как же в Помпею? Был я там, для работы все давно готово. Да и страшно ведь это, — начал слабо оправдываться да отнекиваться я. — Один раз пронесло, во второй раз уже не удастся сухим из воды вылезти. Опасно это чрезвычайно!»

«А я плюю на опасности. Художник ты или тряпка? — Юлия вздернула хорошенький носик, — коли художник, чтобы сей миг оделся, жду тебя в карете». С этими словами богиня развернулась, подняв своим подолом бурю засверкавших на солнце пылинок, и вылетела за дверь.

Я тотчас бросился в свою комнату, схватил шляпу, куртку, переобулся, так что через четверть часа уже сидел подле прекраснейшей из женщин, на моих коленях стояла корзина спелого винограда, а в ногах расположилась пузатая бутылка с вином.

Охвативший меня вначале малодушный страх не пропал полностью, но мне было неизъяснимо весело и легко. Я ехал на смерть и хохотал, как безумный, распевая дурным голосом шутовские арии и понимая, что даже смерть не разлучит нас!

Глядя в ее прекрасные темные глаза и развевающиеся на ветру волосы, я снова жил, понимая, что нашел женщину, без которой «Помпея» не стала бы той самой «Помпеей». Женщину, спустившуюся ко мне с черно-бархатных небес для того, чтобы похитить мою душу, мое сердце и отдать мне взамен свою, насквозь черную и горящую душу. Душу, сотканную из мрака и огня, чтобы я жил и творил уже только для нее одной...

* * *

Приехал Михаил Глинка. Повзрослел, снискал успех, добился славы, чуть было не угодил в острог. Не за собственные дела, за дружбу. Я ведь уже говорил, что Глинка — ученик Вильгельма Кюхельбекера и его друг. После 14 декабря Глинку подняли ночью стуком в дверь. На пороге стоял дежурный штаб-офицер. Ему дали возможность одеться и сразу же засунули в карету. Сам Миша потом рассказывал, что перетрусил дорогой, так как понимал, что не только его друзей, но и его самого могли видеть и на Дворцовой, и на Сенатской площадях. Правда, ушел он до того, как загремели пушки, но все же... Мне потом рассказывали, как долговязый Вильгельм носился по площади, размахивая пистолетом, и несколько поздно подоспевших молодых людей, по виду студентов, сновали туда-сюда, не зная, что делать, но и не решаясь вернуться ни с чем.

Полагали, что Кюхельбекер мог скрываться у Глинки или у кого-нибудь из их общих друзей, но Михаил не знал, где он, и его отпустили, усадив для верности в ту же карету и доставив до дома.

Было приятно слушать Глинку, но гулять с ним по городу, помогать заводить полезные знакомства не было времени. Теперь я писал, как зачумленный, свою «Помпею», писал Юлию... а посыльный приносил новые и новые письма: Александр Иванов умолял стать примером для русских художников, причем как в искусстве, так и в нравственном смысле этого слова. Каждый раз, когда он встречал меня в посольстве, в кофейне, в каком-либо салоне или просто в городе, он тут же находил на моем челе отвратительную печать порока и следы глубокого нравственного упадка, не желая слушать наставлений. Я был готов бежать на край Земли. Иванов же, вместо того, чтобы отпустить меня с миром, гнался за мной, хватая за одежду и умоляя поверить, что сей упадок, носит временный характер и без него я все равно не смог бы вырваться из толпы.

Потом он и вовсе начал как бы разделять меня на Брюллова павшего и Брюллова творящего!

Бр-р, говорили, что он и батюшке своему — любимому моему учителю Андрею Ивановичу — писал, чтобы тот просил меня не отдавать его от себя. Слава богу, тот особо не настаивал. Спасибо ему за это.

Впрочем, я никого не гнал от себя, привычный к шуму и суетлоке; я спокойно работал в окружении своих гостей-художников, слушая их разговоры и участвуя в беседе.

Европа трещала по швам. Парижане, в преддверии новых революционных действий, запасались съестным. Федор Иордан, закончивший наконец Академию, застал в Париже революцию, проведя три дня взаперти в квартире, где он снимал тихую комнатку, и пугаясь каждого шороха. Первые дни были слышны одинокие выстрелы, топот и где-то громыхали пушки. На третий день все стихло и консьерж объявил о победе либералов.

Федор шел по Парижу, перебираясь через срубленные деревья на Итальянском бульваре. Бедняги пали жертвами революции, с их помощью надеялись удержать кавалерию. Во многих домах были выбиты стекла; то тут, то там приходилось обходить корявые баррикады. По Сене медленно и неотвратно передвигались баржи с телами убиенных. Мертвецов привозили на тележках, на которых зеленщики обычно доставляли овощи на рынок. И если верить карикатурам — в результате революции тощий Карл X был свержен дородным Луи-Филиппом.

В театрах перед представлением зрители и актеры на коленях исполняли Марсельезу, а победившие рабочие ходили по городу с требованиями: «Хлеба»!

В это время, на счастье Иордану, в посольство был доставлен указ из Петербурга, в котором всем русским подданным, проживающим во Франции, следовало немедленно покинуть страну. Иордана направляли в безопасный Лондон. Услышав строгий приказ, Федор испугался, что будет наказан в случае промедления или, и того хуже, забыт на чужбине. Поэтому он быстро собрался, прихватив с собой сапоги, подошвы которых были подбиты гвоздями с высокими шляпками.

Добряк Федор — редкостный трудяга. Его память умудряется сохранять мельчайшие детали происходящего, впрочем, на то он и гравер.

Глава 4

В тот день мы больше уже не работали, так как Карл был спешно вызван братом Александром на строительство церкви. Должно быть, пришло долгожданное время, когда он мог перевезти из мастерской свое «Распятие». Великий миг! И я, и Уленька, и дети — все мы жаждали оказаться в этот момент близ алтаря, дабы быть первыми свидетелями того, как огромная картина 510x315 займет подобающее ей место.

Карл работал над «Распятием» два года, и картина заслуживала наивысших похвал. Во всяком случае, я доподлинно знаю, что видевшая «Распятие» великая княжна Мария Николаевна^[43] отзывалась о ней при дворе с неизменным восторгом, граничащим с благоговением; что несколько раз Василий Андреевич Жуковский заезжал постоять возле Брюлловского «Распятия». Просто постоять и помолчать — высшая благодарность.

Все мое семейство прямо-таки жаждало поглядеть, как «Распятие» будет установлено в церкви, а Саша с Машей так даже пытались отрядиться парламентарями для переговоров с Карлом, но тот только замахал на нас руками.

«Посмотрите, когда наверняка установим. Никуда оно от вас не денется, торопыги вы эдакие! — посмеялся Карл над нашим нетерпением. И добавил мне еще с укоризной: — ну куда ты, брат, детей малых задумал тащить? Неровен час, леса обрушатся или Уленька платье о какой-нибудь гвоздь порвет. Неужто я самых моих любимых не приглашу, когда все будет уже устроено, на картину поглядеть? стыдно тебе».

Действительно, стыдно. Расчувствовался, точно ребенок, а меж тем в Петербург из Италии вернулся чиновник Министерства народного просвещения Лангер — человек, которого я ждал, как ждут спасения. Ведь именно Лангер переводил в России брошюры, писанные итальянцами о «Последнем дне Помпеи»; художник-любитель, он обожал живопись Карла, обладал литературным даром и, что немаловажно, понимал, что следует писать для блага последнего в этом чертовом рапорте, а о чем лучше умолчать.

Поэтому, получив заслуженную выволочку от Великого, я нисколько не обиделся, а сразу же направился на квартиру к Валериану Платоновичу, с коим имел счастье быть знакомым, дабы он составил требуемый отчет.

Конечно, с одной стороны, Лангер слыл осторожным и осмотрительным человеком. Цензор Петербургского цензурного комитета — должность ответственная и весьма опасная. С другой... он был воспитанником Императорского Александровского лицея, второй выпуск 1820 года, следующий после того, как в 1817 лицей закончил Александр Сергеевич. А это значит, что он был однокашником Яхонтова, Гнедича и бог весть кого еще из благороднейших людей. У нас в Петербурге говорят: должность должностью, а лицейское братство — на всю жизнь. Не мог же он, при всей его нынешней осторожности, почти сразу же после смерти Пушкина позволить низким людям затоптать еще и Брюллова!

Ах, Пушкин... сначала Пушкин, а затем Марлинский — страшная утрата для российской культуры... невозполнимая... графиня Фикельмон в письме к князю Вяземскому писала о жене Александра Сергеевича: «Жена его — прекрасное создание, но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья...». Лет за шесть до трагедии подмечено. Но да знали бы, где упадет, непременно соломку-то подложили бы... но да теперь не о Пушкине нужно сокрушаться, Брюллов под занесенным мечом ходит.

Адрес Лангера дали мне в «Северных цветах», подробнейшим образом объяснив, как можно наилучшим образом добраться мимо двух расположенных недалеко от его жилища строителей. Ехать

неприменно надо было на извозчике, так как поблизости от дома Валериана Платоновича прокладывали новую мостовую, отчего грязи там было по колено. Не желая подвергать свои колоши подобным испытаниям, я воспользовался советом, и вскоре, объехав ремонтируемый участок пути, мы оказались перед подъездом дома на Фонтанке. Аккурат между Аничковым дворцом и домом Оленина. Очень хорошее место!

Усатый лакей, по виду малоросс, встретил меня, лишь слегка приоткрыв дверь, словно опасался ненароком впустить не того человека. Впрочем, Лангер знал меня лично. Я приказал доложить о себе, протянув визитную карточку, и вскоре все тот же лакей уже терпеливо и довольно искусно снимал с меня в прихожей колоши с таким видом, словно именно меня тут как раз и ждали. Он сначала помог мне снять плащ и затем коротко, но отменно вежливо поклонившись, поднялся по потемневшей лестнице, вдоль которой тянулась вереница темных портретов, на второй этаж. Несколько минут я слышал доносящееся, должно быть, из кухни, звон посуды и певучие девичьи голоса. Валериан Платонович вышел встречать меня лично, в домашней куртке, надетой поверх английской сорочки с аккуратно повязанным галстуком. Пожав друг другу руки, мы поднялись вверх. Широкие, добротные перила выглядели несколько старомодными, балясины были вырезаны грубовато, с острыми углами, как сейчас уже не делают. Но все идеально чистое, недавно покрытое лаком. Из открытой двери кабинета лился теплый свет, которого было достаточно для освещения последнего пролета лестницы, тогда как нижние ступеньки прекрасно освещались за счет большого окна. Оригинальное и весьма экономное архитектурное решение. Озираясь по сторонам, я поднял голову и увидел расписанные потолки. Не бог весть, какой узор встречал гостей уже на лестнице, помню какие-то цветочки, идущие венком. При полном освещении они должны были бы смотреться достаточно мило. Я не знал, собственный это дом Лангера или нет. Если собственный, то достался ли от родителей или сконструирован по его личному заказу? Кто расписывал эти потолки? Кстати, в кабинете, куда мы вошли, поднявшись по лестнице, тоже наблюдалась потолочная роспись, строгая и спокойная, но изящная, явно сделанная рукой мастера. Тот же цветочный узор переходил на обтянутые шелковой тканью стены. Сам кабинет показался излишне вытянутым; со стороны окна располагалась изящная софа, пара покойных кресел, обитых зеленоватым бархатом, между ними овальный столик, на котором можно было раскинуть картишки или расставить чашки с кофе. Тут же несколько зеленых растений с широкими, похожими на ослиные уши листьями, но без единого цветочка. В противоположной стороне кабинета размещался письменный стол и возвышались застекленные книжные шкафы. Возле стола в рядок стояли чем-то напоминающие мелких правительственных чиновников или построенных на параде солдат, также обтянутые зеленым бархатом, стулья. Должно быть, ассоциация возникла в связи с мундиром Нестора Кукольника, в котором он как-то показался в манеже, где я рисовал английского жеребца для какого-то заказа.

Не заметил, что за книжным шкафом находилась еще одна, почти незаметная лесенка, ведшая, должно быть, в спальню хозяина. Удобное решение, если учесть, что заработавшийся допоздна Лангер не желает беспокоить уже уснувшую супругу, собрался почитать при свете свечи или просто побыть наедине со своими мыслями. Массивный, тоже несколько старомодный, но удобный и надежный стол был украшен серебряным прибором для письма в виде черепахи, на роскошном панцире которой размещались писчие принадлежности. Все образцово чистое, но одновременно не возникает ощущение, будто бы хозяин держит этот кабинет лишь для посетителей. Об этом говорила чуть заметная потертость, которую придают вещам частые прикосновения к ним. Словом, непривычно вытянутая форма кабинета давала возможность как бы поделить его на две части. В одной — болтать с друзьями, в другой — работать и принимать просителей.

— Покорнейше прошу садиться, — Валериан Платонович указал на кресло около окна. И я сразу же вздохнул с облегчением. Честно говоря, вид массивного старомодного стола вызывал во мне массу

тоскливых воспоминаний, и вряд ли я мог бы достаточно расслабиться на стульях, напоминавших мне шеренгу солдат.

— ...Карл Павлович получил золотую медаль первого достоинства в Париже, где его картина была представлена публике на выставке в Лувре в 1834 году, — первым делом дополнил Валериан Платонович составленный мной список наград. — Италия носила его на руках, а вот во Франции критики восприняли более чем враждебно. Одни говорили, что живопись Брюллова — прошлый век и сравнивали ее с полотнами выставляемых тут же Энгра и Делакруа, другие визжали о том, что-де Карл Брюллов предал античную красоту ради сиюминутного успеха у черни. Но чем громче собачились между собой критики, тем больше ходили смотреть на чудо Брюллова простые зрители. Собственно, золотая медаль была пожалована исключительно из-за того, что картина пользовалась таким бешеным успехом.

Вот о чем я стал бы писать, если бы желал возвысить Брюллова, хотя странно было бы встретить правительственных чиновников, не знакомых с творчеством и ничего не слышавших о Великом Карле.

Впрочем, я не вправе рассуждать о вкусах и осведомленности этих господ и, если вы не возражаете, напишу требуемое письмо от лица Карла Павловича и вручу его вам, дабы вы или он могли исправить его по своему усмотрению.

* * *

1834 год. Не только для Брюллова, для многих в наивысшей степени судьбоносный год. Александр Андреевич Иванов написал в Италии «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине» — картину глубокую и совершенную в своей божественной простоте. Для Николая Васильевича Гоголя... м-да... 1834 году выходит его сборник повестей «Миргород». Мои домочадцы без ума от «Вия»... кстати, Гоголь очень высоко оценил «Помпею». Слышали, я полагаю. Не помню дословно, не могу процитировать, но верьте на слово. Они ведь знакомы с Брюлловым, тот его даже перед Италией писал, карандашом, правда, но по-своему гениально. Гоголь очень тонко чувствовал грядущие перемены. Вот у меня, извольте послушать, сохранилось: «Таинственный, неизъяснимый 1834 год! Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами или...».

— Кстати, хотите анекдотец? — Он посмотрел на меня с нескрываемым дружелюбием. — Гоголь учился в Нежинской гимназии князя Безбородко вместе с Нестором Кукольником, Константином Базили, Любич-Романовичем, Петром Редкиным и некто Прокоповичем. Редкий жил у профессора Белоусова и вместе с приятелями издавал в гимназии альманах с пахучим названием «Навоз Парнасский». По субботам у него собиралось общество гимназистов. Молодые люди читали друг другу написанные за неделю стишки, после чего происходил тщательный и злой разбор, в результате которого что-то помещалось в альманах, а что-то тут же уничтожалось в печке.

Из всех посетителей этого, с позволения сказать, салона Гоголь считался самым бездарным. — Лангер сделал выразительную паузу. — Он регулярно подвергался осмеяниям, после чего собственноручно и торжественно, под громкие аплодисменты и вой критиков, сжигал свои произведения. Правда, несколько стишков, после тщательной переделки Прокоповича, все-таки вошли в альманах, но это было скорее исключение, нежели правило.

Свою первую прозаическую вещь «Братья Твердославичи. Славянская повесть» Гоголь также представил в одну из суббот взыскательному жюри альманаха. И что же вы думаете? Ее разнесли в пух и прах!

«Ты бы лучше, брат, в стихах, что ли, практиковался, потому как в прозе, сразу видно, из тебя ничего путного не выйдет», — посоветовал ему Базили.

Я был ошарашен услышанным, поначалу предположив, что все сказанное — не что иное, как выдуманный анекдот. Валериан Платонович уверил меня, что этот анекдот он лично слышал как минимум от трех участников событий, заметив, между прочим, что Карл Павлович, в отличие от Николая Васильевича, с детских лет считался признанным гением. Благодаря чему ему не пришлось доказывать перед всеми свою исключительность и избранность.

Да, поначалу Гоголю действительно страшно не везло. Все еще находясь под впечатлением, я пожалел было вслух о тех безвинно сожженных в печах и каминах стихах, полагая, что те не могли быть столь плохи, а виной всему зависть и недоброжелательность окружающих. На что Лангер ответил, что скорее всего стихи действительно были дрянью, и показывать их сейчас, после триумфа Гоголя, было бы неправильным.

После чего я вспомнил другой анекдот из жизни Николая Васильевича, который и поведал тотчас добрейшему Валериану Платоновичу:

— Один из учителей Гоголя, профессор словесности Никольский, имел странную слабость заставлять своих учеников писать литературные произведения, которые он затем тщательно разбирал, правя и вынося свой вердикт. Особенно доставалось Гоголю, который имел больше склонности к драматическому искусству, нежели к литературе. — Я улыбнулся, давая понять, что это не мое мнение. К слову, всем ведь известно, что Николай Васильевич грезил театром и даже добился как-то дебюта на сцене Александринки. самого дебюта, правда, не получилось, так как на первой же репетиции Гоголя признали негодным в служители Мельпомены. Но упустим эту пикантную подробность. — Никольский нещадно ругал Гоголя, по всей видимости, забавляясь переживаниями ученика.

И вот однажды Николай Васильевич решился отомстить за свои обиды и, переписав своей рукой пушкинского «Пророка», принес его на суд деспота. Никольскому стихотворение очень не понравилось, и он тут же взял перо и принялся его исправлять. Когда же все «лишнее и напыщенное» было вычеркнуто, а «нужное и более грамотное» поставлено на надлежащие места, профессор вернул Гоголю листок с назидательной речью, что стыдно писать столь скверно. И чем попусту бумагу марать, лучше бы он почитал наших прославленных поэтов.

На что окончательно сбитый с толку Гоголь признался, что это стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Класс притих.

А профессор побагровел и, кинув в Гоголя скомканным стихотворением, заорал:

— Что же с того, что Пушкин?! Разве Пушкин не может безграмотно писать? Почитай лучше оба варианта и реши, у кого лучше получилось: у меня или у Пушкина?

Мы посмеялись, после чего я горячо поблагодарил Валериана Платоновича за его теплый прием, признавшись между делом, что давно запутался во всех тех фактах, которые посчитал нужным сообщить мне Карл. В то же время мне хотелось бы составить нечто вроде жизнеописания величайшего художника нашего времени, как это сделал в свое время Джорджо Вазари в своем бессмертном труде: «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов». Признаваясь в своем желании, я надеялся на то, что Лангер поделится со мной какими-нибудь сведениями относительно Карла, которые затем я смог бы внести в его жизнеописание наравне со свидетельством Александра Павловича и друзей Карла. Поняв меня правильно, Лангер приказал принести нам чая, после чего начал:

— «Последний день Помпеи»... о, я изучал и изучаю до сих пор это великолепное произведение. Признаться, я ходил к ней множество раз, переводя статьи о картине с итальянского. Потому как это особое искусство — видеть живопись, разгадывая ее. Сам я не могу утверждать, будто бы могу это сделать по отношению к любому произведению живописи. Да и в моей любимой «Помпее» я не перестаю угадывать

все новые и новые тонкости.

Сам Карл Павлович простодушно рассказывает о расположении скелетов, рядом с которыми были разбросаны украшения или остатки колесницы... но все это на самом деле несущественные мелочи. Кто поедет в Италию для того, чтобы считать все эти самые скелеты? Да и в скелетах ли дело?

Вот юноша, который уговаривает мать бежать вместе с ним... Плиний Младший, если бы он погиб в тот день, как понял его Карл; вот мать с дочерьми, они и не пытаются спастись, взывая к карающему их Богу и прося его милости; вор, даже в последний день жизни пытающийся украсть чужое добро; дети, несущие немощного отца; художник, прикрывающий голову ящиком с красками, — сам Карл. Одновременно это и апокалипсическая картина, потому что все они погибнут, и история торжества жизни.

Да, впрочем, вы и сами это, должно быть, понимаете не хуже меня.

Демидов — хозяин картины — переправил ее из Италии сначала в Париж, а после выставки явил это чудо России, доставив ценнейший груз морем на корабле «Царь Петр». Картина была доставлена специальным рейсом, с которого были заведомо сняты все пошлинные сборы, так как каждый знал, что Анатолий Николаевич везет ее самому государю! Император пожаловал Брюллова кавалером ордена Святой Анны 3-й степени, но отверг предложение совета Академии художеств досрочно возвести Карла Павловича в профессорское звание, рекомендовав и впредь держаться устава. — Лицо Лангера краснеет то ли от горячего чая, то ли от возбуждения, глаза сияют. «И стал «Последний день Помпеи» для русской кисти первый день!»[\[44\]](#)

Я же невольно вспоминаю тот год, когда Монферран установил на Дворцовой площади столп в честь победы России над Наполеоном в войне 1812 года. Четыре года ушло на создание этой колонны — немного для подобного памятника. Скульптура ангела на столпе работы Бориса Орловского, чей лик разительным образом напоминает лицо государя Александра I. Специально было сделано сие или нет? Говорят разное.

Красноватую, сделанную из цельного куска гранита колонну уже тогда втайне именовали «Монферрановой колонной», и это было рискованно и для Огюста или, как прозвал его Карл, Августа Августовича, и для его творения. Поэтому лично мне больше симпатично другое, на сегодняшний день прижившееся название «Александровский столп», названный в честь Александра I, одержавшего победу над французами.

В Петербург монолит доставлялся на специально построенном для него судне, к также специально сделанной пристани у Дворцовой площади. В тот день, когда памятник открылся, был устроен двухчасовой парад войск и крестный ход. Зимний дворец ночью светился тысячами специально подвешенных светильников, на которые приезжали полюбоваться в собственных и наемных каретах ночь напролет. Впрочем, был август, было тепло и необыкновенно приятно.

В тот замечательный для Петербурга год Карл действительно чуть было не стал профессором, получил орден, а Николай Васильевич Гоголь назвал его творение «светлым воскресеньем живописи». Казалось бы, что может быть прекрасней, но... об этом Великий не любит распространяться, так как не может делать это без слез. Именно в год, когда Россия созерцала «Помпею» и Карл в Риме или Милане праздновал свой заслуженный триумф, здесь, в Петербурге, в академическом лазарете, тихо и печально скончался его младший и любимый брат Ваня. Юный художник, способный, по словам самого Карла, со временем затмить славу старших братьев.

Тяжелобольного Ваню Брюлло внесли в кресле в зал, где стояла картина его брата, и несколько часов он смотрел, изучая и запоминая ее.

В тот замечательный год, как мне рассказывал Карл Павлович, в Рим приехал из Лондона гравер

Федор Иордан, который сразу же оказался в дружеских объятиях самого известного в Италии русского — Карла Брюллова. И в тот же год Карл убедил его, не размениваясь по мелочам, писать Рафаэлевское «Преображение». И непросто убедил — об этом еще напишут, дайте срок, — а получил для старого друга и товарища специальное разрешение копировать, не ожидая установленной очереди. Карл Павлович говорит, что от этого Иордана можно ждать настоящего чуда! Так будем же ждать!

Глава 5

*О, как мне понравилась та изящная архитектура, которая
была создана Александром Брюлловым. Сколько во всем
воздуха, какие эффекты перспективы и рефлексов.*

*Из воспоминаний А.Л. Бенуа после посещения церкви Петра и
Павла*

Я вышел от Лангера в самых радостных чувствах и тут же столкнулся с мрачным, точно идущим с похорон, Александром Павловичем, возвращавшимся к себе домой пешком. Как выяснилось, его состояние напрямую проистекало от общения с Великим. Карл привез картину с непростительным опозданием, а затем, когда «Распятие» было установлено в алтарной части, не сдерживаясь в словах, отругал брата за то, что тот не позаботился об освещении алтаря, в котором его довольно темная по фону картина была теперь не видна. «Ни одного лучика. Варвар, а не архитектор», — сокрушаясь, припоминал обидные слова брата Александр Павлович. Мне его было искренне жаль.

* * *

Вечером Карл не явился домой, прислав с Лукьяном записку с извинениями и обещаниями посетить нас в ближайшее время. Сам он, по заверениям того же Лукьяна, намеревался запереться в мастерской и работать, но судя по тому, что красные окна в тот вечер так и не зажглись, Карл отправился «заливать горе» в какое-то другое место.

На следующий день я пошел посмотреть на картину Карла на Невский, в церковь, и был вынужден согласиться с оценкой Александра. Быть может, люди, которые не видели прежде «Распятия» Брюллова, найдут его восхитительным. Те же, кто наблюдал это произведение в мастерской, безусловно, признают, что оно сильно проиграло из-за света, а точнее, его отсутствия. Тем не менее, я лучше бы проглотил обиду, чем высказал ее в столь резкой форме своему брату. Во всем же остальном церковь Петра и Павла была восхитительна.

Александр Павлович продолжал пребывать в крайне подавленном настроении, правда, это не мешало ему продолжать руководить рабочими, мило улыбаться прибывшим для оформления художникам, принимать послания и незамедлительно отвечать на них. Со мной архитектор был, как обычно, любезен и вежлив. Узнав, что я посетил с визитом Лангера, он искренне обрадовался и, предложив мне горячую воду с патокой — обычное угощение, подаваемое на строительных площадках рабочим, согласился поговорить несколько минут, пока уборщики протирают от накопившейся строительной пыли стены. Мы устроились в уголке на грубо сколоченных скамьях таким образом, чтобы Александр Павлович, с одной стороны, был на виду, а с другой — мог в любой момент вмешаться в ход проводимых работ.

— Юлия Павловна в городе, — отхлебнув из кружки, сообщил Александр Павлович. — Самойлова — ангел-хранитель моего братца. Если ваш рапорт не возымеет действия, в ход будет пущена армия, состоящая из ее связей, капиталов и обаяния.

Юлия Павловна?! Но она ведь в Италии... — невольно вырвалось у меня.

Я написал графине о произошедшем, и она ответила, что явится в Петербург так быстро, как это только возможно. — Александр Павлович вымученно улыбнулся. — Прежде, до знакомства с Юлией Павловной, я еще мог бы удивляться искренности ее порывов, теперь — нет. Для нее долг дружбы, долг

любви — первый долг! Непостижимо...

Ее визит может вызвать новые разговоры в свете... — я снова смутился, припоминая, как Карл рассказывал о женщине, снившейся ему ночами. О женщине из картин «Итальянское утро», «Полдень», «Помпеи»...

— Плевать она хотела на разговоры... да и на весь свет, по всей видимости. Обещалась приехать с дочерьми. Вы, должно быть, слышали, она взяла на воспитание двух девочек — дочерей ее друга композитора Пачини, Джованину и Амацилию — вы видели их на картине «Последний день Помпеи» с Юлией. А еще в «Жовани на лошади». Там маленькая Амалиция на балконе встречает вернувшуюся с конной прогулки сестру, это еще в Графской Славянке, и с арапчонком, и...

Я поспешно кивнул, показывая, что отлично помню лица обеих девочек. Тем не менее, от меня не укрылась та мгновенно набежавшая на благородное лицо Александра Павловича краска стыда. Дело в том, что если насчет родословной Амацилии было все более-менее понятно, старшая, Джованина, никак не могла быть дочерью Джованни Пачини, а только числилась таковой по документам. Ходили слухи, будто бы на самом деле ее настоящее имя — Джованине Кармине Бертолотти и она является внебрачной дочерью сестры итальянского любовника божественной Юлии. Впрочем, бытует и иная, более скандальная версия, о том, что Самойлова сначала родила вне брака Амацилию, а затем, не желая, чтобы дочь жила отдельно от нее, официально удочерила малютку, так до конца и не порвав с ее отцом. О последнем говорили весьма щедрые пожертвования, регулярно отпускаемые графиней Жюли на оперы Джованни Пачини, а также на дискредитацию его оппонентов.

И если первая версия — удочерение детей своих друзей — говорит о Юлии Павловне как о благороднейшем из людей, все остальное пятнает ее громкое и славное имя.

Возможно, Александр Павлович знал о личной жизни Юлии Павловны не в пример больше, нежели я — все-таки был вхож в дом, строил для нее усадьбу, — но он не собирался раскрывать мне даже малейшей части секретов графини. А я не так воспитан, чтобы расспрашивать.

— Юлия Павловна — друг, которого только можно пожелать себе. Искренний, честный, настоящий. Граф Корф будто бы где-то говорил о ней, что Самойлова имеет, как это по-русски, «не совсем лестную репутацию». Не верьте! Чем был бы мой брат, если бы не она? Да — отменный художник, гений, но... так уж устроен этот мир — сначала вы работаете, трудитесь в поте лица. А Карл отличается тем, что работает буквально до изнеможения, а потом посещает салоны, жмет руки, улыбается, говорит о пустяках... и все для того, чтобы его заметили.

Карлу повезло, слава с самого начала сопутствовала ему, трубя в золотые трубы. Но уверяю вас, он бы потратил втрое больше времени на общение и знакомства и соответственно в разы меньше создал, если бы не люди, которые день за днем брали его за руку и вводили в дома, о которых молодой художник мог только мечтать. Таким был Итальянский, таким был Кикин, пусть он и не ездил с нами в Италию, но его рекомендательные письма, его имя открывало перед нами двери. Юлия Павловна, графиня Жюли — в ее салоне бывали запросто Россини, Беллини, Доницетти. Графиня финансировала постановки первых опер Джузеппе Верди на сцене театра «Ла Скала» и немало сделала для успеха последних. В ее доме в Италии и России бывают Василий Андреевич Жуковский, Федор Иванович Тютчев, бывал ныне покойный Сильвестр Феодосиевич Щедрин, Александр Иванович Тургенев и многие другие. По приезде в Милан поэт Вяземский первым делом явился к Самойловой, дабы увидеть настоящую Италию — собрание ее картин! Это она устраивала бесконечные выставки, собирая изысканную публику, убеждала поддержать талантливого художника в прессе. Она не ходила по домам, не обивала пороги вельмож — вельможи шли на поклон к ней — к великой русской. Вилла на озере Комо, дворец в Милане, имение Груссе под Парижем — везде размещались богатейшие коллекции произведений искусства, собранные многочисленными

представителями семей Литта и Висконти. А сколько он повидал из окна ее кареты?

И вот теперь Юлия здесь. Должно быть, уже с Карлом в его мастерской или приказала разыскать его и доставить в ее дворец на Елагином острове, в «Славянку», или где она разместилась. Прекрасная, непостижимая женщина!

* * *

Наверное, мы могли бы проговорить целый день, но краткий перерыв закончился и Александр Павлович был отозван приехавшими от поставщика грузчиками, привезшими бережно завернутые в оберточный материал скамьи для прихожан.

«Юлия в Петербурге, — звучало у меня в голове, точно колокольный звон. — Наконец-то я увижу ее. Увижу музу Карла не на картине, а лично...»

Я размечтался, и мне совсем не хотелось возвращаться домой. Я зашел по пути в «Золотой якорь», дабы выпить бокал вина и хоть как-то успокоить свои мысли. А что, если Карл пожелает познакомить меня с божественной Юлией? Это было бы очень мило с его стороны. Да что я говорю «мило», — великодушно. Ведь Александр Павлович абсолютно прав: что мы без заказчиков? А Юлия Павловна вполне могла бы заказать что-то по своему вкусу. Впрочем, ладно с заказами, что у меня заказчиков мало? Посмотреть на нее, перемолвиться парой фраз, пусть и ничего не значащих. Но... сохранить в памяти, может, зарисовать... Редкость, диковинка, чудо!

Рассуждая так, я подозвал к себе расторопного полового в застиранной рубашке с кушаком, заказал себе белого вина, пирог с черемшой, балыка и икры. Отыскал с виду спокойное место за одиноким столиком у окошка и, кивнув на него половому, устроился там, погружившись в сладкие грезы. Общая зала нисколько не изменилась с того дня, как я в последний раз был здесь с Федором Солнцевым. Стены были выкрашены масляной темно-зеленой краской, потолок казался коричневым из-за трубочного дыма, даже висевшая тут со времен царя Гороха люстра казалась черным пауком, расположившимся над отдыхающими и раскорячив гнутые чугунные черные лапы, с которых свисали черные от копоти стекляшки. Тут же передо мной возникла пепельница, бутылка вина и грубый бокал, через пару минут подоспела красиво нарезанная рыба, миниатюрная вазочка с икрой, из которой торчала небольшая ложечка. Следом уже несли пирог и тарелочку с сыром — подарок от хозяина. На соседнем столике передо мной какой-то купец, одетый в длинную бекешу и шаровары, уплетал воняющие на все заведение щи со сметаной; рядом со щами стояла глубокая тарелка с квашеной капустой, из которой торчала одинокая, цветом своим сильно напоминающая сигару сосиска. Купец или, возможно, он был только похож на купца, был явно доволен собой. То и дело, довольно чавкая, незнакомец озирался по сторонам, явно выискивая, с кем из добрых людей можно было бы перекинуться парой слов.

Вскоре меня отвлек бесцеремонный шлепок по плечу. Я обернулся, тут же наткнувшись на усатую морду уже достаточно набравшегося Яненко в стареньком порванном в подмышках тулупчике с компанией еще трех потрепанных личностей.

Все хочу спросить тебя, Петр Карлович: правда ли, что государь наш, Николай Павлович, увидев твою работу, сказал как-то: «Ну, Клодт, ты делаешь лошадей лучше, чем жеребец»? — Яненко зашелся в хохоте.

Правда. — Я пожал плечами. Что тут поделаешь, если правда. Сколько лет назад государь изволил пошутить, а до сих пор помнится, зараза. На моем могильном памятнике, пожалуй, выбьют именно это изречение.

— Да ты не тушуйся, брат, ишь зарделся, точно красна-девица. Мужчине такое должно быть приятно,

или я не прав? — Ему с радостью поддакнули его товарищи. — Кстати, я только что от Великого. Сбежал, можно сказать, от праведного гнева, ребята могут подтвердить. Явилась беда, откуда не ждали. — Он мерзко захихикал.

Ага. Видели разбушевавшуюся итальянскую фурию. — С готовностью пояснил маленький лохматый собутыльник с пропитым лицом и фингалом под глазом.

Юлия Павловна у Брюллова? — Невольно вырвалось у меня.

У него. Не у меня же. — Расплылся в слащавой улыбке Яненко. — Влетела, Карла с постели подняла; нас, точно сор поганый, из дома выбросила; кухарку, Эмилией нанятую, рассчитала и тут же уволила. Лукьян за ней ходит бледный, трясется, песий сын, что его за растрату барских денег к ответу призовут, каналья. И правильно сделают, потому как толковый лакей завсегда с господского рубля гривенник для себя припрячет, а этот плут, пожалуй, всю полтину загребает. Говорят, день-два Юлия Павловна дела с наследством своего дедушки порешает[\[45\]](#) и в Славянку двинутся.

* * *

Карл уедет? Уедет, не предоставив объяснительную? Не получив развода? Бросив все? Уйдет вслед за этой непостижимой женщиной, исчезнет, только мы его и видели?

Мой ошарашенный вид заставил приятелей дружно рассмеяться. Они стучали по столу кулаками и требовали немедленно выпить за бабу Карла. Я встал и, сунув какие-то деньги слуге, выскочил вон.

Домой или к Карлу? А если у него Юлия Павловна? Не так я представлял себе встречу с графиней Жюли, но что тут поделаешь? Должно быть, Карл уже знает, что я договорился с Лангером, уверился в нас и в ус не дует. Или... тут мне припомнилось, как Карл обычно пишет — быстро, страстно, только по охотке, пока горит в нем огонь, что-то различают глаза и держат ноги. Мне говорили, что работая над большими произведениями, он буквально отваливался от холста, падая без чувств там, где только что стоял.

«Я завидую тем, кто может работать день за днем, как брат Александр, как ты, как другие... я не такой». Вспомнилась фраза, оброненная как-то Карлом. Да, он все делает на порыве: любит, пишет, дружит. Все запоями. Не сделал, пока было вдохновение, дальше уже навряд ли. Оттого и мастерская сплошь заставлена недописанными холстами, оттого и толпы обиженных заказчиков, которых досада берет, что проходят месяцы и годы, а обещанной картины как не было, так и нет.

А Юлия... судя по всему, тоже буря и ураган. Стихия, способная взорвать и нести силой своего непостижимого гения. Не исключено, что сейчас Карл вовлечен в феерическую орбиту и теперь уже несется по радужным волнам навстречу бог весть, какой беде.

Определенно, Карла следовало остановить, переговорить с Самойловой, втолковать ей всю опасность положения ее друга, если уж собственная репутация ее не волнует. Впрочем, она не могла не знать о том, что происходит с ее Бришкой. Не зря же Александр Павлович писал ей в Рим, не удовольствия ради она летела в Россию, желая только одного — спасти любимого. Прикрыть если не от удара правосудия, то хотя бы от демона отчаяния.

Когда-то поговаривали, будто бы Карл и Юлия собираются пожениться. Почему бы и нет? Для кого-нибудь другого подобный неравный брак был бы невозможной преградой счастью, но только не для последней Скавронской, живущей по своим собственным правилам. Почему бы и нет? Она сказочно богата, знатна и, судя по работам Карла, невероятно красива, он — известнейший художник, академический профессор. Александр Павлович получил дворянство и имеет свой герб[\[46\]](#), отчего же и Карлу не испросить для себя того же?

Мысли завертелись с неожиданной скоростью. Что им мешает обвенчаться? Только не расторгнутый пока брак Брюллова. Но если за дело взялся Лангер, вопрос можно считать решенным. Они и так столько лет жили вместе, открыто на глазах у всего света. Отчего же теперь? А может, как раз сейчас они и планируют свою дальнейшую совместную жизнь, в ожидании развода и скорейшего бракосочетания?..

Наверное, следовало взять карету, но вместо этого я шел и шел к себе ли, к Карлу ли... а впрочем, дорога-то одна. В конце концов решил, что если увижу зажженные окна Карловой мастерской, сперва зайду к себе и пошлю туда слугу с упреждающей запиской, а уж потом и сам...

Впрочем, красные окна в тот день оказались черны. То ли Юлия увезла Карла, то ли... я свернул к себе, раздумывая над превратностями судьбы, отчего-то вознамерившейся сначала сделать из меня защитника Великого Брюллова, а затем, в насмешку, умыкнув его самого.

Глава 6

Проезжала ли через Варшаву графиня Самойлова? Вытворяла ли она свои фокусы, то есть, уселась ли на облучке вместе с кучером, с трубкой во рту и в мужской шляпе на своей завитой и растрепанной голове? Она презабавная и, я думаю, немного не в себе.

Из письма О. С. Павлицевой мужу в Варшаву

О местонахождении Карла я мог гадать достаточно долгое время, так как бессемейный и дружелюбный художник мог оказаться буквально где угодно, в том числе и в самых неожиданных местах. Поэтому я решил на следующее утро, сразу же после завтрака, ехать к Лангеру. В конце концов, что еще я мог сделать? Носиться по всему городу в поисках исчезающего за поворотом шлейфа божественной Юлии художника? Разыскивать его по трактирам и друзьям?

Единственным разумным решением оставалось, не теряя самообладания и не пытаясь даже предсказать, куда могла увезти Великого его неистовая муза, как можно спокойнее и основательнее закончить начатую работу и ждать Карла, который должен был появиться либо у меня, либо у Лангера.

Мне показалось, что само время, подобно табуну диких лошадей, вдруг сорвалось с места и понеслось неведомо куда, сметая все на своем пути. Еще совсем недавно я спокойно работал в своей мастерской, ездил в манеж, время от времени навещался в усадьбы желающих сделать заказ господ. Я весело проводил время с Уленькой и детьми, когда вдруг в мою жизнь ворвался сначала Карл, с которым, несмотря на утреннюю пальбу и его в высшей степени отталкивающее окружение (я имею в виду Михайлова, Мокрицкого, Яненко и, пожалуй, обоих Кукольников), я все же мог как-то поладить. Когда же на сцене нашей неспешной петербургской жизни вдруг возникла Юлия... нет, эта женщина, подобно грозной стихии, подобно извержению самого Везувия, решительно сокрушала все наши планы и сложившиеся жизненные устои.

Показалось забавным уподобить графиню извергающему красную лаву вулкану. Перед сном я сделал несколько набросков, в которых волосы женщины, внешне немного похожей на Юлию Павловну, обращались в потоки красного огня. Ничего хорошего не получилось, но засыпал я с мыслями о Юлии и огне. В моем сне плавился металл, и рыжие кони, по многим легендам появившиеся из воды, выпрыгивали из огненной реки...

Наутро сон неожиданным образом сбился: нас разбудил курьер со спешной депешей, распечатав которую, я, к своему ужасу, узнал, что буквально прошлой ночью скончался Василий Петрович Екимов, руководитель Литейного двора Императорской Академии художеств и мой старый знакомец, большая умница и человек, знавший свое дело, что называется, досконально. Впрочем, что греха таить, насколько Василий Петрович был симпатичен мне, насколько не относилась к нему по-доброму Уленька (Екимов со своими помощниками частенько бывал у нас). Но в первую минуту я не имел права предаваться своему горю, оплакивая ушедшего друга. Дело в том, что редкостного упрянца Василия Петровича много раз просили позаботиться о том, чтобы оставить после себя достойного преемника, назвать ученика, который бы смог принять на себя руководство Литейкой. И всякий раз эти невиннейшие просьбы наталкивались на неизменный отказ, основанный, как мне кажется, на банальном суеверии, что стоит только ему, Екимову, назначить наследника, как тотчас он сам должен будет слечь в могилу. Теперь же литейный цех должен был встать, пока из-за границы не будет выписан достойный мастер.

Добавьте к вышесказанному, что мастера-литейщика нужно еще и отыскать, причем такого, который

непросто согласился бы переехать в Петербург, но и знал бы особенности нашего литейного производства, в котором хоть и были взяты за основу заграничные печи, но они за время использования неоднократно ремонтировались и переделывались. Иными словами, литейный цех при Академии должен был взять кто-то из своих. У меня был некоторый навык литья, полученный еще в артиллерийском училище, я знал цех, неоднократно помогая Екимову и перенимая у него мастерство. Кроме того, никто в эту пору так не нуждался в работе Литейки, как я. Две пары скульптурных композиций, которые были изначально изготовлены для Английской набережной, должны были теперь вознестись над перестроенным Аничковым мостом, причем первая из них была уже реализована в натуральную величину и готова к переводу в бронзу. С тем же посыльным я отправил письмо с моими искренними соболезнованиями по поводу кончины незабвенного Василия Петровича и косвенно намекнул, что намерен сделать все зависящее от меня, дабы работа в литейном цеху не была приостановлена и все заказы выполнены.

* * *

Нестор Кукольник приехал в Петербург сразу же по окончании курса в Нежинской гимназии в надежде найти себе хоть какое-нибудь место. Места не было и, не имея иного занятия, Нестор Васильевич спокойно работал над своей поэмой «Торквато Тассо», начатой в гимназии. Доделал, поставил точку и нет, чтобы попытаться продать и получить хоть какие-нибудь деньги, перечитал, решил, что негодна, сжег и тотчас сел писать заново.

Шло время, взятые с собой деньги убывали, Кукольник перестал искать место, но зато закончил поэму. Снова не продал ее, разорвал все тетради, сжег обрывки и в третий раз засел за работу.

Когда он закончил третий, и последний, вариант, денег уже совсем не осталось, нечем было платить за жилье, не на что пообедать.

В то время занесла его судьба к товарищу по гимназической жизни [\[47\]](#) Василию Игнатьевичу Любич-Романовичу. Посетовал Нестор о своем бедственном положении однокашнику, даже пригрозил, что скоро ноги от голода протянет или утопится, дабы не дожидаться, когда хозяин за долги его с позором на улицу выгонит. В долг, должно быть, взять хотел, так как со времен существования альманаха «Навоз Парнасский» подмечено было, что Любич всегда деньгу имеет и, если на жалость надавить, может выдать энную сумму, не оговаривая сроков. Но в этот раз все по-иному сложилось, как говорится, «не было и гроша, да вдруг алтын». Гостили в то время у Любича издатель Карлгоф, карикатурист Невахович и барон Розен. Представил им добряк Любич Кукольника, рассказал о его чудесной поэме и между делом подтолкнул друзей к идее помочь продать оную, дабы рассчитался Нестор с долгами.

Тут же выяснилось, что поэма несообразно велика, так что ни один журнал ее с гарантией не возьмет, а пытаться уговорить издателя выпустить отдельной книжечкой вообще невозможно, так как автора никто не знает.

Решили отнести в лавку Смирдина на Невский. Тут же собрались и без канители и отговорок забрались в экипаж и полетели кукольниково счастье искать.

Встретил их Александр Филиппович как добрых друзей, руки жали, лобызались по христианскому обычаю, но вот рукопись наотрез отказался купить. Даже взгляд бросить не удосужился. Автор, говорит, неизвестный, да еще и с такой фамилией — Кукольник — смех один... вот кабы вы мне Пушкина принесли, тогда...

Потоптались гости, да, видно, не судьба, забрали рукопись, но только больно уж возвращаться с пустыми руками не хочется: уезжали-то со щитом, а возвращаются вроде, как и на щите. И так и смя

покумекали, да ничего другого не оставалось, как сброситься, сколько есть, выкупить у Нестора его поэму да и издать собственными силами.

Так и сделали. Кукольник получил пятьсот рублей, чем был более чем доволен, а друзья издали поэму, барыши с продажи которой покрыли и расходы, и гонорар.

Прошло сколько-то времени, Кукольник сделался известным поэтом, издателем и автором «Художественной газеты», и тогда уже сам Смирдин не постеснялся явиться к нему домой на Мойку^[48] с поклоном и, вручив сумму, превышающую первый гонорар Нестора Васильевича, как величайшую драгоценность забрал рукопись «Торквато Тассо» в переиздание.

Глава 7

Недавно она вздумала устроить деревенский праздник в своей Славянке, наподобие праздника в Белом Доме Поль де Кока; поставили шест с призами — на нем висел сарафан и повойник: представьте себе, что приз получила баба 45 лет, толстая и некрасивая! Это очень развлекло графиню, как вы можете представить, и все её общество, но муж героини поколотил её и все побросал в костёр. Тогда графиня велела дать ей другой и приказала носить его как награду за ловкость. Говорят, что офицеры, которые явились без позволения на этот праздник, наавтра были под арестом. Графиня Самойлова прекрасно себя чувствует и очень весела. У неё живет юная итальянка, которой она даёт миллион — ей всего четырнадцать лет.

Из письма О. С. Павлицевой мужу, сентябрь 1835 г.

Карла я нашел в его мастерской. Поднявшись с первыми лучами солнца, ой вдохновенно чиркал готовые эскизы. Я заглянул через плечо мастера и сразу же узнал божественно-прекрасные черты Юлии.

— Да. Она приехала. Она спасет меня, увезет в Рим. Здесь я больше никому не нужен. Она — все, что у меня осталось, последняя надежда. — Карл был сильно подавлен, но при этом он, как обычно, мог спокойно работать в присутствии посторонних — признак уверенного в себе человека, а значит, не все еще было потеряно. — Я напишу Юлию, покидающую маскарад вместе с дочерью. Понимаешь, маскарад — место, где все закрывают свои лица масками, но при этом все друг друга непременно узнают. Узнают и делают вид, будто видят впервые. Верные жены, прячась под масками лицемерия, отдаются в уголках сада усатым красавцам. А почему нет — это же не они, а нимфы, царицы Клеопатры, таинственные принцессы... Никто не осудит этот садом, и даже императрица жеманится под маской с вуалеткой в компании «влюбленных» в нее молодых вертопрахов. Как приятно и загадочно, как необыкновенно, никто не распознал свою государыню, но почему-то все крутились возле никому не известной француженки, расточая ей клятвы любви и верности... мерзко, подло. И главное, все играют в это! Юлия сбрасывает маску и уводит за собой дочь. Хватит ей травиться гнилыми миазмами насквозь больного общества. Вон отсюда! На волю! На природу! К естественному и прекрасному.

Я напишу сам момент ухода, последний момент, когда за ее спиной еще не успеет запахнуть алый бархатный занавес, и зрители смогут увидеть ничем не защищенные, чистые лица матери и дочери, за спинами которых продолжает гудеть маскарад шабаша.

Мы покидаем маскарад, Петр. Мы все вместе должны, нет, просто обязаны уехать из страны, где честное имя человека топят в грязи. Куда угодно: на Корсику, на Мадейру, мы уже обо всем говорили. Слушать бродячих скрипачей, пить вино в бутылках темного стекла, есть лепешки с сыром. Она согласна. Вместе и навсегда.

* * *

Несомненно, Карл был уязвлен и подавлен. Весь груз последних дней, необходимость вспоминать всю свою жизнь, раскрывать позорные семейные тайны, постоянно ощущая змеиный шепот за спиной,

сделали свое дело. Карл выглядел смертельно уставшим, как земля, с которой уже сошел снег, но на которой не зацвел еще ни один цветок. Черная размокшая, с клочками прошлогодней травы, сквозь которую пробиваются крошечные зеленые ростки будущего великолепия. Живя последнее время без единого лучика света, теперь он оживал у меня на глазах. Болезненно, тяжело, но все же возвращался к жизни. Смущало другое — «вместе и навсегда». Я много раз слышал о том, что Карл и Юлия открыто жили как любовники. Теперь же, для того чтобы по-настоящему обелить Брюллова перед обществом, Юлия должна была пожертвовать своим положением в обществе, своим именем и репутацией, став из графини Самойловой госпожой Брюлловой. А это было невозможно, пока Карл не получит развода. Не собираются же они заключить фальшивый брак? Это так же, как и открытое незаконное сожительство, ни в коем случае не возвысило бы Карла в глазах общественности, а наоборот — ввергло бы его и Самойлову в бездну греха и вызвало бы новое, но теперь еще более сильное негодование общества.

Нет, определенно, они не могли так рисковать.

В то время я еще не знал лично ее сиятельство и не мог предсказать, как поступит она, если Карл притащится к ней побитой собакой. Униженный, растоптанный, отчаявшийся. Сумеет ли она, видя мучения своего друга и любовника, руководствоваться здравым смыслом или бросится спасать его и в результате погибнет сама?

Впрочем, если Александр Павлович получил от государя дворянство, отчего же Карл не сможет выпросить того же для себя? После «Помпеи», после церкви Петра и Павла. Ему уже готовят новый орден, так отчего же доброму государю не вникнуть в настоящие нужды непоследнего своего подданного?

Если Карл получит дворянство, брак с Юлией Павловной не приобретет от этого статус равного. Но последней Скавронской позволено более чем другим. Всю жизнь окруженная поэтами, художниками и музыкантами, она вполне может выйти замуж за прославленного художника — безумный, хотя и чертовски красивый жест.

Так глядишь, при благоприятном раскладе... но не стоит задумывать слишком далеко. Может не сбыться.

Если все пойдет именно так, Брюллов должен будет до конца своих дней прославлять имя Юлии Павловны.

Прощаясь со мной, Карл сообщил, что весь сегодняшний и завтрашний день Юлия Павловна намерена провести в компании стряпчих и юристов по делу, связанному с наследуемым ею за покойным графом Литта имуществом, а уже в пятницу они поедут в Графскую Славянку, где будут ждать нас с Уленькой и детьми.

— Необыкновенным человеком, я полагаю, был граф Литта, — как бы задумавшись о чем-то своем, пробормотал на прощание Карл, — в семьдесят лет читал без очков, пил, как гусар, нравился женщинам. Юлия спросила камергера его сиятельства: как скончался ее любимый дедушка? Какие последние слова произнес он на этой земле? Тот, потупившись, сообщил, что буквально за минуту до смерти покойник съел вазу мороженого, вмещающую добрых двенадцать порций, после чего, отдышавшись, произнес: «На этот раз мороженое было просто восхитительно!..» и, нежно улыбнувшись, отдал Богу душу.

* * *

Признаться, я не надеялся свидеться с Карлом до рассмотрения его дела в Сенате, но неожиданно он явился на рассвете, звоня и стуча у дверей и будя заспанных слуг, а вместе с ними и весь дом.

Вид у него был помятый и всклокоченный, словно Великий и не ложился всю ночь. Тем не менее, он

согласился позавтракать, но ел мало и был как бы не в себе. Едва выпив горячего молока и проглотив кашу, он заторопился увести меня в кабинет для серьезного разговора. Утренние часы — лучшие часы для работы, но сам вид Карла просто кричал о том, что мне следует забыть и о работе, и о личной жизни, посвятив несколько часов общению с ним. Поверженный лев, упавший с небесных высот орел, Карл явно страшился предстоящего объяснения у Бенкендорфа, опасался, что своевольная, влюбчивая Юлия покинет его, не хотел остаться один, чтобы снова угодить в лапы братьям Кукольникам, Яненко, Глинки...

Подобно тому, как напуганное грозой животное пытается проскочить в теплый и с виду защищенный дом, Карл искал спасения у нас. Наверное, следовало отправить его к Уленьке или, взяв детей, поехать кататься за город. Но, понимая, что мы будем вынуждены возиться с ним, как с больным или ребенком, он заранее решил, что не будет ни на что жаловаться, с деланной бодростью в голосе уверив меня, будто бы приехал исключительно по делу. А именно — продолжить рассказ о своей жизни, дабы я мог, в случае, если отыщу в его рассказе что-то по-настоящему важное и нужное для объяснительной, не мешкая, сообщить об этом Лангеру, чтобы последний добавил сие в документ.

Что же, узнать побольше о семье Брюлловых и о Карле лично не расходилось с моими честолюбивыми планами, поэтому я занял свое место у письменного стола, позволив гостю избрать для себя покойное кресло у окна или у небольшого столика, на который нянька тотчас поставила какие-то сласти в плетеной из прутьев изящной вазочке.

Ох уж эта нянька... всюду бы ей сунуться. Лет десять уже, как грожу отправить ее на отдых, положив пенсию, но все мои благие намерения она неизменно встречает криком и слезами, де я от нее избавиться пытаюсь.

Вот и теперь она, такая же морщинистая и улыбчивая, как в далеком детстве, ходит по дому, стараясь доглядывать решительно за всем, втайне от всех таскает сладости Мише и Маше с Сашей, с гостившими у нас детьми брата шепчется часами о балах и приключениях, гадает на корабликах и воске... Какая уж тут пенсия, одинокий домик в деревне? Разве в сказках волшебники уходят на покой? Перестают с годами творить добро? Разве сказки и песни стареют? Нет, покуда маленькие девочки вроде Машки ждут своих принцев, и мальчики грезят поддвигами.

Впрочем, это я отвлекся, а Карл... Карл сразу же присел у стола, запустив руку в вазочку со сладостями, и теперь уминает за обе щеки, только за ушами трещит.

— Ты написал в прошлый раз, что я знаком с французским консулом в Чивитавеккья [\[49\]](#) Анри Бейлем?

— Со Стендалем-то? А как же, давно уже записал, — я пожал плечами.

— Ага.... — Брюллов на секунду задумывается, — черт его знает, важное ли это знакомство? Стендаль — замечательный писатель и книгу о Риме великолепную написал [\[50\]](#), но только имеет ли смысл о нем говорить? Вот ведь напасть. Жуковский приезжал в Рим. Встречать его собирались все наши... разумеется, не только русские, но ведь люди искусства, поэты, писатели — они тоже наши. Стендаль сам хотел Василия Андреевича по улицам своим любимым водить, показывать, рассказывать, как это только он умеет. Александр Иванов, Александр Иванович Тургенев тут же... маршруты разрабатывали до хрипоты, чуть ли не до взаимных обид доходило. Что первым делом прославленному пииту представлять, куда опосля повести. Где и чем кормить? Вести ли есть великолепную, только что пойманную рыбу, а что, коли не поймают? Оперу слушать или на древности глядеть... к кому первому в гости? Я водил его в Рафаэлены Станцы, в Палаццо Боргезе... разговоры, стихи, бесконечные прогулки по милым сердцу местам... — он машет рукой, — закружилось, завертелось — не остановишь... Познакомился с Вальтером Скоттом — после апоплексического удара писатель приехал в Италию лечиться. Глыба — не человек. Но какой уставший!

Каждое движение, пусть физическое, пусть душевное дается с трудом. На правую ногу хромал, да и рука правая того... не дай бог. — Карл перекрестился. — В замок один, который описывать собрался, прогуляться изволил, посетил Торвальдсена и меня. Все! На большее сил не хватало. Сгорал, можно сказать, на глазах.

Напротив «Помпеи» поставили покойное кресло. Так он несколько часов просидел в нем, думая о своем. Огромен, неподвижен, суров. Такого бы написать, да... Теперь уже поздно размахивать кистями, рухнул колосс, три удара пережил, а четвертый его и свалил. Да, мне б тогда его хотя бы в карандаше... такая мощь, такая силища... Очень понравился.

В то время я мог все... или мне так казалось. Народ в буквальном смысле слова носил меня на руках, для них, для итальянцев, я был «наш Карл»! Дорогостоящий!

Уже потом, когда Демидов увез картину в Париж, и я вдруг ощутил себя пустым, точно и не человек, а одна только оболочка. Отдыхать... хотя бы просто сидеть и дышать... думать или даже просто смотреть в одну точку, понимая, как устал! Говорят, берись за следующую картину, удиви мир. Вот Монферран Август Августович воздвиг какой-то столп в Петербурге, который за глаза Монферрановым зовут. Сам, правда, от этого названия отнекивается, боится, что государь осерчает. Но наши-то все знают, что себе памятник на века возводил, зараза везучая! Удачная работа — ничего не скажешь. Талантливый человек Монферран, хоть ты что тут возражай. Вот и моя «Помпея» — на века. Хотя и надоела мне чище горькой редьки, давно пора создать что-то лучшее... Вот «Гензерих»^[51] мой — ничем не хуже... а славы такой не заслужил. «Осада Пскова» — досада одна!

Но это я тебе потом как-нибудь расскажу. «Помпея» да Александрийская колонна, сиречь Монферранов столп — памятник нашей беспокойной эпохе, ее живой нерв, неразбериха, величие духа, перемешанное с подлостью и предательством, истовая вера с безверием...

Вот, отступая от темы, девятого октября тридцать первого года, греческий президент Каподистрия отправился на утренний молебен в церковь, где его убили двое подосланных убийц. В дверях храма! Храма, в котором в прежние лета любой преступник мог скрыться от преследователей. А в наш век даже церковь — уже не прибежище, Господь — не защита! Но это я отвлекся.

Монферранов столп вырубался из скалы четыре года, потом везли на специальном судне, набережную для него перестраивали, чтобы принять. — Эпопея... весь Петербург, вся страна, вся просвещенная Европа следила...

Моя «Помпея» на своем судне в 1834 году прибыла в Париж, на выставку в Лувр. Оттуда в Петербург.

Не хочу ехать с Юлией Париж, в ее имение... прежде хотел, теперь что-то не тянет. В Турцию, в Грецию... смотреть древности, беседовать о вечном, пить вино и есть простую пищу. Впитывать солнце и воду, голубое итальянское небо, горы... Как же я устал тогда... как устал...

Бежал от несмолкающих оаций, от друзей и поклонников, от непрестанных возлияний и кутежей в Афины, и, точно кур в ошип, угодил в царство лихорадки, которая тут же заключила меня в дружеские объятия и не отпускала долгие дни, а может, и недели.

По улицам на возах везли тела, тела, тела... как дрова для топки. Солдаты из казарм, мирные горожане, женщины, старики, дети... Придворный доктор Видмар лечил меня кровопусканием. Как только чуть полегчало, я выбрался из дома, шатаюсь и плохо разбираю дорогу. Шел неведомо куда. К храму Юпитера, как понял, уже добравшись. Нещадно кружилась голова и была такая слабость, что, кажется, сел бы да сидел, лег да лежал... но останавливаться нельзя — по мостовой длинной вереницей тащатся телеги с гробами. По несколько на каждой. Кажется, остановишься — зацепят за шиворот, кинут в соломку между

траурными ящиками, стиснут с двух сторон деревянными одеждами мертвецов, да и сверху придавят. Так и шел, не разбирая дороги, так и спешил, подгоняемый мертвецами.

Отвернувшись, он смахнул слезу. — По достижении совершеннолетия греческий трон был передан баварскому принцу Оттону. По поводу торжеств в витринах магазинов были выставлены портреты нового короля; трактиры украшались гербами и праздничными лентами; оркестры репетировали прямо на улицах, а гробы все двигались и двигались, грохоча на неровных мостовых.

Гагарин старший был спешно направлен посланником в Мюнхен, Гришка должен был выехать в Константинополь, где его ждало место при российском посольстве. Тем не менее, в Афинах он умудрился отыскать меня, предложив составить ему компанию.

Комфортабельная каюта русского брига «Фемистокл», милые, душевные беседы, отличная кухня. И что немаловажно, образцово выученная команда, повсюду, куда ни кинешь взор — чистота и аккуратность...

Дальше, дальше... надо постараться убраться как можно дальше отсюда, туда, где меня уже не найдут... шептался я с волнами, наблюдая слаженную работу моряков. Самое смешное, что как раз в это время в Рим была доставлен приказ «О возвращении художника Брюллова для исправления профессорской должности в Академии».

Хорошо, что меня не было в Риме, и я мог еще хоть сколько-нибудь пользоваться свободой. Я обосновался в Константинополе, где гулял, работал, пил целебные воды, просиживал в кофейнях, курил кальян. Словом, жил. Устав от навязчивого общества русских дипломатов, я уговорил Гришу снять в городе комнату на двоих, куда мы вскоре и переехали к общей радости.

Карл вольготно откидывается в кресле, достает из кармана золотой портсигар, открывает, протягивает мне. — Не побрезгуешь? Мокрицкий недавно по моей просьбе привез из белокаменной, — выговаривает он с нарочитой небрежностью, косится на меня: проникся ли? Позер!.. — в сарептской лавке приобретенные по двадцать семь рублей пятьдесят копеек сотня.

Я откладываю перо, лениво тянусь за сигарой. Карл уже отщипнул кончик, поднес свечу. У-у-у блаженство. Какое-то время, молча, раскуриваем. В ожидании моего приговора «хороши ли?» Карл снимает щипцами нагар со свечей. Нервничает. «Хорошо ли? Не зря деньги отдал?» — словно спрашивают его глаза.

«Хороши, не зря» — отвечаю кивком, прижмуривая глаза и по привычке откидываясь в покойном кресле и кладя ногу на ногу.

— Удружил братишка. Потрафил!

— Наверное, застань меня высочайшее повеление в Риме, я пал бы духом, но, должно быть, Господь или кто-то там наверху распорядился, чтобы, живя в Константинополе и читая привезенную Гришей Гагариным книгу Карамзина, я заразился идеей написать «Осаду Пскова», которую было невозможно сделать ни в Греции, ни в Турции, ни в Италии. Когда сложился замысел и я уже почти что бредил картиной сражения, вдруг пришел тот самый приказ, который, не застав меня в Риме, был отправлен сначала в Афины, и затем в Константинополь. Своевременно и хорошо!

Мы слезно распрощались с Гришей, облобызавшись по русскому обычаю, напоследок сказал «прости» всем новым и старым друзьям и приятелям. До самого трапа «Императора Николая» меня провожал близкий друг моего кумира Пушкина Василий Туманский^[52]. Ах, Пушкин. Мечтал познакомиться, хотя бы приблизиться, поговорить... теперь и только теперь я вдруг понял, насколько мне нужно в Россию. В Россию, где был он!

После 182-часового изнурительного плавания сквозь шторм, дождь со снегом и снег со льдом 17 декабря 1835 года пароход «Император Николай» прибыл из Константинополя в Одессу, привезя на своем борту шестерых пассажиров, среди которых был я.

Глава 8

Одесса — молодой город Новороссии, юный, по сравнению с другими городами, но норовистый, дерзкий, зазорный. Поднялся на месте турецкой крепости едва ли сорок лет назад. Общество, конечно, не Петербург, но тоже... дамские туалеты в большинстве случаев выше всяких похвал — модные европейские фасоны, хотя попадают и откровенно безвкусные вещи. Женщины говорливы, веселы и смелы до слов и поступков.

В мою честь был дан обед в Одесском клубе, отменный обед с балом, играми и последующим показом городских достопримечательностей. В это же время в Петербурге разразился нешуточный скандал: государю Николаю пришла вдруг охота инспектировать работы художников, которые были высочайше заказаны для церкви Святой Троицы Измайловского полка. В протоколе осмотра относительно выполненных образов было сказано, что те «равномерно дурно написаны». После чего академическому начальству было приказано объявить выговор всем художникам, чьи произведения отметил государь, с составлением соответствующего протокола. В числе не угодивших государю оказался мой учитель Алексей Алексеевич Егоров. Бедный старик! Тысячу раз жалею, что не был в тот момент рядом с ним.

* * *

...Градоначальник Алексей Ираклиевич Левшин, что возил меня в своей карете по холоду для осмотра молодых рощ и садов, был розовощек и говорил по-русски с забавным гэкающим акцентом. Очень ему хотелось заполучить меня к себе художником. Должно быть, рассчитывал, каналья, сделать из Карла Брюллова очередную примечательность, на которую будут потом глазеть приезжие. Знал мое больное место — так сладко пел про местный климат, который более благоприятен для моих легких, нежели столичный. Да еще уверял, что вскорости Новороссия станет как бы второй Италией. Проказник. Граф Воронцов ему в том способствовал, расхваливая местное общество и обещая мне беззаботную жизнь сродни той, что я, по его мнению, вел в Риме. Воронцова Елизавета Ксаверьевна — женщина, воспетая Александром Сергеевичем, — он воровато оглянулся и понизив голос, почти прошептал:

«Прозерпина в упоенье
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет
И молчит и томно стонет».

Или вот это:

«Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан».

Великий озорник был Александр Сергеевич. Но только вот, что со мной ни делай, даму его сердца я красивой никак назвать не смог. Впрочем, должно быть, к моему приезду она специально растолстела и подурнела. Или вкус у нас не совпадает. Хотя, думаю, мои избранницы, даже те, что на одну ночь, точно не

оставили бы равнодушным русского арапа... Таких же, как у него, мне и вовсе не надо. Уж лучше в монахи, чем такое наказание!

Признаться, когда мне сказали, что будет графиня Воронцова, я еще подумал, может, задержаться да... поработать... пописать ту, что подарила поэту талисман, раскрасавицу-то... а как узрел... — «государь торопит... по высочайшему повелению»... в дорожную кибитку и только меня и видели. Зима, мороз, вдоль берега ледяные торосы, зеленоватые, точно стены разрушенного замка, торчат, а я в лисью графскую шубу и в Москву...

— Почему в Москву-то? — не понял я. — Государь в Петербурге ждать изволит, Академия в Петербурге?

Характеристики, данные моим другом признанной красавице графине Воронцовой, меня не просто смутили, а на какое-то время заморозили в соляной столб, так что я не посмел даже возмутиться.

— Надо было, — лукаво усмехнулся Карл. — А тебе зачем?

— Государь ждет, по высочайшему повелению...

Недоумение Карла кажется странным. Я достаю коробку с сигарами, беру наугад, прикуриваю от свечи и только после этого протягиваю приятелю.

— Коли для официальной бумаги, можешь написать, что в Большой театр спешил, на игру Щепкина да Молчанова полюбоваться... шучу. Можно сказать, что по-другому тут и не доедешь... или... ну, в общем, придумай что-нибудь извинительное.

Москва закружила почище Одессы... размах. Шел на один званый обед, с него на другой, следующий... потом бал, гуляния, катания... театр... где-то заночевал и снова визиты, обеды... я не отказывался, да и не особо соглашался, меня просто брали под белы ручки и вели или даже на руках несли в следующий дом. День-ночь, сутки прочь. Устал играть — танцуй, устал танцевать — берут лихача и... сквозь снежную вьюгу — весело! Вечером вдоль улиц зажигают желтые фонари, снег искрится. Замерз — вот фляжка с крепким вином или водкой-медовухой. Выпил и согрелся. А дома — гитары... романсы, цыганские песни... хорошо!

Именно в Москве, на обеде у Матвея Алексеевича Окулова, был я представлен Павлу Воиновичу Нащокину — еще одному близкому другу Александра Сергеевича, который, вняв моим просьбам, согласился написать рекомендательное письмо к Пушкину.

Это письмо было для меня заветным пропуском к великому поэту. Потому как собственная мировая слава — это одно, а вот при одной мысли о Пушкине, не поверишь, робел. Да, казалось бы, князей, графьев сколько на своем веку повидал, с королями, принцами да герцогами дружбу водил. А к нему, хоть застрелись, не смел без протекции явиться. Полным дураком себя чувствовал. Как вспомню стихи его — мороз по коже. Не человек — человечище! Волшебник, бог!!![\[53\]](#).

* * *

В доме Тропинина Василия Андреевича — открытость и радушие. Не только к людям; исполняя старинный русский обычай, Тропинин с супругой каждый день кормят у себя в комнате с окнами на Кремль целое полчище тараканов. А те — умные твари — знают время и являются, как по сигналу, аккуратно в восемь часов. Все, сколько их ни есть в квартире, с семьями да малыыми детишками. Попьют, поедят каши и на покой. Василий Андреевич говорит, что после кормления сутки не видит и не слышит этих насекомых. По словам супруги Тропинина, тараканы несут в дом богатство. Посему обидишь таракана, пеняй на себя: заказов не будет и, как следствие, денег.

Василий Андреевич нынче первый портретист Москвы! Заказов у него на много месяцев вперед набрано. Должно быть, тараканы дело знают. Подсуетятся, где надо, глядишь, в скором времени и переедет Василий Андреевич в собственный дом из частного, что у Каменного моста, где он снимает квартиру. Хотя Тропинин из бывших крепостных, в сорок семь лет вольную получил, так что вряд ли решится когда-нибудь собственным домом обзаводиться. В Петербург его звали, зазывали... да он общества чурается, говорит, лучше уж в тихой, спокойной Москве век доживать, лучше в неизвестности, чем среди чужих ему людей, в океане страстей и интриг...

И то верно подмечено, Москва — тихое, покойное, патриархальное место. Хорошо бы на старости лет поселиться где-нибудь в ее нешумном центре, подальше от хлопот и жизненных превратностей. Вот и его сиятельство граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин по декабрьскому делу сначала был заключен в крепость, откуда отправлен в действующую армию на Кавказ. Послужив полных два года, граф получил предписание, обязывающее жить в Москве, что лишний раз подчеркивает спокойный характер этого милого города....Из гостей в гости, потом снова какие-то гости, потом театр, Щепкин Михаил Семенович, очень приятный человек. Обязательная опера, потом за город — в санях кататься, а после гуляние. На мне шуба лисья, теплая — страсть, сам-то я холода дюже боюсь и болею, и мысли разные, все больше печальные, одолевать начинают. От того с собой вина накрепчайшего несчетно, пирожки, шанишки, пряглы, лепешки со всяческими припёками. Сколько и чего, не скажу. Много. Все теплое, прислуга специально в особый короб уложила, платками да полотенцами завернула, да только разве так жар на морозе-то удержишь? В рот их, сколько ни есть, еще на пути к цели, щедро запивая водкой или коньяком. Ничего, на месте еще раздобудем. На Великой неделе недалеко от села Новинское — гуляние. Качели, карусели, балаганы с куклами да сколоченные на скорую руку, яркие, как все вокруг, едальни. Раскрасневшийся, потный мужик в пестрой рубахе с заплатами-ластовицами под мышками весело подзывает желающих отведать блинков, которые он тут же печет сразу на двух огромных сковородах. Девчонка лет двенадцати, рыжая да веснушчатая, тут же накладывает на тарелки грибки да жареный лучок; желающим отведать сладенького, мальчишка, сын блинодела, щедро обливает блинки медом и вареньем.

Пляски с медведями и дрессированные, обученные арифметике собачки, жонглер и обязательный атрибут любой ярмарки — факир, для чего-то на этот раз названный ученым-физиком из Багдада.

В Москве — особый дух, не похожий ни на Питер, ни на что иное. В Москве были написаны тропининские «Золотошвейка» и «Кружевница», там же я создал свою «Светлану», ну, ты видел. Балладой Жуковского навеяло.

Вот красавица одна;
К зеркалу садится;
С тайной робостью она
В зеркало глядится;
Темно в зеркале; кругом
Мертвое молчанье;
Свечка трепетным огнем
Чуть льет сиянье...

Перовский Алексей Алексеевич, у которого я имел неосторожность поселиться, ел меня поедом, отчего я пьянствую с друзьями, тратя драгоценное время, отпущенное мне Всевышним, а не заканчиваю полюбившееся ему «Нашествие Гензериха». Я пытался объяснить, но... какое там... да, боже мой, при всем уважении к нему, не дело, живя в Москве, писать Рим и в Италии — тот же Псков! Другая натура, земля, воздух — все другое! Не понимал!

Написал его портрет — хороший, честный. Сам Алексей Алексеевич хвалил, но... добрейший, если разобраться человек, недужный только и, должно быть, от того нетерпеливый и излишне требовательный. Вот заладил: пиши ему Гензериха, и хоть я тут костыми ляг, от своего не отступил бы.

Семенову писал — раздобрела княгиня, раздалась... да и сдала, если честно. По-старушечьи оседать начала, и во взгляде и даже голосе что-то точно надтреснуло, так что хоть и по-прежнему хороша была Федра, а вот что-то в ней уже порядком прокисло.

Свел знакомство со скульптором Витали Иваном Петровичем, который потом изваяет меня, а я за это напишу его. Тут же Ванька Дурнов суетится, старается со всеми меня перезнакомить, повсюду поводить. Маковский Егор Иванович — бухгалтер Экспедиции кремлевских строений и так-сяк художник, с красавицей-женой Любовью Корнеевной. Тоже ее писал, не как-нибудь, в мехах... Красивую женщину вообще приятно писать — хоть в соболях, хоть вообще без ничего... М-да... без ничего... натурально...

В Москве, как известно, художественной школы отродясь не было, а вот желающих учиться хоть отбавляй. Вот так и получилось, что Маковский придумал организовать натурный класс на Ильинке, в квартире художника Ястребилова. Там и собиралось общество, чем-то помогали друг дружке, передавая опыт и копируя ту или иную гравюру, а то и приглашая неопытных натурщиков позировать. Впрочем, я того класса уже не застал, так как к моему приезду генерал-губернатор князь Дмитрий Владимирович Голицын уже дал разрешение открыть в Москве художественный класс на Никитской, где 28 января 1836 года был устроен обед в мою честь.

Там и ученика своего первого — бывшего крепостного графа Мусина Пушкина обрел. Хорошо! Вот как выходит, душа моя, что Карл Брюллов, при всех своих недостатках, а хоть бы именем своим какую-никакую пользу приносит. К примеру, класс на Никитской или опять же «отпускная» Липину, которого благороднейший человек Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин на волю отпустил, дальнейшее его учение в Академии оплатив. А не взял бы я ученика? Вот то-то и оно.

Но что самое важное, то, из-за чего непременно в Москву надо было ехать, — с Александром Сергеичем знакомство свел! Да не как-нибудь по пьяному делу, как это у нас, художников и литераторов, испокон веку заведено, и не я его искал, заветное рекомендательное письмо Нащокина на груди своей исстрадавшейся согревая, а, можешь представить, он меня!

В самом начале мая^[54] зашел он к Перовскому визит нанести, потому, как доподлинно знал, что я там. Познакомились. А я как раз на месте. И не в стельку пьян, как тебе это, наверное, воображается, а с утра не пригубивши. Алексей Алексеевич, бестия эдакая, мне только рассольчику да щей суточных изволил налить. А вино или медовуху строго-настрого запретил подавать.

Так, можно сказать, за мольбертом меня наш гений и застал. Я как раз хотел перерыв сделать.

Рисунки, эскизы смотрел, что-то хвалил, теперь уж не упомнишь. А... «Нашествием Гензериха» восторгался. Как это только он умеет — шумно, весело! Говорил, что видел «Помпею», но только «Гензерих» и ее переплюнет, встав выше! Дивный рассказчик, так бы слушал его и слушал! А как много знает, насколько приметлив!

Потом, когда я уже от Перовского дёру дал, он туда без меня еще заходил, на «Гензериха» смотрел, о чем я доподлинно знаю от самого Алексея Алексеевича, он таким хитрым способом пытался меня вновь картиной заинтересовать и через то вернуть. Другой раз у Витали пути сошлись^[55]. Иван Петрович, оказывается, давно уже Александра Сергеевича к себе зывал бюст лепить, а пока тот не шел, Витали уговорил меня позировать ему. Решил запечатлеть, и все тут. Мол, обидится кровно, коли опять мимо мастерской щеглом развеселым пролечу. Что тут поделаешь, пришлось поскучать. А тут и Пушкин пожаловать изволил. Вот радость-то!

Витали все его усаживать пытался, а тот ни-ни... Не позировать, душевно пообщаться, мол, заходил, женой своей хвастал да как бы, между прочим, и приговаривал, мол, истинному скульптору было бы лестно изваять Наталью Николаевну, потому что та красоты невозможной, и надо бы такого ангела непременно запечатлеть.

Впрочем, если бы Витали решился жену лепить, он бы тогда тоже согласие свое дал. Позируя для вечности, скуки бы хлебнул. Между бокалами и сигарами, что из Сарептской лавки на Никольской, меня в Петербург зазывал, раскрасавицу эту неземную рисовать. А я? Для друга всегда готов.

Как на духу, на 14 мая договорились, еще пару дней позировал перед Витали, и потом он передо мной, и 18 мая заглянул в последний раз к Маковскому, где собрались в мою честь друзья, к Пушкину^[56] забежал — он у Нащокина остановился. А от него уже в дилижанс и прощай, Белокаменная! Прощайте, кремлевские друзья!

Глава 9

Хорошо жить у Соболевского, что ни час — гости, да непросто так о погоде поговорить, планы один другого грандиознее, потому как все сплошь известные люди. У Соболевского и Пушкины — Александр Сергеевич и Лев Сергеевич, и Кюхельбекер, и Гоголь — друзья. Сергей Александрович — первый человек по улаживанию разногласий и устранения недоразумений, коих между талантливыми людьми обычно происходит во множестве. Все в работе, в идеях: то журнал создать с Гоголем, то сборник народных песен с Пушкиным, то незадачливого писателя с издателем свести, то эпиграмму на обоих написать [\[57\]](#).

Из дружеского расположения Соболевский вел некоторые финансовые дела Александра Сергеевича и тот раскошелся как-то, издав один экземпляр своих «Цыган» на отличнейшем пергаменте, дабы преподнести его Сергею Александровичу как дар дружбы.

Сюда, к вновь заболевшему после приезда в столицу Брюллову, явился повидаться перед отъездом за границу Гоголь. Здесь, у крошечного камина, в окружении свертков, чемоданов и ящиков квартира Соболевского выглядела так, словно он только вчера в нее переехал, они говорили о солнечной Италии, в которую стремился вернуться Брюллов и куда уезжал нынче Николай Васильевич. Щедрый Карл писал на черновой бумаге адреса знакомых в Риме, которые должны были, по его уверению, принять писателя и помочь ему устроиться там на первое время, а потом не выдержал, бросил листок в кресло. Писатель, так пусть сам и записывает, схватил карандаш и, продолжая диктовать, принялся писать Гоголя.

Получилось недурно. Довольный Брюллов долго любовался рисунком, но не подарил его Николаю Васильевичу, а пообещал сохранить в своем сердце, сунул в папку, щелкнув замочком.

* * *

Парадный мундир был заказан, сшит и примерен трижды за несколько дней до праздника, которым Академия художеств встречала вернувшегося из-за границы своего знаменитого сына. 11 июля, в четыре часа, Карл приехал на Васильевский, где его давно ждали. В окружении нескольких чиновников и профессоров Оленин встретил его при входе, попытался подать руку, когда Карл Павлович вылезал из экипажа, но тот со смехом отверг эту несвоевременную помощь, без излишних церемоний обняв директора. После чего дежурившие у дверей швейцары распахнули сразу обе створки дверей, впуская долгожданного гостя. Как ни стремился Карл поговорить с Олениным, тот решительно пропустил его вперед, предусмотрительно отстав на полшага и слегка поддерживая того под локоток. Карл подчинился, весело глядя на выстроившихся в его честь учеников, проследовал в круглый зал, где с папкой заготовленного текста в руках его приветствовал конференц-секретарь Василий Иванович Григорович. Последовала взволнованная речь. Слегка склонив набок голову, Брюллов слушал, милостиво улыбаясь и то и дело, косясь по сторонам, выискивая знакомых. Наконец Григорович остановился, заиграла музыка, и со всех сторон к Карлу начали подступать знакомые и незнакомые люди, ему жали руки, обнимали, целовали, выражая восторги. Кто-то спешил напомнить о себе, кто-то отрекомендоваться, заверяя в искреннем уважении и дружбе. На радость Брюллова, академическое начальство распорядилось пригласить однокашников Карла, чем доставило ему искреннюю радость. Утопая в объятиях и поцелуях, Карл заметил среди смирно стоявших в углу профессоров сухонький силуэт своего учителя Иванова и бросился к нему на шею, громогласно заявляя, что без этого великого человека не было бы и его, Брюллова, и многих других замечательных художников. Иванова хотели качать, но ворчливый старик со злостью отпихивал от себя желающих почтить его столь диким образом, упрямо твердя, что Брюлло, мол, сам молодец, и это его праздник. Тем не менее, уже прошел слух, что сразу же по возвращении в Петербург

Карл, не повидав отчего дома, как был в легкой заграничной одежде, прибежал именно к нему — к своему старому учителю. Что говорило о многом.

Проследовали в Античную галерею, кто-то из распорядителей махнул платком, и грянул давно ожидавшийся своей очереди хор академистов:

Да здравствует славный! Хвалой да почится!
Брюллова приветствуйте: юношей сонм
И мужи, чьим гением русский гордится...

Карл стоял, терпеливо ожидая финала. Кантата была нехороша и длинна. Зачем все это? Новые знакомства, речи, потом под руки его ведут к «Последнему дню Помпеи», где разместился при полном параде с начищенными до блеска трубами полковой оркестр и расставлены столы. Мелькают знакомые и незнакомые лица, к Брюллову протискиваются Жуковский и Крылов, быстро жмут руки, обнимаются, спешат занять приготовленные для них места. Первый тост, по традиции, провозглашается за государя, Брюллов выпивает до дна и тотчас, в обход раз и навсегда принятым правилам (второй тост за него, третий за начальство), предлагает выпить за своих любимых учителей Иванова и Егорова. Не видя подле себя своих непосредственных наставников, Карл хватает свой бокал и, обходя стол, добирается до них, чокается с каждым.

Кто-то коронует Брюллова лавровым венком, взлетает в небо веселая пенная струя шампанского из только что открытой бутылки. Не успевший увернуться от «салюта», Карл со смехом срывает с головы венок, взмахивает мокрыми кудрями и надевает зеленую корону на голову красного от гнева за излишнее к себе внимание Иванова.

Перешептываются смотрящие на знаменитого Брюллова во все глаза у стены два незамеченные никем гимназиста — Иван Гайвазовский^[58] и его друг Василий Штернберг: «Иванов-то в опале. Уже удивительно, что за стол со всеми посадили. Так он еще и венком его наградил! Вот силища! Никого не боится!» — с восторгом громко шепчет на ухо приятелю Иван.

«А он — Брюллов — во всем такой! Попасть бы к нему в ученики! Вот у кого учиться. У настоящего художника, а не у этих, что только мертвые антики способны научить рисовать».

Крылов пил много и ел еще больше; его засаленный старенький фрак, казалось, вот-вот лопнет от чрезмерного старания баснописца. Сидящий рядом с ним Жуковский ел мало, улыбаясь происходящему и рассеянно разглядывая тайком пробирающихся в зал учеников, которые, желая получше разглядеть великого Брюллова, протискивались между прислугой, замирали в дверях или даже осмеливались подойти к столам, стремясь дотронуться до своего кумира. Впрочем, не исключено, что в круглую залу их привлекала не только мысль одними из первых узреть увенчанного лавром Карла, а соблазнительные запахи, исходившие от стола.

Когда знатные гости наелись и разошлись по галереям, Григорович нашел возможным представить Карлу Павловичу академика Мокрицкого, коего рекомендовал как весьма одаренного юношу и своего земляка, предлагая взять Аполлона в ученики прямо сейчас, что формально будет означать начало профессорской деятельности. Карл не мог отказать^[59].

* * *

Всегда завидовал тем нашим общим друзьям, которые умеют эдаким непостижимым образом живописать словами. Вот и Карл, который вовсе не причисляет себя к хорошим рассказчикам, на деле способен такое творить со словами, что картины прямо предстают перед тобой, оживая и обретая

ярчайшие краски.

Вот и теперь я словно сам побывал в Одессе, поглядел на ледяные торосы, поездил вдоль молодых посадок, потанцевал на балах. Что же до персонажей, то портреты многих из них я и прежде видел на выставках или в домах у друзей.

Так что могу представить довольно-таки живо.

Прощаясь, Карл попросил меня позвать Уленьку и торжественно объявил, что графиня Самойлова просила нас быть в Славянке на Купалу со всеми находящимися дома детьми и Леночкой Солнцевой, коли она до сих пор у нас.

Пообещав непременно быть и напомнив Карлу о его долге до отъезда в «Славянку» предоставить отчет на имя начальника Третьего отделения графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, я тоже вышел из дома и, поймав извозчика, направился к Лангеру, который уже с порога удивил меня готовым и переписанным каллиграфическим почерком письмом. Безупречное во всех отношениях, причем совершенно честное и откровенное, оно произвело на меня глубокое впечатление. Так что, не соглашаясь отобедать с благороднейшим Валерианом Платоновичем и выразив ему свои восторги и слова благодарности за меня и за Брюллова, я не мешкая ни минуты помчался к Карлу, дабы вручить ему из первых рук требуемый документ.

Судьба явно улыбалась Брюллову!

Глава 10

Это — сокровище; невозможно представить себе ничего более элегантного в смысле мебели и всевозможных украшений. Все ходят смотреть это, точно в Эрмитаж. Ванная комната её вся розовая, и волшебством цветного стекла, заменяющего окно, все там кажется светло-розовыми, и сад, и небо чрез это стекло приобретает бесподобную окраску, а воздух кажется воспламененным. Говорят, это напоминает небо Италии, — признаюсь, у меня от него заболели глаза, и когда я оттуда вышел, мне всё, в течение трёх или четырёх минут, представлялось зелёным.

Сергей Пушкин (отец поэта)

Как и было договорено, мы явились в Славянку через пару дней после того, как Карл посетил Александра Христофорыча, вручив тому составленное Лагнером письмо. Теперь оно называлось не рапорт и не объяснительная, как предполагалось ранее, а «Прошение о разводе». Вручив документ и проскучав в кабинете Бенкендорфа самое большее четверть часа, Карл получил за свои страдания и мытарства однозначный приказ немедленно развестись. Мы — это я, Уленька, Миша, Саша, Маша и Георгий, которым, разумеется, не терпелось увидеть легендарную графиню Жюли, которую писал дядя Карл, и которая, по слухам, курит, точно мужчина!

— Только смотри, чтобы дети ненароком не проговорились о браке Юлии Павловны и нашего Карла, — шепнул я жене на ухо, когда мы садились в карету.

Карл ведь до сих пор не открылся, что намерен просить руки графини, хотя именно к этому все и клонилось. Во всяком случае, Александр Павлович наедине сообщил мне о том, что несколько дней у графини будет многолюдно и весело, так как попроситься с ними явятся лучшие друзья и родственники. Говоря о родственниках, он, ясное дело, имел в виду родственников Карла, так что было понятно, на что он намекает.

Они поженятся не у нас, а где-нибудь за границей. Возможно, так изначально и было запланировано. Присмотрели себе какой-нибудь собор, — устраивая в карете малышей, предположила Уленька.

Аполлон Николаевич говорит, у графини две приемные дочери, и у дяди Карла вроде как сын имеется. Так они, что же, теперь одной семьей жить станут? — совсем не кстати встретил в разговор Георгий.

— А нянька говорит, будто бы одна из дочерей Юлии Павловны не приемная, а... — попытался изобразить из себя пожившего и знающего о сложностях человеческих отношениях не понаслышке Мишка, за что тотчас и получил от матери по губам.

— Услышу еще что-нибудь в том же роде, и все вернутся домой, — спокойно подвел я итог содержательной беседы. Действительно, глупость мы сделали, что повезли всю эту ораву в гости. Хотя не будь с нами детей, возможно, какие-нибудь существенные детали происходящего так и не дошли бы до нас с супругой, оставив вопросы и непонимание.

* * *

Уже при подъезде к усадьбе я приказал остановить карету, дабы без спешки полюбоваться

прекрасным творением Александра Брюллова. Да, именно прекрасным, а я понимаю под этим прежде всего удобный для жилья, изящный и современный стиль. Потому как красота может быть разная — красота просторных залов, в которых хорошо балы проводить, а в остальное время только и думаешь, как протопить пустую хоромину, по которой, точно фамильные призраки, гуляют опасные для здоровья сквозняки. И совсем другое дело — небольшие уютные комнаты с мягкими восточными диванами, игорными столиками, большими пепельницами и прочими радостями современной жизни. Нет, определенно современный, стремящийся к новому и прогрессивному человек, не может жить по правилам, навязанным прабабушками и прадедушками. Наша жизнь, наш быт разительным образом отличается от всего, что было прежде, а следовательно, и наша одежда, и средства передвижения, и дома должны отвечать этой бурлящей, постоянно изменяющейся жизни.

Дом Юлии Павловны был именно таким. Здание, стоящее как бы на перекрестке двух эпох: уходящего классицизма, от которого Александр Павлович взял изящный и простой фасад, открывшийся нам со стороны дороги, как бы официальный вид, мундир дома, и — это мы разглядели немного позже — новые модные влияния, отразившиеся в композиции фасада, обращенного в сад.

Но я обещал хотя бы немного описать вид, открывшийся нам с широкой дороги, ведущей к дому Юлии Павловны Самойловой. Итак, перед нами возвышался изящный двухэтажный особняк с сильно подчеркнутым центром в виде завершенного фронтоном ризалита с главным подъездом. Рельефный герб на центральном фронте над входом и два мирно лежащих каменных льва — традиционное уже украшение парадных подъездов. Все со вкусом и изяществом — ничего лишнего.

Не позволяя детям бежать к дому, я добился того, что сначала каждый из них признал дом выдержанным в строгих канонах классицизма. Затем предложил отыскать на оценки (которые позже должны были обернуться сладостями) элементы, не имеющие отношения к этому стилю архитектуры, модные штрихи, которые Александр Павлович, точно маг и волшебник, вписал в свой проект, сделав их условно невидимыми.

Несмотря на нетерпение детей и их понятное желание как можно скорее войти в дом и познакомиться с легендарной Самойловой, мы с Уленькой удерживали их некоторое время, подначивая маленьких следопытов заняться собственным расследованием. Так, очень скоро были обнаружены небольшие плоские пилястры, расчленяющие собой тройное окно, не имеющие отношения к классицизму, потом Георгий указал на начертание герба Самойловой — мелкий сухой, рисунок которого был бы неприемлем лет эдак тридцать назад, а теперь ставший ярчайшей приметой нового времени.

После короткой лекции по архитектуре, состоящей из нескольких моих дополнительных замечаний и разъяснений относительно найденного детьми, и оборванной бестактными требованиями Маши и Саши немедленно препроводить их в уборную, мы все же вошли в дом.

* * *

Юлия Павловна произвела на меня глубочайшее впечатление. Невероятная красавица с темными, чуть влажными глазами и длинными пушистыми ресницами, говорящими о ее безусловно южном происхождении. Живая и подвижная. Понятия не имею, как Карл мог писать ее. Во всяком случае, Юлия не производила впечатления человека, способного хотя бы часа два простоять перед мольбертом. С моей супругой они тотчас расцеловались и защебетали, будто были знакомы всю жизнь. Меня она порадовала не только приличным знанием моих работ, но и тем, что, оказывается, Карл рассказывал ей о той незначительной помощи, которую я оказывал и продолжаю оказывать ему, предоставляя свои рисунки и глиняные скульптурки коней. Боже, какая, если разобраться, мелочь и как одновременно с тем приятно,

что она — Юлия Павловна — вспомнила об этом!

Да, Карл непросто боготворил эту женщину. Теперь я понял, почему, упоминая о последней Скавронской, Александр Павлович неоднократно произносил слово «друг» — Юлия знала работу Карла, что называется, с изнанки. Последнее впечатляло.

К слову, уж насколько Уленька близка моему сердцу, знакома чуть ли не со всеми моими друзьями и разговор поддержать может, и в картишки перекинуться, а что греха таить: с лошадок моих глиняных она усердно стирает пыль, а чтобы хотя бы раз вот так вникнуть в суть...

Карла еще не было, но гости уже начали съезжаться, так что все ели и чаевничали, когда кому заблагорассудится. Мы с Уленькой и находящейся здесь же племянницей художника Егора Ивановича Маковского — Надеждой Михайловной, приехавшей к Юлии Павловне с изящным ридикюлем из серебряного атласа, отправились прогуляться по саду. Дети отпросились с Амалицией и няньками покататься в карете, запряженной красивыми черными лошадами, в гривы и хвосты которых были вплетены золотые ленты. Несколько раз развеселая компания прокатилась мимо нас, размахивая платками и шляпами.

Ах, Петя, боюсь, что сегодня здесь намечается непростой вечер, — кивнула Уленька в сторону наряженной в белое кружевное платье с красным пояском Амалиции, — как же дурно я буду выглядеть в своем простом платье рядом с Юлией Павловной и ее гостями. Боюсь, как бы эти господа не сыграли с нами злой шутки.

Вечером переоденешься в синее платье, — пожал я плечами, — теперь же... с кем ты надумала себя сравнивать? С детьми? Что до меня, то скажу тебе как художник — тебе необыкновенно идет это платье и шляпка, особенно на фоне листвы и этих цветочков, не знаю, как они называются...

Матушка-покойница, называла их «разбитые сердечки». — Уленька зарделась от комплимента, незаметно сжав пальчиками мой локоть и косясь на притихшую Наденьку.

Все складывалось пока как нельзя лучше. В усадьбу мы приехали с расчетом на пару дней, так что теперь можно было отдохнуть, расслабиться и рассмотреть все как следует.

Итак, в отличие от главного, садовый фасад был выполнен сообразно с самыми модными тенденциями и веяниями. Так что невольно создавалось впечатление, что главный, парадный фасад был сделан для официальных гостей, а внутренний, садовый, — для друзей и любимых. Итальянский стиль со множеством скульптур — две сидящие женские фигуры у лестницы, барельефы «фортунов» над окнами боковых эркеров, лепнина над окнами, широкий балкон с изящной оградой, чем-то напоминающей драгоценный пояс на наряде красавицы.

Гуляя, мы подошли к деревянному зданию театра, сделанному в народном стиле — очень модно и современно! Дорогая постройка, сделанная с фантазией и трудом немалым. Некоторое время назад я возил Уленьку со старшими детьми полюбоваться на «Русскую избу»^[60] в Екатерингоф — творение нашего неугомонного Монферрана. Еще нужно будет посетить «Никольский домик» в Петергофе. Кто знает, может, мальчики пойдут в архитекторы? Так пусть заранее учатся на примере созданного. А то закажут им павильон в русском средневековом стиле, а они, как это у нас иногда делают нерадивые зодчие, поставят домину из дерева, в точности повторяющую точно такую же из камня. Смех один!

Александр Павлович — человек, тонко чувствующий и заказчика, место расположения, и, что немаловажно, душу материала. Оттого и театр у него удался на славу. Вот столбы, например, шероховатые стволы деревьев — одна фактура чего стоит, дощатые и резные наличники, фигурные кронштейны. Архитектор извлекает чудеса из дерева, такие, какие невозможно получить из камня, и в этом его безусловная находка.

* * *

Возвращаясь после прогулки, я заметил изящную фигуру Валериана Платоновича Лангера, гуляющего по дорожке и мирно беседующего с Иоганном Дроллингером.

Несколько раз видел выпархивающую встречать очередного гостя Юлию Павловну.

— Должно быть, Карла что-то задержало, — толкнула меня локтем Уленька. — Ну что он такой нескладный, неужели непонятно, что ее сиятельство будет нервничать?

Я снова посмотрел на Юлию Павловну, только теперь уловив некоторую нервозность в ее движениях. Сначала я принял это за веселость и подвижность. Уленька была права: Юлия Павловна то поправляла перчатку, то вдруг начинала трепать пальцами веер. Высокая и стройная, она великолепно смотрелась на фоне кружевной беседки. Внезапно Юлия заметила нас и призывно замахала рукой, чтобы мы шли скорее. Немало удивленные такой поспешностью, мы прибавили шага, но она сама вдруг сорвалась с места и побежала навстречу нам.

— Ради бога, не волнуйтесь, Петр Карлович, Иулиания Ивановна. Мари подавилась вишневой косточкой, но ее тут же осмотрел доктор, и сейчас она в моей спальне. Извините, что так получилось. Кто же мог подумать, что они станут танцевать с набитым ртом?

Мы поблагодарили графиню и тотчас все вместе поднялись на второй этаж, где Юлия Павловна открыла перед нами массивную дверь розовой спальни. Как я сам, дурак, не догадался?

Машенька, немного бледненькая, но вполне здоровая и неиспуганная, сидела у зеркала, разглядывая хозяйкину шкатулку с драгоценностями, а возможно, и дегустируя коробочки с косметикой. Заметив нас, озорница попыталась было метнуться к постели, но не успела.

— Я вижу, тебе уже лучше? — Стараясь не давать воли чувствам, я подошел к дочери и, решительно взяв ее за руку, заставил вернуть «награбленное» на место.

— Горлышко не болит? Ты не испугалась? — Тут же присела перед Машенькой Юлия. — Что, брошечка понравилась? Но так возьми ее себе, ангелочек. Я как раз думала, что бы тебе подарить на память. Спроси маменьку с папенькой, можно ли мне подарить тебе? — Юлия подмигнула опешившей было девчущке, и та уже без страха посмотрела на меня.

Я был вынужден кивнуть. Юлия обняла Машеньку, после чего ошастливленная пигалица ткнулась в подол матери. Мы извинились и заторопились к выходу. Покидая спальню графини, я кинул взгляд на частично разобранный для Маши широкую постель под балдахин и был удивлен странным вензелем на простынях. Обычно такие вензеля специально заказывают монахиням в монастырях или отдают вышивать искусным мастерицам. Но дело не в трудоемкости вышивки или какой-нибудь несоразмерности рисунка — тут все было в полнейшем порядке, а в том, что две красиво изогнутые и переплетенные между собой буквы не являлись инициалами Юлии Самойловой или Юлии Пален. Юлия Павловна сама сказала нам, что Машеньку отвели в ее спальню. Тогда выходит, что графиня спит не на своих простынях?..

Уже на лестнице я заметил, что моя плутовка крепко сжимает что-то в кулачке.

— А ну-ка показывай, что там у тебя? — со строгостью в голосе потребовал я.

— Ничего, — глазки девчущки забежали.

— А вот я тебя! Немедленно отвезу в город. Никакого праздника!

— Вот, — Маша протянула мне бумажный комочек, тут же залившись слезами.

Весь листок был исписан вензелями двух переплетенных букв «Ю» и «Б»; наклонные и размашистые, с великолепными завитушками и больше похожие на цветы-вьюнки, эти две буквы заполняли весь лист. «ЮБ» — то же, что и на роскошных простынях... загадка.

— Юлия Брюллова! Они поженились? Мы присутствуем на свадьбе? — Уленька сжала мою руку в своей. — Где же Карл?

* * *

Нет, они не поженились, это она — прилетевшая из далекой Италии графиня Жюли — еще только примеряла на себя новую фамилию, готовясь узаконить отношения с давним возлюбленным, сделавшись скромной госпожой Брюлловой. Она уже решила это, будучи в Италии, и либо везла с собой мастерицу, либо, что более вероятно, послала вперед себя спешный заказ. Ее дом был убран к долгожданной и роковой свадьбе, что бы та ни несла для отважной Юлии.

Она явилась в мастерскую Карла Брюллова, где на правах будущей жены уволила кухарку, сделала выволочку слуге, потребовав бежать в лавку и срочно изжарить для нее и Карла по два сочных ростбифа. Выделила Карлу деньги, дабы тот мог подготовиться к венчанию — тайному или открытому. А когда он не взял, сделала вид, будто бы покупает какую-то заброшенную за шкаф акварель. Она была готова отправиться хоть к рижскому губернатору, хоть к самому государю, любой ценой вызволив из позорящих его семейных уз великого художника. Вот зачем на самом деле приехала Юлия Самойлова.

И она же теперь находилась в более чем щекотливом положении — с одной стороны, она уже заказала белье и, возможно, посуду с новыми вензелями. Кто-то из близких друзей, безусловно, был посвящен в планы Карла и Джулии. С другой — Карл хоть и получил развод, но отчего-то запаздывал. Еще немного — и Юлия Павловна будет опозорена перед посвященными в их планы друзьями. Еще несколько часов без виновника торжества и она — блистательная Юлия — останется одиноко стоящей у алтаря невестой. Невестой без жениха.

Я представил, что было бы с Уленькой, если бы я, попросив у Мартосов ее руки, вдруг передумал, бросив ее совсем одну терпеть насмешки и унижения. Но если Уленька была приживалкой и прислугой, то Юлия Павловна — последняя из Сквронских — являлась ни много ни мало родственницей государя! Даже при той секретности, которая была предпринята ею, слухи о том, что художник Брюллов пренебрег природной аристократкой, безусловно, просочились бы, чтобы расплзлись отравленными водами на весь Петербург, на весь мир!

Глава 11

Карл явился под вечер, после того как гостям был представлен весьма талантливый виолончелист, имени которого я, занятый своими мыслями, не запомнил. Говорили о триумфальной опере Глинки «Иван Сусанин», которая значилась на афишах как «Жизнь за царя», но здесь, в кругах служителей муз и людей, так или иначе приближенных к миру искусства, она упоминалась не иначе, как изначально назвал ее сам композитор. В этом было нечто бунтарское, революционное, отчего делалось весело, как от шампанского. Впрочем, возможно, что в этом легком, радостном настроении вино сыграло далеко не последнюю роль. Мы не были на премьере[61], так что «Жизнь за царя» мы с Уленькой послушали только недавно, когда улеглись первые страсти, и можно было не бояться случайно нарваться на неприятную сцену в фойе или буфете. Потому триумфальной, если честно, опера была для райка[62], в то время как партер и ложи восприняли ее в лучшем случае с легким недоумением. С одной стороны, тема, безусловно, патриотическая, а с другой — лапотники на сцене. Натуральные мужики, а не пейзажи. Никакой тебе любви, никаких захватывающих приключений, ни, по крайней мере, красивого романтического героя, на которого можно было бы любоваться. Впечатление двоякое... честно говоря, лично я не в восторге. Но молодежь... молодежь стучала по паркету креслами, в антрактах выкрикивала патриотические стихи, основные арии были распечатаны вместе с нотами и продавались при входе в театр и на этажах. Да еще Одоевский написал восторженную статью об опере Глинки.

* * *

Карл был немного пьян, но последнее никого особенно не смущало, говорил о своем разводе, похвалившись той молниеносностью, с которой было рассмотрено его дело. Бывшую супругу даже не поминал. Рассказывал о своих встречах с Вальтером Скоттом, с которым бродил по Риму, рассуждая об участии современного художника. А потом вдруг переключился на небезызвестную маркизу Висконти-Арагону, которая, по его уверению, забрасывала его записками с просьбами о встрече.

Я заметил, как при упоминании о сопернице Юлия прикусила нижнюю губку. Впрочем, Карл никогда не любил маркизу, в чем он тут же признался внимавшим ему гостям, он честно пытался нанести ей обещанный визит, дабы маркиза отстала от него. Но всякий раз на пути его художника вставало дьявольское искушение в лице дочери ее привратницы, в которую Карл был в то время страстно влюблен.

Таким образом, хоть его и видели ежедневно приезжающим в дом к маркизе, все время он проводил в коморке под лестницей, так ни разу и не поднявшись в будуар прекрасной дамы. Эта история, которая была бы более или менее прилична в мужском обществе, теперь больно ранила Юлию и вызвала недоумение у находившихся тут же детей.

Впрочем, поняв, что Карла не остановить, родители тотчас отослали своих отпрысков в соседнюю комнату, где те могли выпить молока и других разрешенных им напитков, не подвергая свои чистые души и светлые умы воздействию историй пикантного характера. Мы с Уленькой последовали общему примеру и были весьма довольны происходящим, так как сразу же после неприличной истории с дочерью привратницы выяснилось, что Карл вообще не помнит имени этой девушки.

Потом он вдруг заявил о своем разочаровании в женщинах вообще, называя своей истинной женой художество. После этого пассажа Карлу было предложено отдохнуть в его комнате, куда он и направился, опираясь на руку Александра Павловича и появившегося откуда-то нашего Георгия. Предусмотрительная Юлия выделила своему избраннику отдельные апартаменты, что было во всех смыслах разумно.

Когда Георгий вернулся, часть гостей уже играла в фанты, часть раскладывала карты, а я в компании еще нескольких художников пил французское вино, дымя сигарами.

— А далеко ли отсюда расположен Семеновский полк? — стараясь казаться, будто ему нет до этого никакого дела, спросил вдруг вернувшийся Георгий.

— Что? — не понял я. — Откуда я знаю? А что?

— Да вот, — он нехотя сунул мне измятый клочок бумаги. — Из кармана Карла Павловича выпало, когда мы укладывали его почивать. Я знаю, читать чужие письма — грех. — Поспешил он вывернуться, — но только как бы я узнал, чье это письмо?

Я опустил глаза на записку, заранее зная, что ее содержание не обрадует меня.

— Может, это не Карлу Павловичу? Там ведь еще Александр Павлович был... — С фальшью в голосе переспросил Жорка. — Не мог же он в такой день...

Я цыкнул на парня, и он стремглав бросился в сторону детской гостиной, где шло веселье.

* * *

Не могу сказать наверняка, являлась ли помолвка Карла и Юлии плодом нашего воображения или само провидение позволило мне на секунду узреть связующие нити судьбы, как знать?.. На следующий день Карл и Юлия вели себя весело и непринужденно, я бы даже сказал, подчеркнуто, неестественно весело. Юлия Павловна все время смеялась, ласкала детей, затевая с ними шумные игры. Вечером она не отпускала от себя Карла, ероша его волосы и поминутно называя «Драгоценным Бришкой».

— Поведай, поведай, проказник эдакий Бришка, в кого влюблен ныне? В Нану или еще в кого? Я ведь за всеми твоими прелестницами уследить не в силах, так что откройся сам, не томи. А то мало ли что мне про тебя добрые люди наговорят. Всегда надежнее услышать из первых уст, — ворковала над курчавой головой устроившегося у ее ног Брюллова графиня Жюли.

— Вот люблю я Бришку, господу, люблю и ценю, как никто любить и ценить уже не будет. Потому как, вы уж меня простите, не будет у тебя вовек, гадкий Бришка, более верной и преданной подруги. На слове «преданной», Юлия сильнее дернула Карла за вихор, и тот, шутовски гримасничая, распростерся перед ней, умоляя богиню простить провинившегося смертного. Мы с Уленькой переглянулись. Да, Юлии было больно, так больно, что она смеялась, чтобы скрыть рыдания. Я заметил, что алое платье ее сиятельства было точь-в-точь таким, как занавес на последнем ее портрете работы Карла. Занавесом, отделяющим ее от мира карнавала, мира масок и лжи. Безусловно, очень скоро мы услышим о Юлии Павловне что-то такое, что повергнет нас всех — участников бесконечного человеческого карнавала — в страх и ужас, подумалось мне. Пройдет совсем немного времени, и последняя Скавронская, графиня Самойлова, урожденная Пален, покинет маскарад страстей и лжи, совершив нечто такое, после чего весь окружающий нас мир будет принужден измениться. Эта мысль оказалась пророческой.

Но не стану раскрывать прежде времени интригу; в тот же момент я думал о красном цвете в полотнах Карла и какую роль этот самый красный цвет несет в его жизни. Например, портрет будущей супруги за инструментом Карл писал еще до свадьбы. Нежная, трогательная красота — эдельвейс на тревожном алом фоне. Фоне, вызывающем напряжение и мысли о грядущей трагедии. Кого?

Глава 12

Когда Карл говорит, что боится русского и особенно петербургского климата, друзья понимают его правильно. Но не могу сказать, что Карл трепещет пред монаршим гневом. Ни в коей мере. Глупо, безрассудно, но факт.

Как-то государь в присутствии августейшей супруги и придворных изъявил желание видеть первым все, что напишет Брюллов. С того дня он стал вхож в мастерскую Карла, чем не посчитали бы заторным воспользоваться самые честные и принципиальные люди любого государства, но только не наш Карл.

Мало того, что всякий раз, получая записку от Николая, он морщился, точно раскусил что-то кислое, ворчал на Лукьяна, чтобы тот тщательнее мыл пол, на учеников, что не трудятся, как того следует, на судьбу-злодейку, отрывающую его на пустяки.

Страшные слова, но в этом весь Брюллов.

Заказал как-то ему государь свой портрет, день для позирования выбрал, велел Карлу себя в мастерской ждать, так Великий, мало того, что нисколько такому счастью не обрадовался, весь день ходил мрачный, словно собственная тень, а вечером, когда вдруг выяснилось, что Николай Павлович не явился в назначенное им же время, вдруг приободрился, схватил плащ и шляпу и дал такого стрекоча из мастерской, что пыль столбом!

В качестве оправдания велел Лукьяну ответить, что Карл Павлович, мол, ждал минут двадцать, но зная, что государь никогда не опаздывает, решил, что встреча отменена.

Император только и мог, что руками разводил. «Брюллов такой один», картину, задуманную государем «Иван Грозный с женой молятся пред иконой во время взятия Казани», наотрез писать отказался. Кто бы другой посмел?., м-да...

Утро начинается с выстрелов, кутит день, неделю, месяц... умирает, валяется сломанным паяцем, а потом вдруг выскакивает, точно черт из коробки, и работает, пока той же сломанной куклой не повергнет сам себя на землю.

Когда для картины «Взятие Пскова» Брюллову понадобилось собственными глазами увидеть взрыв, для него недалеко от Митрофаниевского кладбища, что у Петергофского шоссе, соорудили земляное укрепление, которое взорвали в присутствии Карла Павловича и заказчика картины — государя.

И дочерей своих и супругу-императрицу Николай Павлович заказывал Брюллову писать. «Мне как супругу и отцу, приятно будет»... бесполезно.

Вот и говорите после этого, будто наш государь — деспот и тиран! Терпит с христианским смирением — Пушкин, Брюллов — оба гении, оба непредсказуемы и дики в своих проявлениях. Оба бесчинствуют и бедокурят. И если об Александре Сергеевиче можно уже говорить в прошедшем времени, Брюллов бесчинствовал, бесчинствует и будет бесчинствовать.

Хотя, что я говорю, непредсказуемы... как раз наоборот, если насчет чего-то плохого, то вполне даже предсказуемы. Переспать с чужой женой, сестрой или дочерью, подраться или попросту побить кого-то... виноваты могут быть единственно скверная наружность и непереносимый природный запах...

Да чего стоит одна только манера специально ходить по дешевым опасным кабакам с единственной целью — нарваться на оскорбления, дабы учинить драку?!

Непостижимо, но, когда начинают ругать власть за жестокость и стремление извести творца, благополучно препроводив его до гробовой доски, я невольно вспоминаю о Карле Брюллове и Александре

Сергеевиче Пушкине, которыми, безусловно, можно сколько угодно восторгаться на расстоянии, с ними можно кутить, играть в карты или даже путешествовать, но каково решать судьбы таких людей? С одной стороны, гениев, с которых традиционно совсем другой спрос, с другой — людей, поведение которых разрушает семьи и вредно сказывается на юношестве.

* * *

Из Славянки мы возвращались без Карла. Конечно, это не было запланировано, но почему-то втайне я мечтал первым расспросить его о происходящем и его дальнейших планах. Всю дорогу дети сидели притихшие и невеселые, точно предчувствовали надвигающуюся беду. Какую?

На следующий день заявился Федя Солнцев, искал Брюллова, заходил к нему в мастерскую, а оттуда напрямик ко мне. Посидели, покурили. Вообще Карл такой человек, что, даже когда его нет, ты невольно продолжаешь ощущать его присутствие. Так, словно он находится в другой комнате или притаился где-нибудь в сенях или за бархатными шторами. Возможно, поэтому поначалу Солнцев тоже решил, что Великий здесь, только спит где-нибудь пьяный, и оттого я не хочу его показывать. Федя сидел, вслушиваясь в звуки дома, надеясь угадать брюлловский храп, услышать его голос или даже выстрел. Но постепенно ему пришлось-таки внять моим уверениям, уяснив, что Карла, во всяком случае, сегодня он тут не дождется.

Разговор постепенно начал теплеть, и так как время двигалось к обеду, я приказал няньке накрывать на стол. За столом я решил расспросить Феденьку о его путешествии с Брюлловым в Псков, на что тот залился краской, умоляя не касаться неприятной для него темы. Мол, чем мог служить, служил, а там...

Неприятной? Меня так и разбирало любопытство. Я знал, что в Псков Карл потащился исключительно ради картины «Осада Пскова», заказанной государем. На поездку командировочных и прогонных было выдано из казны аж четыреста рублей — немалая сумма. Причем заинтересованный в этом произведении Оленин отрядил в помощь Карлу своего любимого ученика Федора Солнцева, который должен был делать зарисовки, как по указке Брюллова, так и по собственному усмотрению.

Что же вы называете неприятной темой? Волокита ли на станциях или наши вечно разбитые дороги так опечалили вас? — я сделал участливое лицо.

Что дороги?.. вздор дороги... что, я плохих дорог не видел, что ли? Не дороги, а дураки. Дураки да лодыри! Вот. — Досадливо крякнул он, косясь на пускающую пузыри в чашку с чаем Машеньку. — Не при детях же о таком... о Брюллове, — последнее он произнес чуть различимым шепотом. — Карл мне друг, но... — еще один выразительный взгляд. Я был заинтригован.

В общем, Оленин выдал деньги, Карл на радостях бил себя в грудь, предлагая ехать прямо сейчас. — Начал он, когда мы выбрались из-за стола и устроились в моем кабинете — я за столом, он в кресле, в котором до него сидел Брюллово.

— Решили ехать на рассвете, я встал, Карл, естественно, подрых до полудня. Потом как-то поднялся. Пока одевался, пока со всеми прощался, последние распоряжения отдавал, записки писал, солнце уже начало печь. Понадобилось холодное пиво. Как же без пива? — Солнцев вздохнул. — Что поделаешь, повез его в трактир, в хороший. Посидели, взяли с собой полные две корзины.

Посадил Великого в карету. Думал, ну все, больше уже ничто нас не задержит, обложил его пивом да пирогами. Нет, опять не слава богу. Только выехали, я, чтобы как-то развлечь Карла, начал излагать ему наш маршрут, как мы поедем да чьи имения будем проезжать. Ляпнул в запале о госпоже Варваре Николаевне Асенковой. Ну, вы знаете, молодая актриса Александрийского театра, в которую пол-

Петербурга нынче влюблены. И которая в ту пору в пяти верстах от главной дороги на даче проживать изволила.

Наш Карл тотчас потребовал немедленно к ней завернуть и сам же, дорогой в поле, огромный букет собрал. Поехали. Навестили. Время впустую потратили. Снова в каком-то кабаке вина накупили, сели. Что такое? Смотрю, Великий снова вроде как носом водит, возницу нашего о дороге не к добру расспрашивает. Потом. «Стоп! Сворачивай в Приютино. С Олениным не все решили».

Поехали к Оленину. Добрались к вечеру, ничего дельного не решали, просто так, попрощаться заехали. Но не станет же добрейший Александр Николаевич нас, на ночь глядя, со двора гнать. Оставил ночевать. Карл при этом ему побожился, что с первыми же петухами он нас не застанет, отчего повару было наказано засветло все приготовить и на стол и с собой.

На рассвете я встал, спешно собрался, а Карл спал, похрапывая. Как ни тряс я его, как ни совестил, а раньше полудня все равно не воздвигся. А поднявшись, точно ребенок, на пруд побежал купаться. Потом прогулки со всеми домочадцами — ведь переговорить нужно, кого-то попытаться нарисовать, кому-то пропеть новомодный романс, что-то из Пушкина, что-то из Гоголя по памяти процитировать. Взбитые особым способом сливки с ягодным сиропом и без одного отведать. Далее по программе — блеснуть знаниями по части модных шляпок для дам. Потом обед. После обеда — положенный отдых, плавно перетекающий в чаепитие с баранками и вареньем и, наконец, любование закатом и цыганские песни под гитару! После цыганской программы пили вино, и Карл решил, что еще погостит немного в милом его сердцу Приютино.

В Псков добрались с опозданием в несколько дней, сняли номер в гостинице — один на двоих, чтобы деньги сэкономить. Пошли церкви смотреть, потом Карл припомнил, что друг у него или дальний родственник в Пскове по военной части лямку тянет. Пошли искать. Нашли себе на голову. Как сели обедать, так аккурат после завтрака следующего дня и поднялись. Потом, естественно, спать. Проснулись ранехонько. В трактире, точно в насмешку, — ни соленого огурца, ни суточных щей. Проспали до вечера, а наутро с визитом к губернатору. Карл еще в дверях рот прикрывает, чтобы перегаром в лицо губернаторской супруге и дочерям-невестам не дышать, а сам, простодушно заглядывая в глаза губернатору, просит, чтобы перед завтраком велели выдать нам тарелку соленых али малосольных огурчиков. Как будто его кто завтракать приглашал, шельму такую! Но тут, уж известное дело, пригласили, — столичная знаменитость, с нашим удовольствием. Завтрак плавно перешел в обед, пили за государя, отечество, за художество и, естественно, за Брюллова, за дам всех разом и за каждую поименно, потом за гостеприимный дом и Псков, в котором такой славный губернатор... в общем, вскоре Карл... как бы это выразиться... устал... да так, что я со слугами губернаторскими его в карету, бесчувственного, погрузил и в гостиницу от греха отдышать отправил.

Доктора ему вызвал, облепил горчичниками и сам начал рисовать Баториев пролом в стене. Часа два после посещения врача Карл лежал, полагаю, в полном одиночестве, злясь на меня за то, что оставил его, больного, умирать. Стонал театрально, о чем половые мне опосля докладывали. А когда понял, что я действительно ушел и на его глупые вопли отзываться не намерен, сам ко мне заявился со всеми своими претензиями и обидами.

Неужели так все время и провел в пьянстве и обжорстве? — не поверил я.

Да нет, чиркал что-то в альбомчике, но немного. Гулял по кремлю, Троицкий собор изволил посетить, на мощи князя Всеволода-Гавриила и чудотворную икону Богородицы ходил смотреть. Сделал несколько замечаний относительно росписи стен... а потом все по рынкам бродил, с мужиками разговаривал, с девками заигрывал. О торговле, ярмарке беседы вел. О белых волках и медведях расспрашивал, прочел где-то, будто бы в древнем Пскове держали их прирученными.

После упоминаний о волках Федор попросил показать ему нашего Кайзера, а там уже было не до разговоров о Псковской экспедиции.

Глава 13

...Она явилась на бале.
Что ж возмутило душу ей?
Толпы ли ветреных гостей
В ярко блестящей пышной зале,
Беспечный лепет, мирный смех?
Порывы ль музыки веселой,
И, словом, этот вихрь утех,
Большим душою столь тяжелый?
Или двусмысленно взглянуть
Посмел <в глаза ей> кто-нибудь?..

Е. Баратынский. Бал

Не могу сказать точно, сколько времени на этот раз пробыла в России последняя Скавронская, Юлия Пален, Юлия Самойлова. Говорили о балах и маскарадах, о праздниках с играми, конкурсами и призами для крестьян. О приглашенных в Славянку писателях, музыкантах, о поставленных там силами завсегдатаев салона Самойловой спектаклях. Мы с Уленькой не были на этих торжествах. В который раз сильно простудился Карл, кашлял, грел ноги, кутался в одеяла и пледы... бесполезно. Наша нянька научила Брюлловского слугу печь лук с медом и затем давать больному это снадобье от кашля, и вроде это начало помогать.

Несколько раз забегал Мокрицкий донести во всех подробностях о состоянии Великого. Быстро передал все новости, даже пить чай отказался, понес вести по другим домам. Занят. А ведь Карл был прав, когда говорил, что Мокрицкий больше бегаёт по гостям, нежели работает. Впрочем, теперь Карлу это, наверное, даже на руку. Кто-то ведь должен ухаживать за ним, больным, кормить с ложечки бульоном, подогретым вином, читать книжки...

Совсем недавно было лето, Юлия, «Распятие» для церкви Петра и Павла, «Вознесение Божьей матери» для Казанского... было жарко от работы и веселья, был полдень... Теперь же осенние листья падают под ноги, и все больше приходится пользоваться экипажами, оберегая обувь от грязи, перемешанной с конским навозом. В трактирах и витринах магазинов окна покрываются зеленоватым налетом — тот же навоз, но только распыленный на миллионы невидимых крошек, рассеивается в воздухе. Зарядили гаденькие холодные питерские дожди. Сначала ночи напролет, потом дни и ночи, дождь сменяется ливнем, ливень моросью. Пронизывающие ветра особенно нестерпимы на набережных. Сразу пытаются пробраться под одежду, развязать завязки на шляпах дам, сорвать плащ или накидку, цилиндр или любой другой головной убор, дабы, словно издеваясь, бросить его в грязь.

Юлия упорхнула в солнечную Италию, в которой, по словам Брюллова, всегда хорошая погода. Откуда написала ему и пригласила приехать на свою виллу в Ломбардии, словно и не было никаких обид, совместных планов. Сильная женщина.

Про то мне сам Брюллов рассказывал, к чему ему врать? Тем не менее, моя работа по сбору жизненных фактов относительно Карла Павловича Брюллова утратила свой вначале бурный темп, и теперь протекала в час по чайной ложке. Хотя Карл, по старой дружбе, не перестал заходить к нам, иногда вместе с Нестором Кукольником; его брата Платона я всегда не выносил за его воровскую манеру таскать из мастерской эскизы, а затем продавать их незадачливым студентам в Академии или хотя бы на рынке. Несколько раз забегал Федор Солнцев, рассказывал, как Великий еще перед болезнью в несколько дней отмахал здоровенный холст «Осада Пскова», падая после работы, так что ученики Липин и Мокрицкий

либо выносили его бездыханного, либо забывали, и тогда Великий валялся без памяти чуть ли не на голой земле, рискуя простудиться и умереть, что, в конце концов, и случилось.

Написал. Не мылся, не брился, ничего толком не ел. Когда все уже было готово, вдруг решил, что изначально угол взял не тот, напряжение спало, и заново по старым следам все закрасил. Закончив, пошел к поэту Струговщикову, потребовав шампанское и пригласить всех друзей, кого только сыскать получится. Ел, пил много и жадно, мясо зубами рвал, вина выхлебал в невероятном количестве, но не захмелел.

— Сюда бы сейчас Кольку Рамазанова, чтоб сплясал, как только он умеет. Глинку! Где его носит, чертова сына? Праздника хочу! Настоящей жизни! Оленин смотрел на новую картину с восторженной опаской. Узнал, что переписывал ее Великий, испугался, как бы во второй раз не кинулся что-то исправлять. С Карла станется. Государь остался картиной доволен, государыня допустила к ручке. В преддверии открытого показа невероятно большим тиражом переиздали «Историю Княжества Псковского» митрополита Киевского Евфимия Алексеевича Болховитинова, принявшего в монашестве имя Евгений.

Когда Карл разрешил посетить его «большую мастерскую» — так Брюллов называл пустовавшее здание в академическом дворе, — мы удостоились чести видеть новое детище Великого... Но нет, несмотря на патриотическую тему, несмотря на явно возросшее мастерство Карла, этому произведению не судьба затмить легендарную «Помпею». Монахи на конях, сияющие кресты, парнишка-поводырь с копьем, слепая женщина, провожающая его в бой, раненые, убитые, лошадиные трупы, пролом в стене, падающая башня... и все это сияет и только что не светится. Но... где сама осада? Назвал бы, что ли, «Крестный ход во время осады польским королём Стефаном Баторием в 1581 году». Да он это и сам видел.

Долго копил силы Карл на это произведение в надежде затмить «Помпею», потому как это правильно, когда новое получается на ступеньку лучше уже созданного, а «Помпея» все собой затмила, последние силы съела. Карл ненавидеть ее должен, паскуду такую итальянскую.

«Досада Пскова» — в шутку окрестил свою новую работу Брюллов. И в этом тоже был велик.

После того как картину показали широкой публике и появились первые восторженные рецензии в домах и мастерских, вдруг, точно по мановению волшебной палочки, вновь появились бюсты Карла Брюллова. Извлеченные с чердаков и чуланчиков, принесенные с задних дворов и хлевов, они выглядели потрепанными и запущенными, так что мастерам сразу же нашлась работа чистить, латать, золотить... но это не главное. Главное, что Брюллов снова стал всеобщим кумиром, и это было здорово!

Глинка сочинил «Попутную песню», в которой слышался шум паровоза, гудки, ощущалась скорость нового, стремительного, пришедшего на смену старому спокойному времени, и планировал теперь цикл романсов на стихи Кукольника. Кое-что из уже готового игралось, в том числе и у нас дома. Новая музыка привела в восхищение Сашу и Машу. Струговщиков подтянул под себя «Художественную газету», что, учитывая способность Александра Николаевича видеть не только себя, любимого, а предоставлять место другим одаренным личностям, тоже было неплохо.

За «Попутной» следовала «Прощальная» — не столь яркая, но доведшая до слез Уленьку и гостивших у нас в тот момент ее подружку Солнцева и сестру Марию Критон.

Пришедший к нам в который раз послушать Глинку Карл был опять немного простужен и оттого раздражителен. Недавно просил высочайшего разрешения расписывать купол Пулковской обсерватории и получил отказ. Жалея больного, после обеда нянька увела его в спальню, где растерла водкой и дала чая с медом. После чего он уснул, точно ребенок.

— Карлу Павловичу так не подходит здешний климат, отчего бы ему было не поехать в Италию к супруге? — глядя на вернувшуюся няньку, спросила Солнцева.

К какой супруге? — насторожились мы с Уленькой.

Как «к какой»? — в свою очередь удивилась Леночка. — К Юлии Павловне, к кому еще? Ой, да не делайте, Петр Карлович, вида, будто не знаете. Весь Петербург в курсе, а вы один нет.

Точно-точно, обвенчались по лютеранскому обычаю. — Мария поправила кружевную шаль. — И свидетели есть, и в Москве по этому поводу уже столько раз тосты поднимали. Одного не пойму: отчего они сами сей факт в секрете держат? Шила в мешке...

Вот-вот, Яненко был на свадьбе со стороны жениха, а со стороны Юлии Павловны — ее управляющий Мишковский. Вот где у нее имение Графская Славянка, там они и обвенчались пред господом.

Но, раз они, как вы утверждаете, поженились, отчего бы Карлу скрывать? Почему он не поехал вместе с ней? Ведь это было бы вполне логично! — не выдержал я.

Несколько не логично, — затараторила Солнцева. — Во-первых, когда Карл Павлович сочетался законным браком с Юлией Павловной, еще помнился скандал с его бывшей женой. Их, конечно, развели по всем правилам, но всегда есть опасения, что жена может оказаться беременной, а тут они должны были знать наверняка. Потому как после скандала государь ни за что не оставил бы ребенка падшей женщине. В то время как бездетная Самойлова приняла бы еще одного малыша с распростертыми объятиями. Но, если объявить о бракосочетании в открытую, Эмилия из одной только ненависти изведет ребенка еще во чреве или родит и нарочно подкинет в сиротский приют. Мало ли таких случаев? А так — у нее еще есть надежда снова заполучить Карла — почему бы и нет, если тот по-прежнему холост, и его подружка упорхнула к себе в Италию? Они даже ссору изобразили, точно в театре, чтобы всем стало ясно — полный разрыв отношений. — Солнцева была очень довольна собой. Ее хорошенькое личико покраснелось, огромные кукольные голубые глаза блестели.

— Кроме того, он же сколько лет по за границам разъезжал, теперь он профессор, ученики, обязательства... Их-то с собой не заберешь. Отрабатывать требуется, — предположила Мария.

Мы с Уленькой переглянулись, ища поддержки друг у друга. На самом деле правильнее всего было бы тотчас разбудить Брюллова и попросить его дать объяснения, но вместо этого мы сидели и слушали сплетни.

* * *

С того памятного разговора прошло полгода, а я все никак не мог выкинуть из головы женитьбу Карла. Вот как это иногда бывает. С одной стороны, гложет обида; казалось бы, так и побежал бы теперь к нему, так бы и потребовал объяснений, только все равно ведь не побегу никуда. Не мое это дело — в чужие жизни без спросу лезть. Захочет, сам расскажет.

Хотя, должно быть, так уж устроен человек, что не может его ум бездействовать, а все ищет каких-нибудь объяснений, тщится нащупать спасительные мостики, связывающие один факт с другим. Я искал подтверждений состоявшегося венчания. Где искал? Ясно, что не церкви объезжал, друзей не баламутил с расспросами, привечал только, что вокруг творится, искал факты, и находил... Вот, например, один: не больше месяца прошло с очередного, готового разразиться, да только словно повисшего в воздухе, скандала.

Однажды, вернувшись после ночного кутежа с друзьями, Яненко застал свою дочь Лизу в объятиях Брюллова. Последовали бурные объяснения, после которых Яков Федосеевич запретил Карлу на пушечный выстрел приближаться к Лизке, саму же дочурку в тот же день услад в деревню. А теперь вопрос: отчего Яненко было бы не принудить своего дружка жениться на дочери, коли у них далеко зашло? Тем более, что

Елизавета Яненко с того дня забрасывает всех знакомых и даже незнакомых, но влиятельных дам слезливыми посланиями, дабы те повлияли на папеньку, растопив его ледяное сердце.

Неужели только из-за того, что те не удосужились испросить его родительского благословения? Да ни за что не поверю! Тем более, что Карл — его друг, учитель, кумир и почти что бог. Напрашивается единственный ответ: потому и не предложил Яненко решить дело свадьбой, что знал о том, что Брюллов уже связал свою жизнь с Юлией Павловной.

Другой очень похожий случай произошел с сестрой Михайлова. Там, по слухам, дело закончилось двумя картинами, которые Карл написал для этого бездаря. Опять же откуп, но не женитьба. Как будто бы Карл Брюллов — не известнейший художник, профессор и состоятельный мужчина, о котором мечтать можно? Неужели родство с таким человеком, с таким семейством менее выгодно, нежели две картины, одна из которых давала возможность отправиться за границу? Да ни в коем случае! И если и искать достойного во всех отношениях жениха, то кого можно противопоставить Карлу Брюллову?

Тем более, что обе девицы были обещаны им, а стало быть, он был просто обязан жениться на одной из них, но отчего-то подобное решение так и не пришло никому в голову.

* * *

Справившись с Михайловской «барщиной», Карл писал Ивана Андреевича Крылова, сам пригласил его, льстил, угождал, заставлял учеников читать вслух, все ради того, чтобы удержать литератора, но тот не выдержал и сбежал. Портрет остался незавершенным.

* * *

Однажды у себя дома мы с женой вновь затронули тему женитьбы Брюллова. Время было позднее, дети давно спали, и мы, должно быть, спорили на повышенных тонах, потому что вдруг перед нами возникла одетая в просторную ночную рубашку с пушистым платком на плечах наша старая нянька.

— Женился? Держи карман шире, — равнодушно махнула рукой она, должно быть, услышав наш разговор. — Проклял он ее, вот что было на самом деле, как есть взял и проклял. — Она размашисто перекрестилась. — Я-то ему компрессы ставила, одеяло, точно маленькому, подтыкала, слышала, о чем он во сне бормочет. Знаю.

— Как «проклял»? Что за вздор? — Вскочил я.

— А то и есть, касатик, что Юлия Павловна — еще та штучка, все знают. Отчего, спрашивается, их с Николашкой Александровичем-то развели? Говорили, будто бы из-за того, что тот шибко проигрался. Да разве ж за это разводят? Семьи рушат? Изменила она ему с этим, как его? С французским посланником графом Пьером Ла-Феронне, или с Барантом-сыном. А сам Николашка в Александру Римскую-Корсакову влюблен был. Про то среди слуг только что песен сложено не было.

— Не в ту ли, что воспевал Пушкин? Александра Александровна? — Было немного досадно, что вместо того, чтобы остановить няньку, я, как ни в чем не бывало, начал сам расспрашивать ее.

Ее, матушку. — Нянька пожевала ртом.

А как это проклял? — Уленька явно не собиралась благоразумно заканчивать разговор.

А так и проклял. Сказал: раз не со мной, то и ни с кем. Ибо я тебя для вечности писал, и вся ты теперь моя до гробовой доски. А ежели с кем еще блудить станешь или, не приведи господь, замуж попытаешься выйти — знай, что любому, кто к тебе приблизится, через это холодная могила. Аминь.

Глава 14

Нынче в свете в большом почете магнетизм, все ловят или испускают какие-то флюиды, подолгу говорят о перевоплощении душ и горних мирах, о предсказании будущего, раскрытии тайн прошлого. Несмотря на весь этот мистический флер, коим окружены и окурены все салоны, мне отнюдь не понравилось вдруг услышать о странных способностях Карла, которые якобы имели место быть, так как неоднократно являли себя миру. Впрочем, будь то какие-нибудь незначительные способности в угадывании имен или карт, все бы сошло более-менее спокойно. Ну, поахали бы наши дурочки, посплетничали, пару раз продемонстрировал бы Великий в одном из модных салонов свой новый дар, ну и будет. Так нет же. О Карле, да и о Юлии Павловне ходили дикие слухи. Из которых проклятие было, можно сказать, детской забавой. Поговаривали, что своими картинами он будто бы вытягивает жизни, а может быть, и души тех, с кого пишет. Дикая мысль, тем более, если учесть, что государь неоднократно намекал Брюллову, что не худо было бы написать его вместе с семьей. Правда, Карл всякий раз умудряется увильнуть. В глазах общества, если уж они уверились, будто воздействие его кисти вредоносно, это, пожалуй, могло бы сыграть положительную роль. Мол, знал и не пожелал подвергать неоправданному риску. Похвально. Хотя написал же он лики великих княжон, прописал на вечные времена в виде ангелов небесных в картине «Взятие Божьей Матери на небо».

Ангелов! Это тоже двояко расценить можно: ангелы — не живые люди.

Хотя пустое. Ну, кого он, с позволения сказать, угробил своей кистью? Юлия Павловна жива и дай бог... Итальянский? — так возраст, полнота... сердце.

Если так судить — половина наших господ так или иначе в вдовстве должна быть замешана. Княгиня Зинаида Волконская, к примеру, привезла перстень подозрительный из Помпеи, сама не носила, ни боже мой. А тут кавалер молодой да бесполезный у ее сиятельства объявился, поэт Веневитинов. Любил он ее чистой безнадежной любовью, точно и не замечал, что дама вдвое старше него.

На прощание, а может, во время обряда тайного венчания — как знать? — надела она перстень заветный на палец поэта. А через несколько месяцев его с ним и похоронили.

Перстень из Помпеи!

* * *

Странная история вышла с Пушкиным, который был за неделю до своей роковой дуэли у Брюллова, но так ведь его Карл Павлович и не рисовал. Зато Гоголя, Глинку, Яненку, да кого только он ни рисовал?.. Уленьку рисовал...

Тоже мне придумают — страшный дар! Хотя бюсты из домов и мастерских снова начали пропадать.

Бюсты. Подумаешь, бюсты... конечно, неприятно, когда твое изображение валяется где-нибудь на скотном дворе или на чердаке среди рухляди. Особенно плохо, если знаешь об этом, но не будешь же ругаться. Тем не менее, и на старуху случается проруха, и в нашем скучном художественном мирке, в котором самым интересным может быть сообщение о чьей-то супружеской измене, освистании новой работы, новый экипаж или наряд супруги, приключилась по-настоящему большая беда. Беда с любимым всеми нами и особенно его учениками Алексеем Егоровичем Егоровым. Буквально пять лет назад разгневался государь на его образа. Я так полагаю, что фантазия пришла ему показать перед всем светом, что он не хуже профессоров академических разбирается в живописи, и разнес сгоряча несколько работ, среди которых были образа Егорова. Протокол, выяснение, выговор. Как тяжело все это старик переносил,

сказать невозможно. Чуть кондратий его не хватил. Позор-то какой! Сам я эти образа видел, и ничего особо преступного в них не заметил. Обычные, заказные, может быть, излишне торопливые произведения. Возможно, доработки они и требовали, но уж никак не строгости и публичного порицания — не тот возраст у Алексея Егоровича, не тот статус. Перед учениками обидно, а уж как стыдно!

А тут вдруг через какие-то пять лет все повторяется, только с удесятеренной силой. На этот раз государь изволил осерчать на образа, написанные Алексеем Егоровичем для церкви Царского Села.

Шумел, бушевал, высочайше повелеть соизволил: «в пример другим уволить его вовсе от службы». А вышеупомянутые образа отправить в Академию художеств, дабы Совет оценил сею мазню, особенно по части пропорций и цветового решения. После чего Егорова общим и заранее подготовленным решением Совета следовало прогнать из Академии взашей, лишив всех званий и привилегий. 64-летнего художника, которому еще сам папа Пий VII предлагал остаться в Италии в качестве придворного живописца. И который на спор мог изобразить на первой попавшейся белой стене человека одним очерком, начав с большого пальца левой ноги. — Непостижимое, божественное мастерство!

Одетые в парадные мундиры профессора должны были с позором изгнать такого человека, прогнать под смех завистников и улюлюканье досужей до подобных зрелищ толпы и служащих им писак, развенчать Егорова, назвав его ни на что негодным старым дураком, сделав на веки вечные посмешищем.

Профессора выступали один за другим согласно рангам, почти все, не поднимая глаз, стыдясь самого своего присутствия на позорном судилище над не сделавшим ничего плохого, а просто утратившим зрение и потерявшим мастерскую сноровку человеком. Великого Егорова!

Когда пришла его очередь высказываться по поводу предъявленных на совет образов, Карл потрянул аполлоновыми кудрями, гордо встав на защиту старого учителя. Бюсты бюстами, интрижки, адюльтер, пьянство, кутежи, даже дурной глаз... все было забыто в тот поистине исторический момент. Затаив дыхание, профессора слушали Карла, который говорил то, что не осмеливался до него произнести никто из присутствующих, но о чем думал каждый. Он говорил о том вкладе, который Егоров внес в развитие русского искусства, о месте, которое русское искусство занимает в мире, говорил об Италии, где помнят русского мастера Егорова, и русских церквях, в которых верующие молятся на образа, написанные Алексеем Егоровичем. Говорил о благодарности к учителю и отменному художнику, о том, что даже если сейчас весь Совет вынесет Егорову приговор, он один будет стоять за него до последнего своего дыхания. Он говорил о долге дружбы и преданности, о благодарности к Егорову-учителю, которое ощущают все его ученики, прошедшие дни своего ученичества рядом со столь блистательным мастером... говорил...

В результате Совет Академии художеств единогласно принял решение заступиться за честь Егорова перед государем ввиду его неоценимых заслуг перед отечеством. За свои многолетние труды Егорову была определена пенсия в размере одна тысяча рублей в год, правда, четыреста рублей из нее в первый раз все же удержали в оплату царскосельских образов. Тем не менее, это была почетная отставка, как говорится, с куском хлеба. Егоров уходил, но не терял при этом своей чести, оставаясь в глазах благодарных учеников все тем же мастером, к которому было незазорно обратиться за советом.

А мы говорим о каких-то бюстах! О какой-то мистической ерунде. Проклятие... да стал бы Карл, способный вот так восстать и пойти против всех, вдруг проклинать женщину, которую любил? Проклясть свою музу и после этого мечтать нарисовать еще хоть что-нибудь? Абсурд!

* * *

Из Италии доставили «Медного змея» Федора Бруни. Сначала установили картину в Зимнем, а когда морозы сковали Неву, по льду перенесли в Академию. Мы с семьей смотрели это новое чудо одними из

первых. Любопытно, что все, не сговариваясь, сразу же начали сравнивать картину с «Помпеей», при этом зрители разделились, кто-то встал на сторону Карла, кто-то говорил, что Бруни сказал новое слово в искусстве и после него не останется никакого Брюллова... Начался довольно-таки жаркий спор. Приверженцев «Помпеи» в результате оказалось подавляющее большинство, и пришедшего посмотреть на творение Бруни Карла на радостях принялись поздравлять, словно он каким-то образом участвовал в споре и победил.

В те дни я также ходил именинником, получая поздравления и знаки одобрения, так как наконец-то был перестроен и расширен Аничков мост около дворца, исчезли башни, из-за которых мост зрительно выглядел меньше, появились чугунные перила с чередующимися парными изображениями морских коньков и русалок по очень удачному, на мой взгляд, рисунку берлинского архитектора Карла Шинкеля. К сожалению, точно такие же перила уже были установлены на Дворцовом мосту в Берлине. Последнее немного раздражало, немало народа теперь ездит за границу, но с другой стороны, всегда можно списать на веяния моды.

Вскоре появились гранитные пьедесталы для статуй, по два с каждой стороны. Изначально предполагалось также установить на середине моста (над каждой из опор) бронзовые вазы. Но о них благополучно забыли, оставив уже сделанные постаменты стоять пустыми.

Вскоре я привез из Литейки первые две скульптуры «Конь с идущим юношей» и «Юноша, берущий коня под уздцы». Обе композиции нашли себе место на западной стороне моста. С восточной же пока удалось поставить только гипсовые копии, предварительно покрасив их под бронзу.

Весь Петербург от мала до велика ездил к Аничковому мосту смотреть моих коней. Так что я невольно чувствовал себя даже на выставке картины Бруни, точно кум королю.

Заметив, что Карл на время освободился от желающих пожать ему руку ценителей искусства и беседует с Гайвазовским, я улучил момент для того, чтобы подойти к нему и шепнуть, чтобы заглянул вечером ко мне «обмыть моих коней» — накануне мне как раз привезли ящик портерного пива. Кроме того, хотелось наконец поставить точки над «и» в истории с пресловутой женитьбой Карла на Юлии Самойловой. И что я тянул столько времени?..

Расцеловавшись на прощание с Карлом, я хотел уже сказать пару добрых слов Гайвазовскому, и только тут заметил, что молодой маринист куда-то подевался. Деликатный, как все восточные люди, он, должно быть, отошел от Брюллова, когда заметил, что мне нужно с ним посекретничать. Это было неудобно. Гайвазовского тоже следовало пригласить, ведь он был отменным художником. Более того, несколько раз я слышал, как он играл на скрипке и пел. Он был дружен со многими художниками и музыкантами, пригласить Брюллова и одновременно не пригласить его — было неправильно. Я покрутился на месте, надеясь отыскать стройную фигуру Ивана, в Академии его чаще называли Ованесом, и, не найдя, направился к выходу, где вдруг неожиданно столкнулся с... поначалу мне показалось, что передо мной возник призрак Александра Сергеевича. Да, печальный, одетый во все черное, с темными волосами и бакенбардами, Ованес был копией молодого Пушкина времен южной ссылки. Удивительное, непостижимое сходство.

И тут я вспомнил другую выставку, несколько лет назад, на которой на этом же самом месте рядом с каким-то морским пейзажем вот так же стояли Пушкин и его красавица-жена Наталья Николаевна, в черном бархатном платье, так оттеняющем ее мраморно-белую кожу. Пушкин хотел видеть одного из академистов, картина которого показалась ему занятной, но того нигде не было, и тогда кто-то привел Гайвазовского и... они стояли здесь, окруженные толпой любопытных, — красный от смущения Ованес и с мечтательным выражением на челе Пушкин.

Я вдруг словно перенесся в тот день и придвинулся ближе к этой странной компании.

«И вот что я скажу вам, дорогой мой, — Пушкин приблизил лицо к лицу Гайвазовского, так что тому пришлось наклониться, — своей живописью вы невольно вернули меня в то время, когда я был по-настоящему счастлив, и если бы сейчас какой-нибудь волшебник подарил мне одно-единственное желание...», но в этот момент юный Сократушка Воробьев, кланяясь кому-то из друзей отца, не заметив, толкнул меня в бок, невольно выведя из сладкого забытья. Я очнулся — Гайвазовского в зале уже не было.

* * *

Вместе с Карлом я пригласил встреченных там же, в Академии, Алексея Тарасовича Маркова и Александра Павловича Брюллова, которые в результате явились ко мне на час раньше Карла.

Разместившись в покойных креслах в гостиной, мы курили, обсуждая творение Бруни и поджидая Карла.

— Кстати, вы слышали, Юлия Павловна собирается замуж? — Сообщил Александр, выпуская колечко дыма.

— Замуж? За кого это? — Чтобы поддержать разговор, спросил Алексей Тарасович, сам он не был представлен божественной Самойловой.

— Не поверите, за своего же собственного мужа, с которым она в разводе. За Николая Александровича. Вот за кого. Карл показывал мне ее письма, да и она сама писала ко мне, просила, чтобы я нарочно съездил в Славянку, проверил, не надо ли чего переделать к тому моменту, когда чета соблаговолит поселиться там. Должно быть, после последнего приезда в Россию, когда они встретились, прежние чувства вспыхнули с новой силой. В общем, не могу знать в подробностях, что у них там да как. Но они обо всем уже договорились, и следует ждать, что в самое ближайшее время Юлия Павловна вернется в Россию, чтобы остаться здесь уже навсегда. После таких вестей я, разумеется, не стал приставать со своими дурацкими предположениями к Карлу, и когда тот пришел, мы снова говорили об искусстве, обсуждая картину Федора Бруни, а также перекинулись парой слов относительно работ выпускников скульптурного класса, выдвинутых на золотую медаль. Это были очень милая скульптура Фавна с козленком работы прекрасно знакомого нам всем Николая Рамазанова и скульптура «Молодой удильщик», изображающая мальчика-рыбака Петра Ставассера. Петр Андреевич был одним из лучших учеников Самуила Ивановича Гальберга, получившим за время обучения золотые и серебряные медали. Ему предрекали великое будущее. Во всяком случае, мы все единогласно прочили ему большую золотую медаль с обязательной поездкой за границу.

О Самойловой в этот вечер больше не было произнесено ни одного слова, Карл вяло приглашал пойти как-нибудь послушать новую оперу его друга Глинки «Руслан и Людмила»^[63]. Впрочем, делал он это так, что было понятно: опера гроша ломаного не стоит, и Карл всего лишь пытается отдать долг дружбы.

— Миша говорит, что его «Руслана» поймут лет через сто. Потому как это музыка будущего. Сейчас же...

— А вот сейчас князь Михаил Павлович наказывает этой оперой провинившихся гвардейцев, так сказать, вместо гауптвахты! — Рассмеялся Александр Павлович. — Чего же мы-то тебе плохого сделали? Вроде не проштрафились ни разу, или ты все же какую-то обиду в сердце таишь? Так открой, все легче будет.

Я слушал. Несколько раз слушал... — Карл вяло отмахнулся от брата, — если отдельные арии и не плохи, то все вместе... — Он всплеснул руками. — Впрочем, я ведь не ценитель музыки. Многие, тот же

Михаил Павлович, например, утверждают, что понимают музыку Глинки. Только с этим наказанием он и в правду перегнул палку, музыка — это ведь наслаждение, а не... ну, да и бог с ним, с «Русланом» этим. Действительно, пойдите итальянцев слушать. Вот где душа! Где полет! Полина Виардо уже с неделю в Петербурге, я уже раза по два слушал «Сомнамбулу» и «Лучию ди Ламермур».

Вчера был, а на обратном пути взял хорошего вина, пирогов и завернул к Алексею Егоровичу на первую линию. Хорошо!

Говоря это, Карл рисовал на валяющейся тут же бумаге очередную карикатуру на Глинку. От меня не ускользнуло, что он вроде как даже рад не успеху новой оперы приятеля. Почему?

Распалось братство Кукольника. Сколько лет пытался завоевать Нестор российский Олимп, а при Александре Сергеевиче мог быть только вторым. Теперь же... когда Пушкина нет... что же он, Кукольник, вдруг сделался никому и даже себе самому не нужным? В типографии Ильи Глазунова и К, в двух томах, тиражом в одну тысячу экземпляров, вышел «Герой нашего времени», потом поэма «Мертвые души» — сюжет, который подсказал Гоголю Пушкин во время своей кишинёвской ссылки. Журналы «Отечественные записки» и «Современник» печатали статьи Белинского, а на сцене уже шли гоголевские «Ревизор» и «Женитьба». Мир стремительно менялся и литература вместе с ним, в то время как Нестор Кукольник уже не мог оставить свою манеру писать длинно и размеренно. Мир ускорился вместе с новыми, невиданными до этого способами передвижения под лихую «Попутную песню» Глинки. Он оставлял на станции «Забвение» бывшего второго поэта России, и никто уже не мог тому помочь угнаться за летящим временем.

Ушел из братства оскорбленный Карлом Яненко. Вот, казалось бы, совсем недавно всей компанией снимали «посмертную маску» с лица живого Глинки, разложив Михаила Ивановича на диване Якова. Маска получилась отменной, и Карл побожился, что если Яненко выполнит Мишин бюст, он, Карл, непременно пройдет по нему рукой мастера. И вот теперь — нет Яненко. А Кукольник сидит дома со своей немкой Амалией Ивановной, служившей прежде в его доме в качестве экономки и сумевшей как-то захомутать «гордость русской литературы». Сидит теперь, смотрит на свой портрет работы Карла Брюллова и, должно быть, вздыхает о прошлых временах. А ведь какие барышни были, какие возможности... по всему видно, упал и не поднимется больше, кончился Кукольник, кончились его золотые денечки. Обидно до слез!

Одновременно с Нестором исчез куда-то и его омерзительный братик Платон. Вот кто уж точно не должен был никуда деться, как никому не нужная вещь, как досужий сквозняк, дурной запах или мошкара... ан нет, не видно, не слышно, точно и, правда, сгинул в какой-то канаве или ушел прочь из Петербурга за цыганской кибиткой.

Я провожал гостей до дверей, а когда вернулся, нянька уже хлопотала у стола, ставя стаканы на круглый поднос, рядом с ней Уленька уже вытерла стол и теперь застилала его большой вышитой скатертью с золотистой бахромой.

— А Юлия Павловна выходит замуж за своего бывшего мужа, — с порога сообщил я, чувствуя, как пиво приятно кружит голову. — Ты долго тут еще? Ужинала? Ляжем пораньше?

— Ни за кого она не выйдет, а выйдет, так проклятие их обоих и настигнет. — Не поворачиваясь ко мне, проскрипела нянька. Махнув на нее тряпкой, Уленька обняла меня и вместе мы поднялись к себе в спальню.

— Почему бы им действительно не сойтись? — Размышлял я вслух, уже лежа в постели. — Да, они развелись, но было это давным-давно. Кроме того, насколько я знаю, инициатива развода исходила от графа Литта, а уж никак не от молодых. Сами супруги не ссорились, а некоторое время после развода

встречались, посещая вместе оперу и бывая в гостях, и опять же по слухам, не считая большим грехом продолжать свою связь, но теперь уже как любовники.

В то время, видя непомерные траты и долги юного Скавронского, первым забил тревогу граф Литта. Теперь, собрав в своих руках практически все состояние Литта, Висконти и Скавронских, Юлия сделалась во много раз богаче прежнего. Кроме того, она была красавица, прославленная в веках такими художниками, как Брюллов, Басин, Босси. Отказаться от такой женщины мог только безумец.

На этой приятной мысли я и заснул.

* * *

Вскоре выяснилось, что Юлия Павловна действительно написала бывшему мужу, Николай Александрович сказал свое «да», Юлия собралась в Россию, но тут произошло то, чего никак нельзя было предвидеть. Неожиданно для всех скончался сам Николай Александрович — красавец, богатырь, кутила и бабник, о котором еще Александр Сергеевич в «Путешествии в Арзрум» писал: «Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку».

Потеряв бывшего и, возможно, будущего мужа, Юлия оделась в черное платье, которое необыкновенно шло к ее темным волосам. Долгое время ходил забавный анекдот, будто бы некий русский путешественник, оказавшийся в Италии во дворце графини Жюли, наблюдал, как та катала на своем длинном траурном шлейфе детишек, возя их по комнатам и весело при этом цокая каблукчиками. Некоторые утверждают, что этим очевидцем был Шевченко.

Не могу знать, было ли что-либо подобное в реальной жизни. Вообще дамские шлейфы или, как у нас их называют, «трены» — предмет особый, и тут скорее следует проконсультироваться у знатока женской моды Мокрицкого, нежели у такого домоседа, как я. Впрочем, если покопаться в памяти, то вспоминается, что первый шлейф ввела в моду фаворитка короля Карла VII Агнесса Сорель, в пятнадцатом веке. Долгое время церковь воевала с этим дьявольским хвостом, но шлейф победил. Я пытался представить шлейф Самойловой, но у меня это не получилось даже после того, как супруга принесла мне статью в журнале «Вестник Европы». В ней говорилось, что королева носит шлейф длиной в одиннадцать локтей, что соответствует шести метрам. Принцессы крови волочат за собой девять локтей, другие представительницы королевского дома могли носить шлейф длиной семь локтей. То есть как родственница государя по Екатерине I Юлия Павловна могла катать детишек на весьма длинном шлейфе.

Почему же я не верю анекдоту? А как раз потому, что именно в это время «хвосты» вдруг ненадолго вышли из моды, дабы возродиться и вновь свести с ума наших дам. К тому же, если свидетель Шевченко... не знаю, где именно он мог наблюдать подобную сцену... Но даже если Юлия Павловна и принимала его в одном из своих дворцов, отчего-то мне кажется, что вчерашний крепостной не может смыслить в моде больше, нежели барон. А как раз ваш покорный слуга барон фон Юргенсбург Петр Карлович Клодт в них ни черта и не понимает!

* * *

Признаться, мне плевать на Николая Александровича, каким бы бравым офицером он ни был, и я так понимаю, что вряд ли стоит слишком сильно жалеть «безутешную вдову». Другого страшусь я: что, коли история с «проклятием» вновь выплывет на поверхность? Ведь это же прямой удар по Карлу! Вот что по-настоящему плохо! Вот что отвратительно!

Глава 15

Уж газ на ней, струясь, блистает;
Роскошно, сладостно очам,
Рисует грудь, потом к ногам
С гирляндой яркой упадает.
Алмаз мелькающих серег
Горит за черными кудрями;
Жемчуг чело ее облеп,
И, меж обильными косами
Рукой искусной пропущен,
То видим, то невидим он.
Над головою перья веют;
По томной прихоти своей,
То ей лицо они лелеют,
То дремлют в локонах у ней.

Е.Л. Баратынский. Бал

Юлия появилась в Петербурге, как обычно, неожиданно. Нагрянула, налетела, заставив всех кружиться вокруг себя, думать о ней, искать ее, чтобы снова не встретить или встретить, но на полслова, полвзгляда, полвдоха.

Уже не в строгом черном — к чему носить слишком долгий траур по мужу, с которым находилась в официальном разводе? Хотя, как докладывали мне оба брата Брюлловы, до сих пор пользовалась конвертами с изящной черной полосой и бантом. Может, много заказала и не успела использовать ко времени. Или просто они ей нравились.

Досужие сплетницы разносили по салонам сказку, будто бы по дороге в Россию, проезжая через какой-то неприметный итальянский городишко, ее экипаж сломался и в ожидании, когда его починят, графиня отправилась в театр. В тот день давали оперу ее близкого знакомого Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламермур». Там она влюбилась в никому неизвестного тенора, более того, дебютанта, моложе ее на целых двадцать лет. Молодого человека звали Джованни Перри и, недолго думая о последствиях, в своем неистовом стиле, тотчас же по починке экипажа, забрала его с собой, дабы обвенчаться в первой попавшейся церкви.

Анекдот долго ходил по столице, хотя заявляю с полной ответственностью: правды в нем с гулькин нос. Да, Юлия Павловна отличается более чем экстравагантным, подчас вызывающим поведением, в чем ее каждый норовит упрекнуть. Но в данном случае все было не совсем так: во-первых, тенор Джованни Перри был далеко не первым встречным красавчиком, которого графиня похитила, словно какую-то драгоценность или цветок из чужого сада. Они были давно знакомы, более того, ее приемная дочь Джованина была родной племянницей Джованни Пери, внебрачной дочерью его родной сестры Клементины Перри. И воспитывала Юлия ее, если мне не изменяет память, больше десяти лет. Во всяком случае, девочка позировала вместе с приемной матерью для «Последнего дня Помпеи», потом с мамой и арапчонком, далее, уже почти взрослая, в картине «Всадница» в компании с Амалицией, и снова вместе с Юлией в картине «Удаляющаяся с бала». Разумеется, они были знакомы много лет, причем Юлия знала не только Джованни, но и его сестру Клементину, а возможно, что и всю семью.

Вышедшая замуж за иностранца без разрешения государя, Юлия Павловна Самойлова теперь официально лишилась подданства Российской империи, и только ее родственник — всемилостивый

государь мог, обойдя законы, сохранить ей графский титул, чего он не сделал. Теперь Юлия Самойлова — я сразу же зарекся говорить Джулия Перри — впервые оказалась как бы никем. Ее красота не меркла, и поклонников по-прежнему хватало, она была еще более популярна, чем когда-либо. Но... Впервые страстный порыв, дерзкий вызов обществу, шокирующее поведение повлекли за собой более чем болезненное наказание. И вслед за титулом она была вынуждена расстаться со всем своим имуществом в России, продав движимое и недвижимое, все, что у нее здесь было, чтобы уехать то ли в свое имение под Парижем, то ли в Италию.

«Она попыталась вернуться к мужу, а тот умер, вышла замуж за итальянца и потеряла титул, — размышлял я, то и дело, ловя на себе вопросительные взгляды жены и старой няньки. — Столько всего сразу. Если сие не проклятие, тогда что?»

Проклятие, злой рок, судьба... закружившись в собственных делах и заботах, я мало думал о Брюллове и Юлии. Смерть Оленина, красивые торжественные похороны, и вот уже Академия оглашается мерными шагами нового ее директора герцога Лейхтенбергского. Потом вторая женитьба Жуковского (ему пятьдесят восемь, ей — двадцать! Есть о чем посудачить). Начало росписи Казанского собора, в которой принимали участие Карл и Федор Брюлловы. Карлу за роспись барабана купола была положена весьма солидная сумма в 450 тысяч рублей, Федору за образа для иконостаса — 120 тысяч ассигнациями. Прошла весьма удачная выставка Петра Соколова. Построена Пулковская обсерватория, о росписи купола которой мечтал Карл, и которую мы, как обычно, всем семейством ездили смотреть. Наконец-то были выделены деньги на отливку коней с укротителями для восточной стороны моста, но едва они были готовы, прямо с литейного двора мои красавцы отправились не в центр Петербурга, а, что парадоксально, в Германию, еще точнее, в Берлин, так как добрейший наш государь решил подарить их прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. На Аничковом же мосту продолжали стоять две настоящие статуи из бронзы и рядом с ними две гипсовые, а денег на новую отливку снова не было.

Со всеми этими делами я совсем было забыл о каком-то там проклятии, как вдруг из Венеции пришел еще один конверт с уже знакомой траурной лентой с бантом. В этом письме Юлия Павловна оповещала своих друзей о постигшей ее новой утрате. От чахотки скончался ее возлюбленный супруг, прекрасный юноша, ради любви к которому она потеряла все.

Проклятие!

Воистину, судьба не может быть столь жестокой к одному человеку. Это было проклятие. Никогда уже больше Юлия не будет счастлива с мужчиной, если этим мужчиной не будет сам Брюллов. Но вот согласится ли она после всего, что произошло, вернуться к Карлу?

Как обычно, Карл работал на износ, горел свечой, подоженной с двух концов, замыслил многое, но уже не мог сдюжить: болело все внутри, грудь рвал плохой кашель, перед глазами круги и помпейский жар во всем теле. Заболел на этот раз не на шутку. Каждый вечер хорохорился, выпивая приготовленные ему Лукьяном отвары, строил планы, назначал помощников, чтобы лезть на леса, но наутро не мог двух слов связать.

К Великому Брюллову, другу и заступнику, прислал слезное послание Тарас Шевченко, сосланный в солдаты с запрещением писать и рисовать. Просил заступиться, помочь, еще раз выкупить.

Карл бредил, пытаясь влезть в красный халат, требовал срочно натянуть холст, звал Жуковского писать портрет. Представлял себя в том далеком 1837 году, когда, благодаря его стараниям, удалось выкупить Тараса.

Встав, падал, оставаясь на полу до тех пор, пока кто-то не находил его и не возвращал обратно в постель.

В заснеженном насквозь промороженном Тобольске в полной нищете и болезни умирал Вильгельм Кюхельбекер.

В России, куда ни кинь, — холера да смерть. Холод, смерть, болезнь. Некрашенные, наспех соструганные гробы, не до украшательств, запах камфары. Скосило Платона Кукольника, Карл только худую руку из-под одеяла стеганого немецкого выпростал, крикнул Лукьяну: одевай, мол, барина, дубина, пойду с Платоном прощаться. Да так и не поднялся, ослаб совсем. Петр Соколов... сестра с сыном заходили проведать, две черные плачущие тени. После них особенно плохо сделалось Карлу, насилу врачи откачали. А уж о смерти любимого учителя Андрея Ивановича Иванова, я, под угрозой, что избыю каналью, запретил Лукьяну докладывать.

Холод, сквозняки, холера, смерти, смерти, смерти...

А в Италии тепло, поют птицы, зреет солнечный виноград, льется молодое вино, и пастухи в сырмятных сапогах играют на волынках. В Риме, Неаполе, Венеции — везде жизнь. В Петербурге — смерти. Здесь умирает, захлебываясь кашлем, Карл, а там, среди цветов и поэтов, ждет его Юлия. Любимая женщина, лучший друг; созданная из мрака и огня дикая богиня. Она улыбается, манит к себе, строит глазки, кокетливо прикрывая нижнюю часть лица веером, протягивает руки: «Карл, дорогой, драгоценный мой Бришка, иди ко мне, летим со мной. Ну же, не бойся. Я прежде тоже боялась летать. В детстве. Теперь все можно. Нам с тобой все можно».

Внезапно она распахивает черные крылья, из волос ее вылетает гребенка, и вот уже то ли крылья в полнеба, то ли эти темные волосы застили свет божий.

Обними меня!

От нее жар, такой жар... дивный, желанный, итальянский, звездное небо над головой. Настоящее южное небо с огромными звездами.

— Забери меня с собой, молю, — просит Карл и вдруг просыпается.

Странный сон. И Юлия точь-в-точь как та женщина из детского сна, как из холерного Мюнхена. Но только куда звала она его? Неужто и Юлия померла и теперь пытается утащить его с собой? На небо ли, в ад ли? Какая разница...

С ней не страшно. С ней все можно. И летать, и любить, и писать.

Карл поднимается, надо бы выстрелить, чтобы все слышали, что Брюллов снова здоров, но сил еще мало.

Юлия прилетала — живая ли, мертвая ли. В который раз уже она спасла его.

Болят бока, язвы еще не сошли с шеи и плеч, пролежни... пустое.

Карл думает, не заснуть ли еще раз, чтобы снова увидеть Юлию и узнать, жива ли она, но сон не идет. Вместо этого он слышит звон дверного колокольчика — пришли ученики. Карл, кривясь от боли, облачается наконец в халат, его усаживают в кресло, ставят большую кружку с чаем. Карл начинает говорить. Он снова учит, требует показать сделанное. Притворно гневается, радуется, благословляет, целует в щеки и губы. Потом вдруг требует приготовить ему палитру пожирнее, подрамник с еще до болезни натянутым на него холстом, большое зеркало. Все это двигается к креслу, царапая закапанный краской пол, и Карл, еще не отошедший как следует от болезни, раздав задания ученикам, пишет автопортрет.

Честный. Исхудавшее лицо, борода, колкие внимательные глаза. Таким его Юлия еще не видела. Но увидит — жива или мертва. Теперь он ее обязательно найдет.

Глава 16

Умер издатель некогда популярного журнала «Почта духов», поэт и баснописец Иван Андреевич Крылов. Умер, так и не дав завершить свой портрет. Все спешил куда-то старик, суетился, боялся опоздать. Успел.

Карл сидит в кресле напротив недописанного портрета, кусает губы. Хорош баснописец. На картине удалось уловить настроение и теперь он еще как будет востребован. Только рука не поднимается завершить, когда самого Ивана Андреевича нет. Ученику, что ли, какому-нибудь поручить, а потом пройтись в последний раз рукой мастера? Вон их сколько без дела околачивается... ждут, а Крылов спешил... а они сидят и чего-то ждут.

За спиной суетятся какие-то люди, Кукольник, что ли... Смирдин, кто-то из журналистской братии. Нет, Александр Филиппович Смирдин помер и похоронен на Волковом кладбище. Тогда кто же... не хочется поворачиваться. Карл прислушивается, вдруг утратив интерес к портрету.

— Дорисуйте кисть, что ли... — Даже не взглянул, кто ринулся исполнять, Железнов, что ли... а, какая разница, работа-то левая. Любой справится.

За спиной литературная братия в память об Иване Андреевиче думает переиздавать журнал «Почта духов». Лучше, если в типографии Рахманинова [\[64\]](#), и хорошо бы на средства его наследников. Думают или говорят? Наверное, все-таки говорят вслух о переиздании, а о деньгах громко думают. После болезни Карл научился слышать чужие мысли. Печальный опыт, грустное занятие... Карл в свое время читал об этом в отцовских журналах. Там один арабский философ переписывается с различными духами: с водяными, домовыми. Духов много, получается забавно. Два переиздания было у «Почты духов», один осуществил сам Рахманинов в своем имении, селе Казинке, где у него располагалась типография, еще до рождения Карла. По словам отца, тираж составлял шестьсот экземпляров, но был конфискован за какие-то грехи автора. Второй раз «Почту духов» в четырех частях переиздал Свешников, и именно эти книги хранились у отца.

Поняв, о чем они, Карл утратил интерес к происходящему, поджидая новых гостей. Как и в прежние времена, народу в мастерской было много, все разговаривали, что-то обсуждали, спорили. Ученики приносили свои новые работы, приятели — бутылки. Приехал вернувшийся из-за границы Гоголь. Другой, чужой, не произвел впечатления, ну его.

Я забежал к Карлу после обеда, минут за двадцать до назначенного часа. Впрочем, Нестор Кукольник, его протеже скульптор Тербенев, Витали уже были на месте. Плохой знак. Оставил Лукьяну зонтик, плащ и, стараясь не мельтешить, подошел к собранию. Сердце ревниво забило, предчувствуя неладное. В тот день мы должны были обсудить проект памятника Ивану Андреевичу. Впрочем, напрасно я заподозрил измену. Как выяснилось практически с ходу, вся компания собралась сперва у Кукольника, но была изгнана на улицу не любившей беспорядка немкой. Так что, если бы они не пришли к Брюлову, скорее всего, завернули бы в ближайший кабак, а уж какими бы оттуда вылезли... в любом случае, все получилось как нельзя лучше.

Идею памятника придумал Карл, предложив окружить баснописца зверями из его басен. Самому же Крылову Карл хотел вложить в руки настоящее зеркало, чтобы каждый, кто подойдет к памятнику, мог увидеть в нем свое лицо. Лепить животных должен был я, и это не обсуждалось. Фигуру Крылова поделили между собой умеющие делать очень похожие портреты Витали и Тербенев. И вот тут встала весьма

существенная проблема: Витали видел Ивана Андреевича несколько лет назад, а Тербенев, я полагаю, не был знаком с ним вовсе. Посему решили просить Карла одолжить на пару дней портрет, дабы сделать с него копию и затем уже работать.

Умеющий быть, когда нужно, душкой, Карл предложил зайти за портретом через недельку, когда он будет вполне готов [\[65\]](#).

* * *

Рисунки, эскизы, шаржи... Карл пытается собрать их вместе и не находит половины. Да что там... львиной доли. Потерял во время бесконечных переездов, раздарил направо и налево, раздал, посеял по пьяни. Выкрали... вечно этот Платон Кукольник подбирает за всеми: за Глинкой — романсы, за Пушкиным — написанные экспромтом стихи, за Брюлловым — рисунки. Надо же, чтобы жила такая восхитительная гнида, крыса в черном, похожем на крылья, плаще, ворона драная. Украдет и тут же продавать да штоф купить. Штоф нужен, чтобы подпоить доверчивых друзей. Пьяные друзья не замечают утрат, плюют на все вокруг, разбрасывают драгоценности, которые подбирает Платон, чтобы тут же выменять на новую порцию водки, чтобы...

Карл устал. Этот климат не для него. Солнце не греет, а словно вытягивает последние силы. Чтобы работать, ему нужно другое солнце, другое небо, ему нужна Юлия со всей ее Италией. Или, если она еще не простила, хотя бы Италия. Вновь побродить по вечному Риму, посетить Ватикан... туда. Упасть на колени перед творением великого Рафаэля, там, где совсем недавно гордым мальчиком он ходил, задрал голову. Туда... как в отчий дом, не в тот, где когда-то Карл жил с родителями, братьями и сестрами, и где теперь живет Федор. Умирать он поедет не на Васильевский — сполна этот остров попил его горячей кровушки, — поедет во Флоренцию или в Помпею, хотя нет... в Рим или Неаполь, в котором еще встретится ему призрак Самойлушки Гальберга. Он уедет из России, чтобы дышать, писать, чтобы умереть с кистью в руках или, как Рафаэль, умрет на какой-нибудь разлюбезной красотке. Чем не смерть для великого художника?

Он уйдет к пастухам пить молоко, любоваться на горы, слушать их неприхотливые протяжные песни. И тогда, может быть, жизнь еще задержится в этом предательском теле:

«Много у меня здесь, — Карл показывает на свою голову, — много и здесь, — рука широким жестом ложится на грудь, — да говядина не позволяет!»

Наконец дано высочайшее позволение на выезд для лечения в Италию. Карл официально освобожден от работы в Академии, но не уволен — отпуск. Квартира остается за ним. День отъезда назначен на 27 апреля, когда будет достаточно тепло и снизится риск простудиться, сидя в дилижансе.

В ожидании отъезда все спешат попрощаться с Великим. Понятно, что навсегда.

— Я еду умирать. — Спокойно констатирует Карл, останавливая попытки отговорить его от печальных дум, перевести все в шутку. Не позволяет даже строить сколько-нибудь длительных планов. Худ и честен. Его голова по-птичьи слегка наклонена на бок, глаза остры. Насколько я знаю от Лукьяна, Карл пока не кашляет кровью. Никаких опасных признаков, вроде даже аппетит вернулся, о дамах нет-нет, да вспоминает. Но он уже не обманывается относительно своей участи — полгода, год... максимум.

Теперь только вперед, в Рим, — говорит Карл.

На Мадейру дышать горным и морским воздухом, — отрицательно качает головой доктор-немец.

К Юлии! — задыхается Брюллов.

Лечиться, принимать солнечные ванны, гулять по горным тропинкам, — доктор стучит костяшками пальцев по столу.

На Мадейру лечиться, — смиряется Карл. Доктор доволен.

Все последние дни Карл точно в лихорадке. Не пришел попрощаться Глинка. Знал, что другого случая не будет, а все же не пришел. Обиделся за карикатуры, часть из которых украл и продал в «Северные цветы» Платон. Ерунда, он же портрет его написал. Да так, как никто никогда уже не напишет Глинку. Почувствовал, что он, Брюллов, на него вроде как гневается и по слабости душевной подковырнуть пытается. Пустое! И если он, старый художник, вдруг сделался брюзгой и нытиком, разве ж это не повод проявить благородство? Пусть ругал, пусть злился на него Карл, а ведь любил, точно меньшого братца. Наверное, оттого и злился, оттого и требовательным бывал, что знал, один из всего кукольникового братства понимал новую музыку Глинки, что будет воспринята потомками лет эдак через сто, а вот он, Карл Брюллов, понял и полюбил уже сегодня.

Кукольника выгнал, придумал глупый предлог, на скоморошье рассердился, надулся, точно индюк. Пусть считает Карла старым дураком, лишь бы не глядеть в глаза, не жать руки, не целоваться троекратно, точно распиная. Не хотел прощаться и все тут.

Уленька у него последнюю неделю каждый день была, старая нянька с нею. Вещи разобрать, что потеплее — в один чемодан положить, прочие — в другой. Отдать, что надо, постирать, подлатать, в порядок привести. Великий Брюллов не должен выглядеть как нищий. Карл — легенда! Карл почти бог! Его вся Италия знает, весь мир!

Я не закончил жизнеописание Карла Брюллова, да ведь и жизнь его не закончилась ясным апрельским утром 1849 года, когда он расцеловался с нами в последний раз и махнул на прощание широкополой шляпой. Не поминайте, мол, лихом.

— И обязательно попробуй местную мальвазию! — крикнул вдогонку Александр Павлович, кутаясь в теплый шарф.

Отдыхайте, вылечивайтесь и возвращайтесь к нам, — вторила за мужем Александра Александровна.

Смотри, осторожнее там с женским полом. Знаем мы тебя, — напутствовал появившийся в последний момент Яненко.

Возвращайтесь, возвращайтесь с новыми победами! — фальшиво голосили ученики. Рядом с Брюлловым сидели двое его выпускников — Железнов и Лукашевич — два рыцаря-стражника при Великом, избранные счастливы, весьма довольные представившейся им возможностью поглядеть мир.

Не печальтесь о нас, может, вы что-то там такое себе и надумали о нашем путешествии, но мы решительно заявляем, что едем к Ломоносову пить сладкие вина и вкушать кушанья, приготовленные его личным поваром, сманенным им у самого папы!

Ломоносов Сергей Григорьевич — российский посланник при португальском дворе. — Автоматически поясняю я рыдающей на моем плече Уленьке. Рядом с нами Михаил. Перед отъездом Карл сделал ему царский подарок, отвел в магазин Дациаро и скупил там, наверное, половину товара. Все для юного художника.

— Дядя Карл! Карл Павлович! Я принял окончательное решение писать жанровые и исторические сцены. Как ваш ученик Федотов, я уверен! Я сделаю все, что только смогу и даже больше! — Задыхаясь, сообщил Миша склонившемуся над его рисунками Брюллову за день до отъезда. — Все, что в человеческих силах, я стану таким, как Павел Андреевич, помните, вы рассказывали. Как вы думаете, у меня получится?

— У тебя еще лучше получится. Многим лучше! — неожиданно Карл вскакивает и, отбросив на софу папку, порывисто обнимает Мишку. — Ах, если бы не проклятая болезнь, если бы не необходимость уезжать. Я бы мог взять тебя в ученики! Если бы снова брали в обучение детей, я взял бы тебя и учил, но...

Не надо быть как Федотов, не надо стремиться повторять Брюллова или твоего отца Петра Карловича. Будь собой, Миша, будь более великим, более честным, более свободным, чем были мы! — После этого он велел Мишке отпроситься у маменьки, и, кликнув извозчика, они умчались в магазин Дациаро, а затем в одну из облюбованных детьми кондитерских, где Миша наелся от пуза кремовых булочек и, точно ребенок, напился шоколада, вымазав лицо. Но, надо отдать ему должное, ни подарки в кафе не оставил, ни сладости, купленные Карлом для всей нашей шумной компании, не забыл.

Если бы остальные дети знали, что мы пойдем прощаться с дядей Карлом, непременно потребовали бы взять их с собой, поэтому мы с Уленькой еще вчера отвезли всех в гости к моим родственникам — брату Константину и его жене Катрин. Обидятся, конечно, но тяжело было бы Карлу прощаться со всеми.

Саша стал удивительно похож на моего отца и своего деда, но, как ни старался я, как ни пыжились друзья-художники, не способен был ни рисовать, ни лепить. Думаю, пойдет по военной части. Мария — искусная вышивальщица и мастерица, каких мало. Софочка, Наташенька, Верочка — умницы и красавицы, веселушки и хохотушки. Все в маму, с такими же темными косами и блестящими задорными глазками.

Младшая, Верочка, уже пленила сердце своего кузена Александра Клодта, сына моего брата Константина. С невероятной серьезностью теперь собирается за него замуж, пытается выпросить у родни, что есть жена офицера в далеком гарнизоне. Ей не менее серьезно отвечают.

В качестве невесты своего кузена она то и дело напрашивается в гости в семью дяди. И все его дети: Миша, Коленька, Андрей, Саша, Света, Катенька, Константин и даже маленькая Оленька — в самом скором времени ожидают на торжественный прием у нас.

Когда карета тронулась с места, мы шли еще какое-то время за ней, чувствуя значимость момента. Понимали, что прощаемся навсегда.

Уленька. Иулиания Ивановна, как называют ее малознакомые люди, молодые художники, которые в нашем доме с годами не переводятся. «Уленька» зовут ее друзья и родственники. Вот смотрю я на свою Уленьку, на морщинки в уголках глаз, на ее легкую походку, и кажется она мне все краше и краше. Словно не властны годы над нами, словно день ото дня прибывает красота и то счастье, которое дарит она нам. Вот Юлия Павловна своих детей никогда не имела, как и семьи. Муза, богиня, легенда, а ведь не чета она моей Уленьке. Не променял бы я ее, уже чуть посеребренную, точно освещенную неведомой звездой головку, на тысячи самых роскошных красавиц.

И Карл... всю жизнь работал, горел, как свеча, подпаленная с двух концов, а кто его сейчас провожает в дальнюю дорожку? Кто едет с ним? Ни жены, ни детей...

Прошлые подруги остепенились, завели собственные семьи, свили гнезда, в гнездах вылупились птенцы. Может, конечно, и его это птенцы, но как узнать...

Да и можно ли считать своим, в кого не вложил ни капли любви?

Бедный, бедный Карл!

Глава 17

«Roma, и я дома». Вопреки уговорам врачей поселиться на благословенной Мадейре, Карл отправился в Рим, где почти сразу же нашел его посланец некоего князя Сан-Донато с просьбой посетить его княжество, что близ Флоренции. На это Брюллов пожал плечами. Князь так князь, немало он повидал на своем веку князей, королей, принцев... и не поехал. Даже не подумал уточнить, желает ли его сиятельство предложить ему работу или просто хочет пообщаться, да мало ли что еще.

Через неделю, ранним утром, когда Карл еще нежился в постели, не получивший вразумительного ответа загадочный князь явился сам, распахнув дверь и представ перед не успевшим еще толком открыть глаза художником былинным богатырем. Его сиятельство был одет в легкую шелковистую рубашу с широкими рукавами и широким красным поясом; плечи колосса покрывал модный в этих местах широкий плащ, в каких часто ходят оперные персонажи; волосы были коротко пострижены, подбородок покрывала темная щетина.

— Ну, здравствуй, Карл Павлович! Здравствуй, дорогой мой живописец! — пробасил князь, вдруг, точно в сказке, обернувшись Анатолием Демидовым. Путаясь в ночной сорочке, Карл выскочил из кровати и сразу же упал в объятия силача.

— Анатолий Николаевич! Вы? Какими судьбами? — мямлил он, целуя колючие щеки бывшего заказчика и понимая, что после того, как Демидов рассчитался за «Помпею», они не виделись, и он даже не пытался узнать, что стало с российским меценатом.

— А что могло случиться? Россия неблагодарна к тем, кто ее искренне любит, — горько посмеивался князь, пока Брюллов при помощи своего слуги влезал в панталоны, выискивая в груди нестиранных вещей относительно чистую сорочку.

— Хотел, понимаешь ли, на весь мир прославиться, явить себя верным сыном отечества, в благодетели метил. Пустое... ерунда все это, Карл Палыч! Чистейшая ерунда.

Когда Карл умылся при помощи Демидова и кое-как оделся, они спустились вместе вниз, где, несмотря на ранний час, потребовали себе вина, сыра, ветчины, яиц и хлеба. После чего, устроившись под раскидистым деревом, продолжили разговор.

— Я думал, если вы сотворите это чудо — «Помпею», а я вложу деньги и привезу ее государю, тот сразу же осыплет меня всеми мыслимыми и немыслимыми благами. Не деньги, разумеется, я имел в виду, не земли — всего этого было у меня вдосталь. Хотелось другого — славы, пусть и чужими руками. Но ведь и я тоже, согласись... согласитесь... ах, черт, а не съехать ли сразу на «ты»?

Брюллов кивнул.

— Так вот, я думал: что самое главное есть в жизни? То, чего ни за какие деньги не приобрести — люди, добрые дружеские отношения. Думал, вот взглянет на меня государь, потом на твою «Помпею», потом снова на меня, прослезится да и скажет: «После того, что ты сделал, Анатолий Николаевич, для Отчизны, ты...». Ну, в общем, думал, выделиться как-то, даже тебя в Россию вместе с картиной твоей расчудесной не повез. А зачем? — думаю. Брюллов все внимание на себя оттянет. Ему и так почести, какие только возможно, от государя достанутся. А тут я буду один.

Слышал, Федор Иванович Иордан, гравировавший по твоему совету и с твоего благословения «Преображение» и отдавший этой работе двенадцать лет? Автор не путает с Ивановым? Это он 20 лет писал «Явление Христа народу». своей жизни, прибыл в Петербург, где ему даже не разрешили присутствовать во время рассмотрения гравюры государем. Стоял, точно нищий, под дверью, ждал.

Дождлся. Даже спасибо никто не сказал. Никаких милостей, ни чинов, ни наград, ни профессорского звания с квартирой при Академии. Ни-че-го... сидит, говорят, теперь, дипломы почетным членам академии гравировать. И поскольку кондратий его не хватил, будет гравировать, собака! Хвостик поджал и сидит тише воды, ниже травы. А все то же: человек гордость свою иметь должен. Ведь двенадцать лет! Страшно подумать — жизнь прошла, что можно было за это время сотворить?! Жениться, детей нарожать, карьеру сделать. А так — сплошное жертвоприношение...

Ничегошеньки из намеченного не получилось и у меня. Теперь, на старости лет, даже жалею, что подарил тогда «Помпею». Отлично бы она стену в моем дворце украсила. Да ладно слезы-то лить. Я, можно сказать, счастливчик. Поняв, что не снискать мне славы или хотя бы благодарности от России, принял решение жить для себя. Купил княжество, законно прозываюсь князем Сан-Донато. Женился, между прочим, не на ком-нибудь, а на племяннице Наполеона Бонапарта... но и это уже не радует. Живу как кум королю, сам почти что король. Мое государство, мои законы. Что хочу, то и ворочу. Хотя и желаний, веришь ли, почти что не осталось.

Они гуляли по Риму, вспоминая ушедшее. Кафе Греко, где собирались шумные толпы русских художников, Римский дом. Кто из них остался?

Иванов — великая тайна Александр Иванов, умерший для мира, но обещавший возродиться в своей новой картине, получившей уже название «Явление Христа народу». Человек, мечтавший о золотом веке, где все художники будут друг другу братьями, который проповедовал святую жизнь, и через это — создание святых, очищающих душу полотен. «Целитель, исцели себя сам», — шептал полубезумный художник, гуляя оборванным и голодным по Риму. Художник, сначала очисти себя от малейшей скверны, победи демонов стяжательства и похоти, забудь про личную выгоду, про мирские блага, стань сосудом добродетели. И только тогда пиши.

Карл вспомнил запутанные, занудные речи Александра и невольно скривился.

— Боюсь, этот святоша снова станет читать мне лекции о том, как следует жить, с кем спать, с кем дружить. — Процедил он сквозь зубы, но повидать соотечественника не отказался. О картине ходили самые разные слухи. Несколько лет назад Иванов будто бы приводил в свою мастерскую знакомых, которые говорили потом, что это новое чудо света, новый язык живописи, провозглашающий новое время. Среди избранных счастливчиков были Гоголь и Гайвазовский... Но уже года три, как Александр Андреевич совсем замкнулся в себе. Даже Иордан, которому художник после долгих раздумий и отказов все же обещал показать картину, Иордан, у которого никогда не было ни жены, ни любовницы... который двенадцать лет копировал «Преображение» великого Рафаэля, даже он лишь поцеловал дверь мастерской, в которую его не пропустил Александр, крича, что тот недостаточно чист. Потом Иордан уехал в Россию.

Теперь Александр Андреевич ждал Карла. «Именно Брюллов зайдет первым в мою мастерскую и увидит «Явление Христа». Он, и только он, брат по искусству, который сумеет понять и оценить это произведение».

Карл послал Иванову записку, сообщая о своем приезде, прося о встрече. Неожиданно скоро Александр Андреевич ответил, назначив встречу в кафе Греко, а не в своей мастерской.

Брюллов произвел впечатление на одинокого художника своим предчувствием скорой смерти, должно быть, чего-то подобного и ждал Иванов. Однако, посидев и проговорив более часа в кафе, он ушел, наотрез отказавшись впустить Брюллоva в свою мастерскую. Потом они встречались еще несколько раз; Карл показывал недавно написанную на Мадейре акварель «Прогулка», на которой изобразил нового президента российской Академии художеств герцога Лейхтенбергского со свитой, эскизы будущей картины

«Политическая демонстрация в Риме 1846 году». Как ни просил Брюллов, как ни ударял себя в больную грудь, ни грозился помереть прямо на руках у старого знакомого, Иванов наотрез отказался впустить его в мастерскую.

«Его разговор умен и занимателен, — писал он о Брюллове Гоголю, — но сердце то же, все также испорчено...».

Обещав Анатолию Николаевичу посетить в ближайшее время княжество и закончить начатый в незапамятные времена портрет, Карл писал ученого Микеланджело Ланчи. Восемьдесят лет — надо торопиться. Ланчи светился изнутри, слабость его, истонченность оборачивались силой. Брюллов уже не прежний; перед смертью он ясно видит струящуюся сквозь людей силу, их свет, чистоту. Портреты из-под его кисти только что не говорят. В пору новые сплетни о даре его волшебном сочинять, в новых грехах подозревать. Писал семейство Титтони маслом. Сам радовался, словно ребенок.

Демидов сидит в сторонке, покуривая трубочку, смотрит на работающего Карла. Разве на него можно злиться? Творит создатель «Помпеи»! Из последних сил отчаянно горит, того и гляди умрет либо за мольбертом, либо от неумеренного пьянства, либо не рассчитав силы с очередной красоткой. Велик во всем Брюллов, велик, но не вечен.

Припомнился забавный анекдотец. Лежит русский художник Сильвестр Щедрин в жаркой земле Сорренто. После смерти он вроде как сделался святым Сильвестро. Исцеляет детей, которых родители приводят на могилку, или о которых молятся. С чего, спрашивается? А черт его знает. Местные жители говорят, будто бы при жизни синьор Сильвестро на праздниках с ними веселился да плясал, с детишками играл, так отчего же ему и после смерти вот так же запросто не помогать, коли его просят?

Оттого к его могиле в крохотной деревенской часовенке женщины со всей Италии приходят Богу молиться и добрейшего синьора Сильвестро о помощи и заступничестве просить?

Все это Демидов лично видел, описав небольшую речушку и беленькую часовенку за оградой, на стене которой он обнаружил бронзовую доску, на которой был изображен сам Щедрин. Толпа подтолкнула князя вперед и, когда подошла его очередь, Демидов послушно перекрестился, коснувшись доски с простой лаконичной надписью: «Здесь лежит Щедрин».

А чего доску-то трогал? — подмигивает из-за мольберта Карл.

А черт его знает... — Анатолий Николаевич рассеянно пожимает плечами, — надо было, вот и трогал.

Вот ведь как судьба обернулась, не знал-не гадал, ничего такого не делал, смирением не обладал, а вот же святым заделался. Пил, пейзажи писал... с женщинами... ну, по молодости с кем не бывало... — Он откладывает кисти и какое-то время всматривается в гостя. — Забавно будет, если на наших могилах бабы, мужней ласки лишенные да бездетные, будут просить дать им приплод?! Не захочешь, а выберешься из могилки от этих слез и жалоб. Ведь если при жизни всегда был охоч до этого дела, то, может, и после смерти?.. Мне икон да лампад не надо, я не гордый.

— Тебе не лампы, тебе фонарь зажигали, свечу условленную в окне ставили. Нешто я не слышал о твоих подвигах? — Свечу в окне. Именно свечу. — Карл вытирает дрожащие от волнения руки. — Когда женщина любит и ждет, она непременно должна выставлять в окне свечу. Потому как этот знак — маяк для моряка. Где б ни был любимый мужчина, чем бы ни занимался, какие бы думы ни занимали его разум, а не может он, мертвый или живой, не откликнуться на призыв женского сердца, не заметить свечу в окне!

* * *

Болезнь не отпускает, она напоминает о себе чаще, чем в Петербурге, но он уже сжилась с ней.

В Риме Карл задыхался от жары, его тело исходило липким потом, грудь словно придавлена разогретой итальянским солнцем могильной плитой.

В Москве Гоголь сжигает рукопись второго тома «Мертвых душ». Корчатся в огне тетради с душами... По тяжелым тучам, как по ступеням древнего храма, спускается темноволосая панночка, кудри которой унизаны звездами. Крупными, такие только в Малороссии бывают. Она улыбается Гоголю, целует его, улетает...

Карл в Риме принимает чашу с отваром из рук дочери Винченцо Титтони — Джульетты, которую он писал в образе Жанны д'Арк... На миг ему кажется, что это та самая, спустившаяся к нему с ночного неба... но он тут же понимает свою ошибку, нежно целуя смуглую ручку и с благодарностью принимая горьковатый, сильно пахнущий травами напиток.

Слепок с лица Гоголя делает Коля Рамазанов.

Из Петербурга приходит официальное письмо на имя первой степени профессора исторической живописи К.П. Брюллова с предписанием немедленно освободить казенную квартиру...

За весной приходит жаркое, душное лето. Брюллов морщится, но пьет минеральную воду, гуляет, любясь окружающей природой. Местечко Манциано, где у Титтони загородный дом, идеально ложится на пейзажи. Карл выбрал несколько удачных ракурсов, немного порисовал, подумал, кому бы подсказать из пейзажистов, махнул рукой...

Многих, кого так хотелось обнять, с кем мечталось выпить по старинному обычаю, нет больше в Риме. Нет на этой земле... Карл смотрит в высокое небо, думая, как спустится к нему темноволосая женщина, коли не будет ни одного облачка... ни одной, пусть даже призрачной ступени.

Юлии нет. Она в Париже или, возможно, уже приехала в Италию, но не знает о нем, а он о ней. Карл смотрит в небо. Высоко-высоко, в самом зените, так что приходится задирать голову, машет шляпой Торвальдсен, поднимает кружку молодого вина Камуччини, смеется обычно печальный и сосредоточенный Орест Кипренский, зовет Сильвестр Щедрин, рядом с которым тихим ангелом прячет голову под крыло Аделаида. Гагарин-старший, Самойлушка Гальберг, Марлинский, Пушкин, новопреставленный Гоголь... нет, новоприбывший Василий Андреевич Жуковский. Неужели и он?! Весь или почти весь Римский дом, к которому он так стремился! Друзья...

Скоро уже. Широкополая шляпа слетает с головы Карла и падает в высокую траву. Пора уже, пора. На следующее утро пришедшая позвать его завтракать Джульетта находит рисунок темноволосой женщины, спускающейся с неба на землю. Черты ее лица кажутся ей смутно знакомыми.

— Писал ночью с натуры! — веселится Карл, — а ведь каждый скажет, что ночь — неблагоприятное время для художеств. Ночью пить да гулять нужно, а уж никак не барышень рисовать. Впрочем, тут уж не подгадаешь — увидел и написал. В первый раз не во сне, наяву видел!

После этот рисунок назовут «Диана на крыльях ночи».

Прекрасная молодая женщина с лирой в руках парит над ночным Римом, на ее крыльях тихо спит богиня Луны Диана. Внизу хорошо просматривается кладбище Монте-Тестаччио. Карл показывает место на кладбище и ставит точку там, где желает, чтобы его похоронили.

В тот же день он умер на руках у семейства Титтони.

Глава 18

Меж тем (к какому разрушенью
Ведет сердечная гроза!)
Ее потухшие глаза
Окружены широкой тенью
И на щеках румянца нет!
Чуть виден в образе прекрасном
Красы бывалой слабый след!

Е.Л. Баратынский. Бал

Сопровождая Карла в его последнем путешествии в Италию, я узнал, что он думал над грандиозным полотном «Всеразрушающее время», в котором хотел изобразить старика с косою, не жалеющего ни королей, ни патрициев, ни шутов, ни палачей. Все мы смертные, должно быть, хотел сказать Брюллов, все помрем, и черви нас съедят, так будем же веселы, будем любить и творить, потому что только лишь в этом оправдание молниеносности человеческой жизни. Гори, как подпаленная с двух концов свеча, а не тлей, люби, ошибайся, возносись в мечтах своих. Кто творец, тот и бог! Что нам земные цари, чей удел ничем не отличается от удела нищих? Так будем же гулять, пить вино, радоваться жизни, будем влюбляться и любить! Потому что это и есть самое лучшее, что мы можем сделать в этой жизни.

В высшей степени символично, что он упорно не видит смерть в образе женщины. Ведь женщина для него — символ вечной жизни с ее постоянными возрождением, обновлением. Он пишет смерть и в то же время рисует с натуры бродяг и актеров, счастливых своей молодостью и задором.

Он говорит о картине «Христос во Гробе», расписывая тонкости, связанные с созданием этого необычного полотна, и сокрушается только о том, что не увидел картины Александра Иванова «Явление Христа народу» — Христу мертвому отлично перед смертью противостоял бы Мессия живой. Но чего нет, того нет.

* * *

Карла похоронили на кладбище Монте-Тестаччио, как он и желал. Теперь в его квартире живет другой художник. Все движется, меняется, течет...

Вскоре после отъезда Карла овдовел мой брат Константин, впрочем, его траур был недолгим, и меньше чем через год он привел в семью новую жену. На этот раз его выбор пал на очаровательную соседку, дочь его друзей — Осипову Сусанну Лукиничну, которая заменила детям мать, и через положенный срок родила Константину еще одного сына Владимира.

В 1858 году Александр Андреевич Иванов вернулся в Петербург, привезя свою гениальную картину «Явление Христа народу», на создание которой он щедро положил двадцать лет своей жизни. Вместе с картиной в залах Академии художеств выставлялись все сделанные к ней художником эскизы и этюды. Мечтавший перед смертью хотя бы одним глазком взглянуть на новое чудо живописи, Карл был прав. По мнению общественности, и я с ним полностью солидарен, Иванов открыл новую эру в живописи. Предполагали, что теперь он станет преподавать и подарит отечеству новых невиданных ранее живописцев своей особенной школы, но в том же году он заразился холерой и примкнул к небесному воинству. Мы с Уленькой и детьми посетили его могилу на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Да... помню, Михаил отправился рисовать нищих на паперти. Девочки и Александр пошли прогуляться по дорожкам, читая надписи на памятниках и крестах, а мы с Уленькой стояли, крепко держась за руки, как держались друг за друга всю нашу совместную жизнь.

* * *

Через год я стоял вот так же, в окружении детей, над свежей могилой, только Уленька больше уже не сжимала мою руку. Успокоившись и отсмеявшись в последний раз, легла моя хлопотунья в эту сырую землю с улыбкой на челе, как сказали бы греки. После ее смерти я не искал себе больше ни жен, ни подруг.

В 1863 году Юлия Павловна вышла замуж за графа Шарля де Морнэ. Ей было шестьдесят, ему — шестьдесят шесть. Брак был обыкновенной неприкрытой сделкой. Теперь Юлия Павловна вновь могла щеголять графским титулом, граф же, согласно договору, получил огромное состояние. Дворцы и огромные коллекции Литта и Висконти обратились в золотые реки, которые протекли сквозь пальцы последней Скавронской, и даже некоторые ее портреты работы Карла запропали куда-то, похищенные временем.

Все течет, утекает, все имеет конец и начало, все движется, меняется, живет, умирает, снова возрождается к жизни, живет...

В год смерти Гоголя, Жуковского и Брюллова — страшный по потерям год, произошла долгожданная радость — мой сын Миша поступил в Академию художеств. Пишет, что выставляется; женился на Людмиле Горностаевой. Его жена внешне разительно напоминает Уленьку. Саша, как это и виделось вначале, окончил Николаевское кавалерийское училище. Гусар, красавец. На золотые эполеты шестьсот рублей ухнули! Год назад тоже женился на Борщовой Александре Михайловне. Маша вышла за издателя Станюковича, уже подарила мне пятерых внучек, но дала честное слово, что следующим будет внук и она назовет его в мою честь Петром[66]. Жду.

Наташа вышла замуж за Анатолия Гарбера, поселившись вместе с мужем в Орловской губернии. Всех изумила Верочка, еще пигалицей принявшая решение непременно выйти замуж за кузена Александра Клодта и не менять фамилию. Она сделала все по задуманному, сейчас носит под сердцем первенца.

Сын Александра Павловича Брюллова Павел окончил Санкт-Петербургский университет по физико-математическому факультету, но стать ученым, должно быть, не позволила текущая по его жилам беспокойная кровь семьи Брюлловых — сейчас вполне приличный пейзажист. Женат на Софье Кавелиной, живут дружно.

Жалко, что Карл не оставил нам после себя детей... мне доставляет особое удовольствие угадывать в чертах детей лица их родителей, узнавать, чтобы любить их с еще большей силой.

Чтобы увидеться с Карлом, я хожу смотреть его картины, его последний портрет, сделанный еще в Петербурге. Нет, новая огромная и прекрасная волна, поднятая гением Александром Ивановым, не скрыла под собой творения моего лучшего друга. У Брюллова было утро, полдень, залитая красным извержением «Помпея» и алый закатный занавес «Удаляющейся с бала» — Карл писал заходящими красками своей эпохи, делая это так, как никто уже не сможет после него; Иванов не отменил живописи Брюллова, а всего лишь провозгласил свое собственное утро... утро, у которого не было продолжения.

Я вспоминаю Карла, рассказываю о нем внукам, вспоминаю алую комету Юлию, осветившую тогда наши судьбы, изменившую самое представление о красоте и жизни вообще.

Юлия не показывается больше в России, должно быть, хочет остаться навечно молодой и прекрасной, такой, как писал ее Карл. Не едет и на могилу Брюллова, так как не желает верить, что того уже нет, и ничего не повторится. Ее приемные дочери вышли замуж и оставили старую мать, распуская о ней

нелицеприятные сплетни, до которых последней Скавронской никогда не было дела. По суду они требуют приданое.

Одну за одной Юлия продает свои самые прекрасные и дорогие сердцу сокровища — картины Карла, портреты его работы, память... когда-то ее и Брюллова упрекали, чуть ли не в черной магии... Отдавая полотна Карла, Юлия загадочно улыбается, покуривая темную ореховую трубочку. Нет, она не бедная, лишенная родины и друзей, все потерявшая, все растратившая женщина; она ведьма, живущая в образе старухи, днем и ночью превращающаяся в юную и пленительную красавицу, похищающую души художников. Ночью в ее одиноком, обычно темном доме под Парижем загорается яркий свет и звучит дивная музыка, иногда в окнах заметны сплетающиеся в танце или любви тела...

Говорят, что в память о своем друге и единственной любви каждый вечер она зажигает на окне свечу — знак тайного свидания.

Глоссарий

Александр I Павлович Благословенный (1777–1825) — государь император и самодержец Всероссийский (с 1801 года), старший сын императора Павла I и Марии Фёдоровны.

Александр II Николаевич Освободитель (1818–1881) — император Всероссийский. Старший сын Николая I. Проводил широкомасштабные реформы, отменил крепостное право. Погиб в результате террористического акта, организованного партией «Народная воля».

Анри Луи Огюст Рикар де Монферран (1786–1858) — архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. На русский манер его также называли Август Августович Монферран и Август (Августин) Антонович Монферран.

Асенкова Варвара Николаевна (1817–1841) — актриса императорского Александрийского театра. Дочь известной актрисы А. Е. Асенковой.

Багратион Петр Иванович (1765–1812) — князь, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. Родился в г. Кизляре в семье полковника из старинного грузинского княжеского рода.

Базили Константин Михайлович (1809–1884) — российский дипломат, писатель, историк. По происхождению грек. Образование получил в Нежинской гимназии высших наук и одесском Ришельёвском лицее.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) — лорд, английский поэт-романтик.

Бакунин Павел Петрович (1766–1806) — российский литератор, директор императорской Академии наук и художеств (1794–1796 годы, во время отпуска княгини Е. Р. Дашковой); с 1796 года — директор Академии.

Барант (Barante) Эрнест (1818–1859), атташе посольства Франции, сын посла А. Г. П. Баранта. Известен из-за дуэли с Лермонтовым.

Басин Пётр Васильевич (1793–1877) — русский религиозный, исторический и портретный живописец, академик (с 1830 года), профессор (с 1836 года).

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) — русский литературный критик, публицист, философ-западник.

Беллини Винченцо Сальваторе Кармело Франческо (1801–1835) — итальянский композитор.

Белоусов Николай Григорьевич — профессор юридических наук в гимназии высших наук князя Безбородко (в Нежине); преподавал римское право.

Бенкендорф Александр Христофорович (1782–1844) — граф, военачальник, генерал от кавалерии; шеф жандармов и одновременно Главный начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии (1826–1844).

Бенуа Николай Леонтьевич (1813–1898) — русский архитектор. Родился в Санкт-Петербурге в семье придворного метрдотеля Луи Жюля Бенуа (1772–1822). В 1827–1836 гг. учился в Академии художеств у В.А. Глинки, затем у Х.Ф. Майера. После окончания работал помощником архитектора К.А. Тона.

Бестужев Александр Александрович (Марлинский) (1797–1837) — русский писатель, критик, публицист; декабрист.

Болховитинов Евфимий Алексеевич — митрополит Киевский и Галицкий Евгений (1767–1837) — историк, археограф, духовный писатель.

Босси Джузеппе (1777–1815) — художник новоломбардской школы и историк живописи, изучал в Риме великих мастеров; секретарь Академии художеств Милана. В Ambrosiana находится его бюст работы Кановы.

Бруни Фёдор (Фиделио) Антонович (1799–1875) — русский художник итальянского происхождения, представитель академического стиля.

Брюлло Федор (Фридрих) Павлович (1793–1869) — профессор церковной живописи в Академии художеств.

Брюллов Александр Павлович (1798–1877) — русский архитектор, рисовальщик, акварелист. Представитель позднего классицизма. Брат К. П. Брюллова. Учился у отца — мастера декоративной резьбы, затем в петербургской Академии художеств. Изучал архитектуру в Италии (1822–1826) и Франции (до 1830). Академик и профессор. Построил в Петербурге Михайловский театр (1831–1833) и здание Штаба гвардейского корпуса (1837–1843), Пулковскую обсерваторию близ Петербурга (1834–39). В ряде работ Б. отходит от классицизма в сторону готической и других стилизаций (церковь в Парголово, 1831; лютеранская церковь на Невском проспекте в Петербурге, 1833–1838). Создал ряд изысканных акварелей — портреты Е. П. Бакуниной, А.А. Перовского и пр.

Брюллов Иван Павлович (1814–1834) — младший брат К.П. Брюллова.

Брюллов Карл Павлович (1799–1852) — русский художник, живописец, монументалист, акварелист, рисовальщик, представитель академизма.

Брюллов Николай Федорович (1826–1885) — академик архитектуры. Дом графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге и памятник ему же в Александро-Невской лавре и др.

Брюллов Павел Александрович (1840–1914) — российский живописец-пейзажист, архитектор.

Брюллов Павел Иванович (1760–1833) — академик орнаментной архитектуры. В 1794–1800 преподавал в Академии художеств. Сын от первого брака — Фридрих (Фёдор). Вторая жена — дочь придворного садовника Мария Шредер. Сыновья: Карл, Александр, Павел, Иван.

Брюллов Павел Павлович (ум. 1824) — младший брат К.П. Брюллова.

В 1848 году получил звание академика. В 1850 году — главный архитектор Петергофа. В 1863 г. — главный архитектор императорских театров, глава строительного отделения Городской управы Санкт-Петербурга. В 1880-х — председатель Петербургского Общества архитекторов.

Вазари Джорджо (1511–1574) — итальянский живописец, архитектор и писатель. Автор знаменитых «Жизнеописаний», основоположник современного искусствознания.

Верди Джузеппе (1813–1901) — выдающийся итальянский композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX века. Более 26 опер и реквием.

Виардо Полина (1821–1910) — французская певица, вокальный педагог и композитор.

Витали Джованни, в России известен как Иван Петрович Витали (1794–1855) — русский скульптор итальянского происхождения, монументалист, портретист, педагог.

Волконская Зинаида Александровна (1789–1862) — княгиня, хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица и композитор, видная фигура русской культурной жизни первой половины XIX века.

Волконский Пётр Михайлович (1776–1852) В 1797 г. — адъютант великого князя Александра Павловича. После восшествия Александра I на престол — товарищ начальника Военной походной

канцелярии. Светлейший князь, русский генерал-фельдмаршал (1843), министр императорского двора и уделов (1826–1852).

Волконский Пётр Михайлович (1776–1852) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал (1843), министр Императорского двора. Адъютант великого князя Александра Павловича, товарищ начальника Военной походной канцелярии Е. И. В., в которой в то время сосредоточивалось все управление военными силами государства.

Воронцов Михаил Семёнович (1782–1856) — граф, российский государственный деятель, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почетный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (1826); новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1823–1844). Способствовал хозяйственному развитию края, строительству Одессы и других городов. В 1844–1854 наместник на Кавказе. Вревская Евпраксия Николаевна — псковская дворянка, баронесса, соседка А. С. Пушкина по имению в Михайловском и близкий друг поэта.

Воронцова Елизавета Ксаверьевна, урожденная Браницкая (1792–1880) — светлейшая княгиня, статс-дама, почетная попечительница при управлении женскими учебными заведениями, фрейлина, кавалерственная дама ордена Св. Екатерины; адресат многих стихов А. С. Пушкина; жена Новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова.

Всеволод Мстиславич (ум. И февраля 1138) — князь новгородский, в крещении Гавриил. Почитается Русской православной церковью как святой благоверный князь Всеволод Псковский. Сын Мстислава Владимировича, внук Владимира Мономаха.

Вульф Анна Николаевна — псковская дворянка, соседка А. С. Пушкина по имению и близкий друг поэта. Сестра Евпраксии Николаевны Вревской и Алексея Н. Вульфа.

Вяземский Пётр Андреевич (1792–1878) — князь, русский поэт, литературный критик. Член Российской академии (1839). Отец историка литературы и археографа Павла Вяземского.

Гайвазовский (Айвазовский) Иван Константинович (1817–1900) — всемирно известный российский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат.

Гальберг Самуил Иванович, профессор скульптуры, ученик Мартоса. Автор статуи Екатерины II в Санкт-Петербургской академии художеств и др.

Глинка Василий Иванович — архитектор.

Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — русский композитор, основоположник национальной композиторской школы. Сочинения Глинки оказали сильное влияние на последующие поколения композиторов.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — прозаик, драматург, поэт, критик.

Голицын Дмитрий Владимирович (1771–1844) — светлейший князь, генерал от кавалерии, московский градоначальник. Из московской ветви князей Голицыных, сын Н.П. Чернышёвой.

Голицына Евдокия Ивановна (урожд. Измайлова) (1780–1850) — княгиня, супруга Сергея Михайловича Голицына. Вошла в историю русской литературы как хозяйка аристократического салона «в доме на Миллионной» в Петербурге. Имела прозвание «Ночной графини». У нее бывали А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин, К.Н. Батюшков, князь П.А. Вяземский и мн. др. Есть мнение, что ее стиль поведения вдохновил Пушкина на создание образа старой графини в «Пиковой даме».

Гончарова Наталья Ивановна (1785–1848), урожденная Загряжская, — была прапраправнучкой украинского гетмана Петра Дорошенко от его последнего брака с Агафьей Еропкиной. Мать Натальи

Николаевны Гончаровой (Пушкиной).

Гончарова Наталья Николаевна, в первом браке Пушкина, во втором — Ланская (1812–1863) — супруга Александра Сергеевича Пушкина. Через семь лет после его смерти вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.

Горностаев Алексей Максимович (1808–1862) — русский архитектор, педагог, художник. Рисовал виды городов, изучал русскую старину. Автор дачных построек на Аптекарском и Каменном островах, надгробных памятников в Санкт-Петербурге и окрестностях. Работал на Валааме (Никольский и Белый скиты, странноприимный дом и др.), в Троице-Сергиевой пустыни (Сергиевская и надвратная церкви, братский корпус, часовни), в Старой Ладогe (церковь Иоанна Златоуста Никольского монастыря, больница в Успенском монастыре и др.) в Тихвинском уезде. Автор сооружений в Суздале, Тамбовской и Тульской губерниях, Пинске и Мценске, Соловецком монастыре. Автор Успенского собора в Хельсинки — крупнейшего православного храма в Северной Европе.

Григорович Василий Иванович (1792–1865) — художественный критик, издатель «Журнала изящных искусств», конференц-секретарь Академии художеств, секретарь Общества поощрения художников.

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839) — генерал-лейтенант, идеолог и предводитель партизанского движения, участник Отечественной войны 1812 года.

Давыдов Евдоким Васильевич (1786–1824) дослужился до генерал-майора, командовал 2-й бригадой 3-й кирасирской дивизии. По окончании Отечественной войны Георгиевский кавалер Евдоким Давыдов служил в Орле, во 2-м резервном кавалерийском корпусе.

Дациаро Джузеппе (1806–1865) приехал в Россию из Италии, чтобы открыть здесь собственное дело. К началу 1830-х годов он, будучи уже купцом 2-й гильдии, занимался в Москве продажей литографированных эстампов. В 1849 году стал владельцем магазина в Петербурге на углу Невского проспекта и Адмиралтейской площади. В этом магазине продавали лучшие в Петербурге товары для художников.

Делакруа Фердинан Виктор Эжен (1798–1863) — французский живописец и график, родоначальник романтического направления в европейской живописи.

Дельвиг Антон Антонович (1798–1831) — барон, русский поэт, издатель, лицеист и друг А. С. Пушкина.

Демидов Анатолий Николаевич (1812–1870) — русский и французский меценат, действительный статский советник, князь Сан-Дonato. Представитель рода Демидовых, младший сын Николая Никитича Демидова от его брака с Елизаветой Александровной Строгановой. Большую часть своей жизни прожил в Европе, лишь изредка приезжая в Россию.

Демулен Аделаида — возлюбленная Сильвестра Щедрина и Карла Брюллова. Из-за трагической любви к последнему покончила с собой, утопившись в Тибре.

Доницетти Доменико Гаэтано Мариа (1797–1848) — итальянский композитор.

Дроллингер Иоганн — немецкий художник-декоратор. В 1830–1850 годах в жил и работал Петербурге. Выполнял внутреннюю отделку Мариинского дворца, расписывал интерьеры дачи Ю.П. Самойловой в Графской Славянке, Малую Помпейскую столовую Эрмитажа, декор внутренних помещений лютеранской церкви Св. Петра на Невском проспекте в Петербурге, а также Большого (или Помпейского) зала в городском доме зодчего на Кадетской линии Васильевского острова. Позже Дроллингер под руководством А.И. Штакеншнейдера в Картинном зале Большого Петергофского Дворца занимался реставрацией; в 1845–1850 годах участвовал в росписи стен Нового Эрмитажа по проектам Лео фон

Кленце.

Дурное Иван Трофимович (р. 1801) — академик живописи. Художественное образование получил в С.-Петербургской Академии художеств, где в 1817 году получил малую серебряную медаль за рисунок с натуры. В 1821 году окончил курс АХ с аттестатом 1-й степени и большою серебряною медалью.

Егоров Алексей Егорович (1776–1851), русский живописец и рисовальщик. Калмык по происхождению. Учился в Петербургской АХ (1782–1797) у И.А. Акимова и Г.И. Угрюмова; пенсионер Академии Художеств в Риме (1803—06). Представитель классицизма. Писал картины главным образом на религиозные и мифологические темы, а также портреты. Участвовал в росписи Казанского собора в Петербурге. Мастер рисунка, отличающегося лиризмом и графическим изяществом. Преподавал в АХ (1798–1803 и 1807–1840, профессор с 1812-го; уволен из Академии по приказу Николая I). Ученики: Ф.А. Бруни, К.П. Брюллов.

Екатерина I (Марта Самуиловна Савронская, Екатерина Алексеевна Михайлова; 1684–1727) — с 1721-го российская императрица как супруга царствующего императора, с 1725-го — правящая государыня; вторая жена Петра I Великого, мать императрицы Елизаветы Петровны.

Екатерина II Великая (Екатерина Алексеевна; урожденная София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург; 1729–1796) — императрица всероссийская (1762–1796). Период ее правления часто считают золотым веком Российской империи.

Екимов Василий Петрович (1758–1837) — русский литейных дел мастер. Происхождение и данное при рождении имя неизвестны. 12 лет был взят в плен в Турции и привезен в Россию, где был отдан в Академию художеств. 1776-й — воспитанник «4-го возраста по классу медного и чеканного мастерства». В 1777-м отливает миниатюрную копию монумента Петру I, за которую получает премию 100 руб. от Совета Академии художеств. В 1788-м получает звание мастера за успешное выполнение заданий Академии. Александр I поручает в 1799-м отливку памятника А.В. Суворову по проекту М.И. Козловского. С 1805 по 1837 гг. заведует Литейным домом Академии художеств, профессор и академик.

Ефимов Николай Ефимович (1799–1851). С 1806 года — воспитанник Академии художеств. Во время прохождения академического курса его работы отмечались серебряными медалями.

Жако Жозеф Поль-Луи — французский архитектор и скульптор, работавший в Петербурге. Построил здание Дворянского собрания.

Железное Михаил Иванович (р. 1825) — художник, искусствовед, ученик К. П. Брюллова, почетный член Миланской Академии художеств.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) — поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик. Друг А.С. Пушкина, воспитатель будущего императора Александра II. Внебрачный сын помещика А.И. Бунина и пленной турчанки Сальхи.

Захаров Андреев (Адриан) Дмитриевич (1761–1811) — русский архитектор, представитель стиля ампира. Создатель комплекса зданий Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Иванов Александр Андреевич (1806–1858) — русский художник, создатель произведений на библейские и антично-мифологические сюжеты, представитель академизма, автор грандиозного полотна «Явление Христа народу».

Иванов Андрей Иванович (1776–1848) — русский живописец, представитель классицизма. Учился в Петербургской Академии художеств (1782–1797) у Г.И. Угрюмова. Преподавал в Академии художеств с 1798-го; академик, профессор). В 1830-м был уволен по приказу Николая I. Активный участник Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Придерживаясь академической системы построения

исторической картины, пытался воплотить в своих композициях идеи гражданственности («Смерть Пелопида») и патриотизма («Подвиг молодого киевлянина», «Единоборство Мстислава Удалого с Редедею»). Был видным педагогом и мастером академического рисунка. Среди учеников Иванова — его сын А.А. Иванов и К.П. Брюллов.

Инзов Иван Никитич (1768–1845) — русский генерал от инфантерии (пехотный генерал).

Иордан Фёдор Иванович (1800–1883) — русский гравёр. Энциклопедия Брокгауза и Евфрона называет его «одним из лучших» гравёров. Оставил после себя книгу воспоминаний.

Италийский Андрей Яковлевич (1743–1827), по образованию медик. С 1761 г. проживал за границей. В 1781–1795 гг. Италийский был секретарем посольства в Неаполе, послом в Константинополе, послом в Риме.

Каменский Михаил Федотович (1738–1809), генерал-фельдмаршал.

Камуччини Винченцо (1771–1844) — итальянский живописец, график.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — русский литератор, журналист и историк-историограф, писатель, почетный член Петербургской Академии наук (1818).

Карраччи — семья итальянских художников второй половины XVI — начала XVII века.

Кикин Пётр Андреевич (1775–1834) — статс-секретарь русского императора.

Кипренский Орест Адамович (1782–1836) — русский художник, график и живописец, мастер портрета.

Кленце Лео фон (1784–1864). Учился в Германии, Франции, Италии; был придворным архитектором Жерома Бонапарта и баварского короля Людвига I. Художник и писатель. Считается выдающимся представителем классицизма, основатель стиля неогрек.

Клодт Александр Константинович (ум. 1872). Племянник П.К. Клодта.

Клодт Александр Петрович (Клодт фон Юргенсбург). Сын П.К. Клодта. Окончил Николаевское кавалерийское училище. Служил в гусарах. С 1882-го в отставке майором.

Клодт Андрей Константинович (умер в 1871). Племянник П.К. Клодта.

Клодт Вера Петровна (Клодт фон Юргенсбург) Дочь П.К. Клодта, по мужу тоже Клодт.

Клодт Екатерина Константиновна — племянница П.К. Клодта.

Клодт Елизавета Константиновна — племянница П.К. Клодта.

Клодт Иулиания Ивановна — в девичестве Спиридонова, родная племянница жены Петра Карловича Клодта. Умерла в 1859 году.

Клодт Михаил Константинович (Клодт фон Юргенсбург) (1832–1902) — выдающийся русский художник-пейзажист. Племянник П.К. Клодта — выдающегося русского скульптора, педагога.

Клодт Михаил Петрович (Клодт фон Юргенсбург) (1835–1914). В 1852-м поступил в Академию художеств. Передвижник. Жанровые произведения («Последняя весна», 1861).

Клодт Наталья Петровна (Клодт фон Юргенсбург) — дочь П.К. Клодта, по мужу Гарбер.

Клодт Николай Константинович (умер в 1863) — племянник П.К. Клодта.

Клодт Пётр Карлович (Клодт фон Юргенсбург) (1805–1867). Родился в Петербурге. В 1826-м — прапорщик. С 1828-го в отставке. В 1830-м — вольнослушатель Академии художеств. Скульптор. Представитель позднего классицизма. Анималистические монументальные и камерные станковые произведения отмечены точностью передачи повадок животных, главным образом лошадей (четыре

конные группы на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге).

Клодт Софья Петровна (Клодт фон Юргенсбург) — дочь П.К. Клодта.

Корреджио Антонио Аллегри, знаменитый итальянский живописец. 1494–1531.

Корф Модест Андреевич (1800–1876) — русский историк, государственный деятель. Учился в Царскосельском лицее вместе с А.С. Пушкиным и А.М. Горчаковым, отличался благонравием и любовью к чтению церковных книг, за что имел прозвище «Мордан-дьячок».

Крупнейшие его пожертвования: основание «Демидовского дома призрения трудящихся» в Санкт-Петербурге, на что им дано более 500 000 руб.; основание «Николаевской детской больницы», на которую он пожертвовал вместе с братом Павлом Николаевичем 200 000 руб.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844) — русский поэт, баснописец, переводчик, писатель. Действительный член Императорской Российской академии.

Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) — русский писатель первой половины XIX века.

Кукольник Платон Васильевич (нач. XIX в. — 1848) — служил в Римско-католической духовной коллегии; учитель низших классов в Нежинской гимназии высших наук кн. Безбородко, экзекутор в Виленском университете, недолгое время состоял на службе в канцелярии попечителя Виленского учебного округа. Состоял при Н.Н. Новосильцеве для занятий по делам Царства Польского. В 1838 г. вышел в отставку и через десять лет умер в Петербурге от холеры.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) — русский поэт, писатель и общественный деятель, друг и одноклассник Пушкина по Царскосельскому лицезу.

Лангер Валериан Платонович (1802–1870) — литератор, переводчик, художник, лицейский приятель А.С. Пушкина. В конце 1830-х — цензор. С 1841-го — вольный общник Академии художеств, автор серии литографированных портретов Царского Села (1820).

Лейхтенбергский Максимилиан (1817–1852), герцог, гос. деятель, ученый, почетный член Петербургской Академии наук (1842), ген. — майор (1839). Сын пасынка императора Наполеона I Евгения Богарне. В 1839-м женился на дочери имп. Николая I, Марии (1819–1876). В 1844-м — главноуправляющий Горного ин-та, с 1843 г. президент Академии художеств, с 1852 г. — Общества поощрения художников, почетный попечитель Общества посещения бедных (1846). Автор трудов в области гальванопластики и электрохим. металлургии. Именем Лейхтенбергского названа лечебница Св. Лазаря — Максимилиановская больница.

Литта-Висконти-Арезе Джулио Ренато, известный в России как *Юлий Помпеевич Литта* (1763–1839) — государственный деятель, обер-камергер, граф, первый шеф кавалергардского полка.

Ломоносов Сергей Григорьевич (1799–1857) — российский дипломат, тайный советник, чрезвычайный посланник и полномочный министр при нидерландском дворе; лицейский товарищ Пушкина.

Лукашевич Николай Алексеевич — хранитель картин и рисунков в Императорском Эрмитаже, управляющий хозяйственной и репертуарной частью с. — петербургских театров, много содействовавший успехам нашего театрального дела. Ученик К. Брюллова. Сопровождал его, уже больного, на остров Мадейру.

Лукьян — слуга К.П. Брюллова, малоросс, фамилия неизвестна. О нем упоминал в своих записках Т.Г. Шевченко.

Любич-Романович Василий Игнатьевич (1805–1888). Учился в нежинской гимназии высших наук, где был старшим товарищем Гоголя. Писатель.

Маковский Егор Иванович — живописец, отец художников Константина и Владимира Маковских. Любительские занятия живописью совмещал со службой в Экспедиции кремлевского строения. Делал портреты-миниатюры, а также копии с картин, хранившихся в Большом Кремлёвском дворце (в технике сепии). Был в дружеских отношениях с К.П. Брюлловым, В.А. Тропининым, С.К.Зарянко, И.П. Витали, П.Ф. Соколовым.

Малиновский Иван Васильевич (1796–1873) — старший сын первого директора Царскосельского лицея Василия Федоровича Малиновского — выдающегося русского просветителя, прогрессивного ученого и педагога. Лицеист, друг А.С.Пушкина.

Мария Николаевна (1819–1876) — великая княжна, дочь российского императора Николая I и сестра Александра II, герцогиня Лейхтенбергская. Президент Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Марков Алексей Тарасович (1802–1878) — русский исторический живописец, академик, заслуженный профессор живописи Императорской Академии художеств. Ученик А.Егорова.

Мартос Иван Петрович (1754–1835) — скульптор-монументалист. Автор памятника Минину и Пожарскому в Москве.

Мартынов Андрей Ефимович (1768–1826) — русский живописец-пейзажист. Учился в Академии художеств у С. Ф. Щедрина. По окончании курса в 1788 г. со званием художника XIV кл. и с золотой медалью был отправлен за границу. Академик, советник Академии. Путешествовал с российским посольством в Пекин и написал много видов сибирских и китайских местностей; посетил, кроме того, Крым и берега Волги, откуда также заимствовал сюжеты для своих пейзажей.

Матвеев Федор Михайлович (1758–1826) — один из родоначальников русской пейзажной школы, мастер «большого стиля». Произведений Матвеева сохранилось немного, и они ни разу не были собраны вместе.

Микеланджело Леонардо ди Буонарроти Симони (1475–1564) — великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Один из величайших мастеров эпохи Ренессанса.

Милорадович Михаил Андреевич (1771–1825) — граф, известный боевой генерал; посещал университеты в Кенигсберге, Геттингене и Страсбурге. Потомок выходцев из Герцеговины.

Михаил Павлович (1798–1849) — великий князь, четвертый сын Павла I и Марии Фёдоровны. Младший брат императоров Александра I и Николая I.

Михайлов Андрей Алексеевич (1773–1849) — русский архитектор. Строил здания в стиле классицизма в первой трети XIX века в Санкт-Петербурге и Москве. Также известен как А. А. Михайлов-второй.

Михайлов Григорий Карпович (1814–1867) — живописец, ученик К.П.Брюллова. Получил золотые медали за картины «Прометей» и «Смерть Лаокоона с детьми». Провел несколько лет в Италии и Испании. Копировал в музее Прадо, в Мадриде, Рафаэля, Мурильо и др. Исполнил 175 иллюстраций к Священному Писанию (рисунки гравированы в Америке). В московском Румянцевском музее представлена его «Девушка, ставящая свечу перед образом».

Мокрицкий Аполлон Николаевич (1810–1870) — живописец, портретист, автор жанровых композиций и видов интерьеров, пейзажист, педагог. С 1831 по 1839 г. учился в Академии художеств. Брал уроки у А.Г. Венецианова, с 1836 г. стал заниматься в классе К.П. Брюллова. В 1849 г. удостоен звания академика за «Портрет митрополита Новгородского Никанора». «Дневник художника А. Н. Мокрицкого», содержащий богатый и разнообразный фактический материал, стал неоценимым источником сведений об эпохе 30-х гг. XIX столетия, о творческой деятельности, жизни, быте, интересах выдающихся современников автора.

Муравьёв Александр Николаевич (1792–1863) — российский государственный деятель, военачальник, один из основателей декабристского движения.

Нащокин Павел Воинович (1801–1854) — ближайший друг А.С. Пушкина последних лет. Коллекционер, меценат, покровитель искусств.

Нестор — древнерусский летописец, агиограф конца XI — начала XII в., монах Киево-Печерского монастыря. Считается одним из авторов «Повести временных лет», которая наряду с «Чешской хроникой» Козьмы Пражского и «Хроникой и деяниями князей или правителей польских» Галла Анонима имеет фундаментальное значение для славянской культуры.

Николай I (1796–1855) — российский император с 1825 года. Третий из пятерых сыновей императора Павла I.

Никольский (имя, отчество неизвестно) — профессор русской словесности в нежинской гимназии.

Ожаровский Адам Петрович (1776–1855) — русский граф, генерал от кавалерии польского происхождения. Носитель герба Равич.

Оленин Алексей Николаевич (1763–1843) — российский государственный деятель, историк, археолог, художник, Член Российской академии (1786), почётный член Петербургской Академии наук (1809), член (с 1804) и президент (с 1817) Академии художеств. С 1811 — директор Императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Оленина Анна Алексеевна, графиня де Ланжерон, (1808–1888) — дочь президента Петербургской Академии художеств. Возлюбленная Пушкина в 1828–1829 гг. Адресат его стихотворений «Её глаза», «Пустое вы сердечным ты...», «Не пой, красавица, при мне», многих строф «Онегина». Музыкантша и певица. Автор неизданных до сих пор дневников и мемуаров о Пушкине. Супруга вице-президента Варшавы графа Ф.А. Андро де Ланжерона. Обладала незаурядным умом и блестящим талантом рассказчика. Покровительствовала молодым талантам Польши.

Орловский Борис Иванович (настоящая фамилия — Смирнов; 1793–1837) — выдающийся русский скульптор.

Осипова Прасковья Александровна (1781–1859) — псковская дворянка, хозяйка усадьбы Тригорское, мать баронессы Е.Н. Вревской, соседка А.С. Пушкина по имению Михайловское и близкий друг поэта.

Пален Мария Павловна — дочь Юлия Самойлова.

Пален Павел Петрович (1775–1834), граф, генерал от кавалерии, сын графа Палена.

Пален Пётр Людвиг фон дер (1745–1826) — русский военный деятель, генерал от кавалерии, граф, один из участников заговора против императора Павла I.

Паскаль Евгений Францевич (1791—?) — российский архитектор.

Паскевич Иван Федорович (1782–1856), граф Эриванский (1828), светлейший князь Варшавский (1831), русский военный деятель.

Пачини Амацилия — дочь композитора Джованни Пачини, была взята на воспитание Юлией Самойловой после смерти ее матери. После двух неудачных браков ушла в монастырь.

Пачини Джованина по непроверенным данным (Джованнина Кармина Бертолотти) — внебрачная дочь сестры второго мужа Юлии Самойловой Джованни Пери, племянница композитора Джованни Пачини.

Пачини Джованни (1796–1867) — итальянский композитор. Дочь и племянницу композитора после

смерти супруги взяла на воспитание графиня Юлия Самойлова, их портреты оставил друг графини, Карл Брюллов.

Пери Джованни (ум. 1846) — итальянский оперный тенор, второй муж Юлии Самойловой.

Плиний Младший (приблизительно 61—113) — древнеримский политический деятель и писатель, адвокат. Между 97-м и 109-м годами Плиний опубликовал девять книг своих писем. Письма Плиния являются незаменимым источником информации о жизни и устройстве Римской империи времен Домициана, Траяна и Нервы. В своих письмах к Тациту Плиний рассказывает об извержении Везувия в 79 году, свидетелем которого он был (Письма, VI-16, VI-20).

Погорельский Антоний, настоящее имя — Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836) — русский писатель, один из крупнейших прозаиков первой половины XIX века. Член Российской академии (1829).

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — величайший русский поэт, драматург и прозаик.

Пуцин Иван Иванович (1798—1859), декабрист. Сын сенатора. Учился в Царскосельском лицее вместе с А. С. Пушкиным, который называл Пушкина своим первым и бесценным другом.

Рамазанов (Николай Александрович, 1815—1867) — скульптор, в 1827 г. определен в своекоштные воспитанники Императорской Академии художеств, а в 1833 г. перечислен в штатные академики на казенное содержание.

Рафаэль Санти (1483—1520) — великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы.

Рени Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец болонской школы.

Росси Карл Иванович (1775—1849) — российский архитектор итальянского происхождения, автор многих зданий и архитектурных ансамблей в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Россини Джоаккино Антонио (1792—1868) — итальянский композитор, автор 39 опер, духовной и камерной музыки, виолончелист.

Самойлов Николай Александрович, граф (1800—1842). Капитан лейб-гвардии Преображенского полка, первый муж графини Юлии Самойловой; за красоту и беспутство носил в обществе прозвище «русский Алкивиад».

Самойлова Юлия Павловна (1803—1875) — графиня, дочь генерала Палена и Марии Славронской, знаменитая своими отношениями с художником Карлом Брюлловым.

Скотт Вальтер (1771—1832) — всемирно известный британский писатель, поэт, историк, собиратель древностей, адвокат. По происхождению шотландец.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — известный русский книгопродавец и издатель.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — русский библиофил и библиограф, автор эпиграмм и других шуточных стихотворений, друг Пушкина.

Соколов Пётр Петрович (1821—1899) — живописец, рисовальщик. Автор иллюстраций к произведениям Гоголя и Тургенева. Племянник К.П.Брюллова, сын его сестры Юлии.

Соколов Петр Федорович (1787—1848). Воспитанник Академии художеств. В 1839-м получил звание академика «по живописи портретной акварельной».

Солнцев Фёдор Григорьевич (1801—1892) — русский художник, архитектор и историк.

Сошенко Иван Максимович (1807—1876), художник, педагог, профессор живописи, друг Тараса Шевченко (принимал активное участие в вызволении его из крепостничества).

Ставассер Пётр Андреевич (1816–1850) — скульптор. Главным наставником его в Академии был профессор С. Гальберг.

Стендаль (настоящее имя и фамилия *Мари-Анри Бейль*; 1783–1842) — французский писатель, один из основоположников французского реалистического романа XIX века.

Строганов Александр Сергеевич (1733–1811) — президент Академии художеств (1800), директор Публичной библиотеки, первый граф Римской империи, из старинного купеческого рода Строгановых, член Государственного Совета, сенатор, меценат.

Струговщиков Александр Николаевич (1808–1878) — поэт, переводчик. Опубликовал несколько книг стихотворений (вместе с поэтическими переводами).

Тассо Торквато (1544–1595) — один из крупнейших итальянских поэтов XVI века, автор знаменитой поэмы «Освобожденный Иерусалим» (1575).

Теребенев Иван Иванович (1780–1815) — рисовальщик, скульптор и гравер, воспитывался в Петербургской Академии художеств сначала по классу живописи, затем занялся скульптурой. Курс Академии окончил в 1800 г. со званием художника и малой золотой медалью и был оставлен при академии пенсионером. Автор больших скульптурных работ — большие орнаментальные барельефы на здании Адмиралтейства, барельефы и статуи для Нарвских триумфальных ворот и несколько крупных фигур, вылепленных для залы в здании биржи в Петербурге. Известен своими карикатурами, очень едкими и остроумными, на войну 1812 г. — всего 43 листа.

Тимм Фридрих (Федер) Вильгельм — бургомистр города Рига, отец Эмилии Тимм (Брюлловой), покровительствовал художникам, певцам, музыкантам. Именно он в 1836 году организовал проведение Первого музыкального праздника Балтии в Риге.

Тимм Эмилия Федеровна (приблизительно 1819) — дочь рижского бургомистра Федера Тима (Фридриха Вильгельма Тимма), жена художника Карла Брюллова (1837 г.)

Толстой Алексей Константинович, граф (1817–1875) — русский писатель, поэт, драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1873).

Тон Константин Андреевич (1794–1881) — русский архитектор. Учился в Петербургской Академии художеств у А. Н. Воронихина, был командирован в Италию. Автор многочисленных архитектурных проектов во многих городах России, придворный архитектор Николая I, ректор Императорской Академии художеств. Прославился своими работами в Санкт-Петербурге и в Московском Кремле, особенно главным детищем — храмом Христа Спасителя в Москве. Брат архитектора Андрея Тона.

Торвальдсен Бертель (1768/1770–1844), датский художник, один из лидеров неоклассицизма. Торвальдсен был одним из самых плодovitых скульпторов в истории искусства. Лучшие свои произведения написал на античные сюжеты. Современникам казалось, что именно он смог прочувствовать и воссоздать суть классического искусства Греции и Рима.

Торквато Тассо (1544–1595) — итальянский поэт. Сын поэта Б. Тассо.

Трискорни Агосшино (1761–1824) — резчик по мрамору, скульптор. Автор декоративных скульптур для Гатчинского дворца, здания Императорской Публичной библиотеки, Михайловского замка). В 1810 г. организовал мастерскую надгробных памятников. Реставрировал статую «Аполлона Бельведерского» в Летнем саду. В мастерской Трискорни начинали учениками И.П. Витали и Б.И. Орловский.

Трискорни Паоло (1757–1833) — итальянский скульптор. Профессор Академии художеств Каррары. Испытал влияние А. Кановы и Л. Бартолини.

Тропинин Василий Андреевич (1776–1857) — русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов.

Туманский Василий Иванович (1800–1860) — поэт пушкинского времени, дипломат, государственный и общественный деятель. Двоюродный брат поэта Ф.А. Туманского.

Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873) — русский поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской АН с 1857 г.

Угрюмов Григорий Иванович (1764–1823) — художник. Преподавал историческую живопись, профессор, ректор Академии.

Федотов Павел Андреевич (1815–1852) — русский живописец и график. Родоначальник критического реализма в русской живописи.

Фонвизин Денис Иванович (1745–1792) — русский литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии. Автор комедии «Недоросль».

Цолликофер Егор Тимофеевич (1802–1874) — русский архитектор.

Шарль де Морнэ, граф (1797—после 1863) — третий муж Ю.П. Самойловой.

Шебуев Василий Кузьмич (1777–1855). Художник, учился в Академии художеств у И.А. Акимова и Г.И. Угрюмова. Принимал участие в художественном оформлении Казанского собора. Академик по классу исторической живописи, ректор живописи и ваяния.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) — украинский и русский поэт и прозаик, художник.

Шопен Фредерик Франсуа (1811–1849) — польский композитор и пианист-виртуоз.

Штакеншнейдер Андрей Иванович (1802–1865) — русский архитектор, спроектировавший ряд дворцов и других зданий в Петербурге и Петергофе.

Штернберг Василий Иванович (1818–1845) — живописец, жанрист и пейзажист, учился в Императорской академии художеств.

Щедрин Сильвестр Феодосиевич (1791–1830) — русский художник, пейзажист, представитель романтизма.

Щепкин Михаил Семёнович (1788–1863) — русский актер, один из основоположников русской актерской школы.

Щукин Степан Семёнович (1754–1828) — русский портретист, ученик Д. Левицкого в Академии художеств.

Энгельгардт Георг-Рейнгольд-Густав (Егор Антонович) — директор Царскосельского лицея.

Энгельгардт Екатерина Васильевна (1761–1829) (в первом браке — графиня Скавронская, во втором — графиня Литта) — племянница светлейшего князя Потёмкина. Бабушка Юлии Самойловой.

Энгельгардт Павел Васильевич — помещик, у которого в крепостных числился художник Тарас Шевченко.

Энгр Жан Огюст Доминик (1780–1867) — французский художник, общепризнанный лидер европейского академизма XIX века.

Яненко Яков Феодосиевич (1800–1852) — художник, сын художника Ф.И. Яненко. Учился в Императорской Академии художеств (1809–1821) одновременно с К.П. Брюлловым, с которым на протяжении жизни сохранял дружеские отношения. В 1840 г. выполнил копию с картины «Последний день

Помпеи». Неизменный участник кружка Н.В. Кукольника и М.И. Глинки.

Ястребилов Александр Сергеевич (р. 1793). В 1803 г. поступил в Академию художеств. В 1815 г. получил вторую серебряную медаль. В 1817 г. уволен с аттестатом 1-й степени. В 1830 г. вместе с Е.И. Маковским, А.Н. Майковым, В.С. и А.С.Добровольскими, И.П. Витали, Ф.Я. Скарятиним и др. открыл в Москве Натурный живописный класс (позже преобразованный в Училище живописи, ваяния и зодчества).

Примечания

1

Церковь Святой Анны (нем. *Annenkirche* — Анненкирхе) — лютеранская церковь в центре Санкт-Петербурга, находящаяся по адресу: Кирочная улица, дом 8. В советское время здесь находился кинотеатр «Спартак».

2

Из воспоминаний Тараса Шевченко: «Я в жизнь мою не видел, да и не увижу такой красавицы. Но в продолжение обряда Карл Павлович стоял, глубоко задумавшись: он ни разу не взглянул на свою прекрасную невесту».

3

Императорское Общество поощрения художеств (ОПХ), существовавшее в Санкт-Петербурге до 1929 года, было старейшим в России. Его история отсчитывается с 1820 года, до 1875 года оно именовалось Общество поощрения художников. Общество было основано группой меценатов (И.А. Гагарин, П.А. Кикин, А.И. Дмитриев-Мамонов и др.) с целью содействия развитию изящных искусств, распространению художественных познаний, образованию художников и скульпторов и т. п. На гранты Общества (так называемый пенсион) за границу для обучения ездили молодые художники (А.А. Иванов, К.П. Брюллов, А.П. Брюллов), оно способствовало освобождению талантливых художников от крепостной зависимости, выплачивало материальную поддержку (братья Чернецовы, Т.Г. Шевченко, И.С. Щедровский и многие другие).

4

Нантский эдикт предоставлял равные права протестантам-гугенотам и католикам. Был отменен в 1685 году.

5

6 января 1810 года.

6

Гаррик — синяя, подбитая мехом шинель с несколькими воротниками один из-под другого.

7

Мастерская в правом крыле дворца Д.Н. Шереметьева — набережная реки Фонтанки, 34.

8

Попугаев В.В. Из стихотворения «К друзьям».

9

Запись в альбоме Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании, сделанная Карлом Брюлловым: «Нет, так жить больше нельзя! Есть только один дом в Петербурге, в котором я отдыхаю среди блаженства и мира. Это ваш дом, где царит прекрасная Уленька... Ах, как же я завидую тебе, Петруша!»

10

Ренонс — отсутствие нужной масти в картах.

11

Запись в альбоме Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании: «Сегодня Карл Павлович ни с того ни с сего заторопился написать с меня портрет: «Сиди вот так. Буду рисовать... — важно скомандовал он. — И не надо тебе наряжаться. Пусть об этом другие дуры думают, а ты прекрасна всегда. Я люблю тебя, твоего Петю, ваших гостей и зверей, которые живут в доме на правах хороших людей... Не двигайся. Перестань хохотать. Я начинаю...»

12

Пялки — подрамники.

13

Из воспоминаний Михаила Петровича Клодта, старшего сына Клодтов фон Юргенсбург: «Как приезжали гости, так дом по швам трещал. Дамы спали в комнатах, а мужчины — вповалку на конюшне или сеновале. И никто не обижался. Потом отец изобрел дома на колесах. Когда мы на этих тарантасах передвигались, детишки бежали следом и кричали: «Смотрите, цыгане приехали!»

14

Нарвские Триумфальные ворота — памятник архитектуры стиля ампира в Санкт-Петербурге. Расположены на Площади Стачек. Построены в 1827–1834 гг. (архитектор Василий Стасов, скульпторы С. С. Пименов, В. И. Демут-Малиновский (колесница в группе Славы, фигуры воинов и двух коней), П. К. Клодт (первая серьезная работа) в память о героях Отечественной войны 1812 года. Высота — более 30 м, ширина — 28 м, ширина пролета — более 8 м, высота пролета — 15 м.

15

Учредители Общества — статс-секретарь Александра I Петр Андреевич Кикин, автор любительских зарисовок на тему Отечественной войны 1812 года; полковник в отставке Александр Иванович Дмитриев-Мамонов; ученый астроном и геодезист, составитель первого топографического плана Петербурга Федор Федорович Шуберт; флигель-адъютант Лев Иванович Киль; князь Иван Алексеевич Гагарин.

16

Запись в альбоме Клодт фон Юргенсбург, баронессы Иулиании: «Начав как-то писать льва с шаром, муж сокрушался о том, как же мы до сих пор не догадались завести у себя львенка. Теперь бы он уже был настоящим львом, и с ним можно было бы работать. «Я бы, душенька, в бифштексах ему не отказывал, а дети бы его в парк за хвост гулять выводили...» — заглядывая мне в глаза, попытался подольститься он. «И не проси, — парировала я. — Сегодня тебе лев нужен для украшения праха генеральского, а завтра адмирал преставится, так тебе крокодила подавай... Сам подумай, во что бы наш дом превратился...»

17

Надгробие героя Отечественной войны 1812 г. Карла Ивановича Бистрома (1767–1838), отличившегося в боях под Варной, первым начавшего историческое Бородинское сражение, было выполнено П. Клодтом в виде льва, опирающегося на шар. Установлено в имении Романовка под Ямбургом. Офицеры корпуса, которым командовал Бистром, собрали 38 тысяч рублей добровольных пожертвований, на которые и был установлен памятник. Памятник дважды подвергался разрушению. В 1918 году скульптура была снята и брошена в кучу металлолома и лишь по случайности была спасена. В 1943 году немцы вывезли льва в Ригу. В 1954 году, после реставрации, скульптуру вернули на ее исконное место.

18

«Золотой якорь» (6-я линия Васильевского острова, 7), ресторан. Открыт в 1823-м и вскоре стал любимым заведением художников, студентов и преподавателей находившейся по соседству Академии художеств. Здесь ежегодно устраивались торжества по случаю выпускного акта в Академии. Среди завсегдатаев ресторана — живописец и педагог П.П. Чистяков. В конце XIX в. «Золотой якорь» был закрыт, ныне в здании — Управление благоустройства Василеостровского района. В Санкт-Петербурге в XIX — начале XX в. было пять трактиров, также носивших это название.

19

Яков Яненко и Нестор Кукольник.

20

Поэт с семьей провел два летних сезона — 1834 и 1836 годов на Каменном острове, на даче Доливо-Добровольской.

21

Из воспоминаний Федора Григорьевича Солнцева: «Алексей Николаевич предложил мне нарисовать «рязанские древности». Я принялся за работу. Рисовать надо было в кабинете Алексея Николаевича. Между прочим, у меня нарисована была бляха, рисунок этот и лежал на столе. Однажды приехал к Алексею Николаевичу профессор перспективы — М.Н. Воробьев. Заметив на столе бляху и приняв ее за настоящую, он хотел рукою сдвинуть ее, но, увидев свою ошибку, сказал: «Неужели это нарисовано?» По этому случаю Алексей Николаевич заметил: «Да, уж лучшей похвалы искусству нельзя сделать».

22

В начале 1832 года.

23

Ум. 27 октября 1834 г.

24

С начала XIX века кашинские купцы производили «виноградные вина». Купцы Терликовы и Зазыкины торговали им по всей стране. Кашинские мадейру, бордо, херес, портвейн можно было встретить везде и всюду, даже на Нижегородской ярмарке. В «Современной идиллии» великий русский сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин посвятил кашинскому виноделию немало обличающих страниц.

25

Вакации — свободное время, каникулы.

26

Федор Брюлло побывает в Италии только в 1853 году.

27

Письмо Ф. Брюлло датировано 1829 годом.

28

Церковь Петра и Павла. Построена в Парголово в 1846 году архитектором А. Брюлловым. После войны недореставрирована.

29

Перевод Батюшкова.

30

Из письма К.П. Брюллова к отцу: «Зима римская немного хуже хорошей российской весны, это доказала нынешняя зима: в продолжение десяти месяцев мы имели дождя не более двух раз — благословенный климат! Можно подумать, что все непогоды удалились из Рима и, как кажется, обрушились на бедный Петербург. Пишите, пожалуйста, что будет произведено хорошего. Худого не хочу слушать».

31

Имеется в виду Павел Андреевич Федотов — живописец, график.

32

Остерия — трактир в Италии.

33

«Отечественные записки» — русский ежемесячный журнал, издавался в 1820–1830 гг. в Петербурге П.П. Свиныным. Журнал печатал материалы по русской промышленности, этнографии, истории, знакомил читателя с произведениями писателей из народа (Е.И. Алипанов, Ф.Н. Слепушкин и др.).

34

Автор Н.М. Карамзин.

35

Стихотворение Федора Глинки «Вечер на развалинах».

36

Из письма Карла Брюллова родителям: «Декорацию сию я взял нею с природы... стоя к городским воротам спиною, чтобы видеть часть Везувия... По правую сторону помещаю группу матери с двумя дочерьми на коленях (расположение скелетов)...»

37

Имя этой дамы Александра Римская-Корсакова.

38

Из писем графини Юлии Самойловой Карлу Брюллову: «Люблю тебя, обожаю, я тебе предана и рекомендую себя твоей дружбе. Она для меня — самая драгоценная вещь на свете».

«Мой дружка Бришка... люблю тебя более, чем изъяснить умею, обнимаю тебя и до гроба буду

душевно тебе привержена».

39

Катрин Винье, в замужестве Клодт.

40

Пушкин Л.С. Княгине З.А. Волконской.

41

Галерея Уффици — дворец во Флоренции, построенный в 1560–1581 гг., и сейчас является одним из самых крупных музеев европейского изобразительного искусства.

42

Великая княгиня Елена Павловна, супруга великого князя Михаила Павловича, до принятия православия принцесса Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская.

43

Имеется в виду дочь Николая I (см. глоссарий).

44

А.С. Пушкин.

45

Литта-Висконти-Арезе Джулио Ренато умер в 1839 году. Все свое колоссальное состояние и художественные коллекции Литта (ум. в 1839 г.) разделил между Юлией, де-юре внучкой его жены Екатерины и двумя побочными детьми.

46

По получении ордена и звания профессора архитектуры А.П. Брюллов ходатайствовал о даровании герба его фамилии, Высочайше утвержденного 29 апреля 1838 г.

47

«Гимназии высших наук князя Безбородко» в городе Нежине. Основана на деньги И. А. Безбородко. В 1805 году было получено высочайшее разрешение императора Александра I на ее открытие. Открыта в 1815 году. С 1832 по 1840 год — «Нежинский физико-математический лицей», с 1840 по 1875 год — «Нежинский юридический лицей». Сейчас — «Нежинский государственный университет имени Н.В. Гоголя».

48

Адреса, по которым жил Нестор Кукольник в Петербурге: 1836 год — дом Гавриловой — набережная реки Мойки, 70; 1836–1837 годы — набережная реки Мойки, 78; 1837–1843 годы — доходный дом — Итальянская улица, 31.

49

Чивитавеккья (Civitavecchia), город в Центральной Италии, в области Лацио, на Тирренском море.

50

Имеется в виду книга «Прогулки по Риму».

51

«Нашествие Гензериха на Рим», 1833–1835 годы, холст, масло, 88x117,9 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

52

Василий Иванович Туманский служил в Константинополе вторым секретарем при посланнике.

53

Из письма П.В. Нащокина А.С. Пушкину: «Теперь пишу тебе вследствие обеда, который был у Окулова в честь знаменитого Брюллова. Он отправляется в Петербург по именному повелению. Уже давно, т. е. так давно, что даже не помню, не встречал я такого ловкого, образованного и умного человека; о таланте говорить мне тоже нечего: известен он — всему Миру и Риму. Тебя, т. е. твоё творение, он понимает и удивляется равнодушию русских относительно к тебе. Очень желает с тобою познакомиться и просил у меня к тебе рекомендательного письма. Каково тебе покажется? Знать, его хорошо у нас приняли, что он боялся к тебе быть, не упредив тебя. Извинить его можно — он заметил вообще здесь большое чиновничество, сам же он чину мелкого, даже не коллежский ассессор. Что он Гений, нам это — нипочем... Во время обеда ему не давали говорить — пошло хвастать.

Хозяин и его гости закидали его новейшими фразами, как то, что все музы — сестры, что живописец поймет поэта и проч. в таком роде. Когда устал играть в карты, я подсел к Брюллову и слушал его — об Италии, которую он боготворит. Дошла речь о его занятиях и о тебе... Человек весьма привлекательный, и если ты его увидишь и поговоришь с ним, я уверен, что мое желание побывать еще раз с ним тебе будет вполне понятно. Статья о Брюллове — к концу, и вот чем заключаю... Кому Рим удивлялся, кого в Милане и в Неаполе с триумфом народ на руках носил, кому Европа рукоплескала, того прошу принять с моим рекомендательным письмом благосклонно».

54

«1-го мая переночевал я в Твери, а 2-го ночью приехал сюда. Я остановился у Нащокина... Я успел уже

посетить Брюллова. Я нашел его в мастерской какого-то скульптора, у которого он живет. Он очень мне понравился. Он хандрит, боится русского холода и прочего...» (из письма А.С.Пушкина жене 4 мая 1836 г.).

55

«Здесь хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие предано будет бессмертию во всей своей мертвой неподвижности; я говорю: у меня дома есть красавица, которую когда-нибудь мы вылепим». (А.С. Пушкин. Письма. 14 и 16 мая 1836 г.).

56

«Брюллов сей час от меня. Едет в Петербург скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист» (А.С. Пушкин. Письма. Пушкиной Н.Н., 18 мая 1836 г.).

57

Из воспоминаний Фёдора Григорьевича Солнцева: «После известия о том, что прославленный на весь мир Брюллов в России, академическое начальство расстаралось выделить ему профессорскую квартиру, в которой за государственный счет нужно было сделать небольшой ремонт. За дело взялись рьяно, но тут подвел сам гений, задержавшийся сначала с Малороссии, а затем плотно и бессмысленно угнездившись в Москве. Приезд откладывался, и ремонт соответственно тоже. Потому как, кто же будет торопиться, когда хозяин и не думает приезжать? У нас же все непременно должно быть в последний момент. В результате, когда дилижанс с Карлом Павловичем прибыл в Петербург, в квартире, как говорится, конь не валялся. Великого же Брюллова — вот смех-то — вообще никто не встретил. Так что он, вздыхая и охая, взял извозчика и отправился на Невский к Соболевскому».

58

Иван Гайвазовский (Иван Айвазовский). В Академию художеств он поступил под фамилией Гайвазовский, изменив ее гораздо позже.

59

Из анекдотов о художниках. Как известно, Карл Павлович был увенчан лавровым венком, который, впрочем, тотчас сорвал со своих облитых шампанским волос и возложил на голову своего любимого учителя Иванова. Андрей Иванович от чести сидеть за столом увенчанным лавром отказался, соблаговолит пообещать, что сохранит подаренный ему венок до конца своих дней. К концу праздника венок благополучно сперли.

60

Провести полную реконструкцию Екатерингофского ансамбля было поручено Огюсту Рикару Монферрану, придворному архитектору. Построили карусели, катальные горки, качели. В живописных уголках сада появились новые сооружения: ферма, вокзал, Львиный павильон. При их создании Монферран использовал элементы готической и русской архитектуры.

61

Премьера состоялась 27 ноября (9 декабря) 1836 года в петербургском Большом театре.

62

Раек — галерка.

63

Премьера оперы состоялась 27 ноября 1842 года на сцене Большого театра в Петербурге. Первые показы оперы были неудачные. Зритель не принял этого произведения.

64

С 1788 года типография И.Г. Рахманинова размещалась в его собственном доме, там выпускали журнал И.А. Крылова «Почта духов». В 1791 году Рахманинов перевел типографию в родовое имение Казинка Тамбовской губернии.

65

Анекдот о Брюллове и портрете Крылова. На портрете покойного Крылова живое лицо и мертвая рука. Портрет писался с натуры, на кисть не хватило времени. Баснописец ерзал в кресле, приговаривая «времени нет, времени нет». Не явился на повторный сеанс, время закончилось, — умер. Руку дописывал ученик со слепка. «Мертвое к живому», — сердился Брюллов. Но переделывать не стал. Снова времени не было.

66

Внук П.К. Клодта Петр Станюкович (1866–1933).